

ДАНИИЛА ГРАНИН

Игру на грозу

Даниил Гранин

ИДУ НА ГРОЗУ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

Волшебник прилетел в Москву шестого мая в восемь часов утра. Он первым сбежал по качающемуся трапу на бетонные плиты аэродрома. Взгляды встречающих устремлялись к нему и соскальзывали: никто не находил ничего особенного в этом стройном, загорелом парне в модном ворсистом пиджаке.

Он прошел сквозь толпу, оставляя позади поцелуи, смех, цветы, неестественно громкие голоса, какие бывают в первые минуты после приземления, когда еще длится легкая глухота.

Весь его багаж составляла кожаная папка, где между бумаг бренчали мыльница и зубная щетка.

Через тридцать минут такси подвезло его к центру. Утренний людской поток втянул его, понес, крутя у дверей метро, у подземных переходов, у газетных ларьков. Москва спешила на работу, заставляя ускорить шаг.

Над сверкающей стремниной машин плыли высокие, обтянутые голубым стеклом троллейбусы, похожие на аквариумы. На перекрестках бойко торговали цветами. В зеленых бачках вскипала черемуха. Сквозь нарастающий шум остро, по-детски процокал ослик с рекламой цирка. Было без десяти девять, кругом уже не шли, а бежали.

За зеркальным стеклом витрины стояла девушка, держа рулон пестрого ситца.

Казалось, что это манекен, но вдруг девушка наклонилась, и волшебник, улыбаясь, задержался перед витриной и приказал, чтобы она посмотрела на него. Девушка послушно обернулась и, оглядев его, что-то сказала. Губы ее беззвучно зашевелились, а потом она рассмеялась, рот открылся широко, как будто она хотела показать все свои зубы и не могла: так много их было, маленьких, розоватых, похожих на бусы.

Он пошел дальше, двигаясь странными зигзагами, то замедляя, то убыстряя шаг, сворачивая в солнечные тихие переулки и вновь возвращаясь на центральные бульвары.

У Пушкинской площади он задержался перед газетным щитом.

Москва торжественно встречала победителей олимпиады.

В Кремле состоялся прием участников астрономического конгресса.

Открылась выставка строителей.

Наградили орденом академика Лихова.

Он читал газету с особым аппетитом приезжего, которому все происходящее в Москве вдруг стало доступно, можно было побывать и на выставке и на конгрессе.

В этот раз его прибытие в Москву пройдет незамеченным. На завтрашние газеты вряд ли стоило рассчитывать. Никто из репортеров не справлялся о нем, а ведь не так уж много волшебников приезжает в Москву. И все же где-то в будущем уже существовал номер газеты с его фотографией: среди букетов цветов он, улыбающийся, или нет, лучше усталый, чуть смущенный. А внизу интервью: сегодня Москва встречала Олега Тулина, «в беседе с нашим корреспондентом Олег Николаевич рассказал...».

Человеку никогда не будет дано прочесть послезавтрашний номер газеты. Но на то и существуют волшебники — совершенно явственно он видел этот влажный от непросохшего клея газетный лист со своей фотографией на последней странице.

С Каменного моста открывались золоченые купола соборов Кремля. А справа в солнечном дыму стоял высотный дом, чванливый и плоский, красный прибор крыш бился о его подножие. Повсюду, как мачты огромного флота, двигались башенные краны.

Подобно полководцу, он изучающе разглядывал город, который ему предстояло завоевать, который должен будет признать его и который еще не подозревал этого.

Грандиозность желания вызвала у него ироническую улыбку, за ней скрывалось уважение к самому себе.

Он задержался на перекрестке, выбирая направление. Нерешительность не была ему свойственна, скорее то было состояние неустойчивого равновесия, когда достаточно малейшего повода, чтобы сделать выбор.

Ветер толкнул его в бок, и он охотно последовал за ветром. Улица упиралась в парк. По аллеям шествовали процессии детских колясок. В парке еще хранилась утренняя тишина. Кое-где на скамейках сидели студенты. Они зачарованно покачивались над конспектами. У них были отрешенные лица сомнамбул. Неужели и он когда-то всерьез переживал экзамены?

Под полосатым тентом официантка расставляла стулья. Он выбрал столик у перил, над прудом. Официантка протянула ему меню.

— Несите все подряд, — сказал он. — Начинайте с первой строчки. Я скажу, когда хватит.

Официантка улыбнулась. У нее были милые ямочки на щеках.

Ветер трепал ему волосы. Светлые, чуть вьющиеся, они разлохматились, и он не стал приглаживать их. По глазам официантки он видел, что ей так тоже нравится. Среди бледных москвичей его темный, южный загар бросался в глаза. Тулин снял пиджак, повесил на спинку стула, засучил рукава модной грубошерстной рубашки и принялся за салат, кефир, яичницу, сосиски, выпил стакан кофе, съел бутерброды с сыром, с ветчиной, с колбасой и почувствовал себя снова волшебником.

— А хвастались, — сказала официантка. — Я думала, вы только начинаете.

Он посмотрел ей в глаза.

— Мужчина всегда обещает больше, чем может.

— Это верно, — она засмеялась, не отводя взгляда.

— Я не хочу показаться обжорой, а то вы измените мнение обо мне.

— Будто вы знаете, какого я мнения о вас?

— Я все знаю. Я знаю: вам противны жующие мужчины. Целый день вы видите жующих мужчин. Вам может понравиться только мужчина, который ничего не ест.

Неутолимое желание очаровывать всех, первого встречного, словно и эту официантку необходимо было завоевать.

Взглянув поверх ее головы, он сказал:

— Уберите салфетки, будет дождь.

— Прямо-таки! С чего вы взяли?

— Я же вам сказал, что знаю все.

Он шел вдоль пруда, наблюдая, как в вышине быстро вспухает сизое облако. Официантка смотрела ему вслед. Это была милая девушка, с ней приятно было бы погулять вечером в парке, но завтра он уедет, и поэтому он ничего не мог обещать ей. Он почувствовал ее огорчение и подумал о том, как трудно доставлять окружающим одну только радость, чистую радость, без привкуса сожаления.

У лодочной станции он поднялся на ступеньки беседки, обвитой плющом. Облако растекалось по голубому небу густым чернильным пятном.

В этом еще солнечном беззаботном парке он был единственным, кого всерьез занимало то, что творится в вышине. Он знал, что небо испорчено.

Темная середина облака провисала все ниже. Серебристые края его зловеще дымились. Наползали тени, ветер укрывся в деревьях, по-кошачьи перебирая мягкие листья.

Потемнело. Вместе с душной темнотой опускалась тишина, ясно слышная сквозь шум города.

Несколько тяжелых капель звучно ударили о землю. Первая пристрелка, сигнал тревоги. Лебеди на пруду быстро плыли к дощатой будке.

Тулин поднял руку.

— Давай! — негромко скомандовал он, взмахнул, и тотчас, включая грозу, вспыхнула молния. Еще. Еще, и крупный, сильный дождь наполнил парк плещущим шумом.

В беседку отовсюду сбегались люди. Отряхивались, смеялись, любуясь первой грозой. С карниза полилась, набухая, толстая, чуть поблескивающая струя. Ветвистый лиловый зигзаг молнии прорезал небо наискосок, упал где-то рядом, и холодный металлический свет проблеснул на тысячах мокрых листьев.

— Хорошо! — одобрил Тулин.

Гром взорвался над головами, сотрясая воздух. В беседке ахнули. Тулин поднял мокрое лицо навстречу грохочущим обвалам. Стихи пришли сами собой, старинный торжественный ямб свободно ложился на могучий аккомпанемент грозы. Он читал громко, не слыша себя среди нарастающей канонады:

Чья неприязненная сила,

Чья своевольная рука

Сгустила в тучу облака

И на краю небес ненастье зародила?

Внезапно сверху из беседки насмешливо спросили:

— Ну и как, удалось вам узнать?

— Представьте, удалось, — резко ответил он, не оборачиваясь.

Больше всего он боялся показаться смешным.

— Что значит поэты! Вы поэт?

Голос был женский, низкий, шершавый от сдержанного смеха.

— А почему бы нет! — сказал он.

— Как интересно! Прочтите, пожалуйста. Что у вас там дальше про грозу выясняется?

— Перестань, — остановил второй женский голос и что-то еще добавил тихо. Обе приснули, а потом та, первая, смешливая, сказала:

— Никогда не видала живого поэта. Да еще мокрого. А как вы пишете стихи?

— При помощи всяких катушечек, конденсаторов.

— Скажи, пожалуйста, и что ж это за приборы? — Его расспрашивали поощрительно, как мальчика, который заврался, и тогда он ответил тем же тоном, пытаясь взять верх в этой игре:

— Как бы вам объяснить доступнее? Ну, нечто среднее между пылесосом и велосипедом.

— Ай-я-яй, как сложно!

— Нет, он пользуется пишущей машинкой!

— Холодильником!

— Или штопором. С конденсатором!

Смеясь, оба голоса перебивали друг друга.

— К вашему сведению... — запальчиво начал Тулин, но орудийный залп грома заставил его вздрогнуть. Потом он долго не мог простить себе этого.

Наверху расхохотались.

— Не бойтесь, поэт. Молния ударяет только в выдающиеся предметы.

Тогда он обернулся. В пятнистой тени беседки неразличимо белели два липа. Он поднялся на верхнюю ступеньку, перегнулся через перила.

— Какие славные эрудиточки, — сказал он. — Вы верите в чудеса?

— А вы кто — маг-волшебник?

— Смеетесь? — сказал Тулин. — Смеяться — самое немудреное занятие. Ведь эту грозу я вызвал. И все молнии мне подчиняются.

— А вы можете прекратить грозу?

— Сейчас еще трудновато, — внушительно сказал он. — Через годик — пожалуйста. Приходите сюда, и я вам сделаю...

Он услышал, как та, что посерьезней, сказала: «Они все немного психи».

— Как же вы это сделаете?

— Подлечу к грозе и уничтожу. Не верите? Дайте сюда вашу руку.

К нему смело протянулась рука. Маленькая ладонь, сложенная лодочкой, была холодной и мокрой.

— Вы собираетесь гадать?

— Смотрите вверх, — приказал он.

Под сизой тяжестью низких облаков расплывались еще более тяжелые, почти черные клочья, они сталкивались, крутились, куда-то неслись.

— Пройдет год или около того, — медленно и торжественно говорил он, — и вот такая рука, как ваша, свободно станет управлять всей этой грозной стихией. Я не прошу вас верить мне, я лишь хочу, чтобы вы запомнили сегодняшнюю грозу и наш разговор.

Дождь редел. Гроза, громыхая, удалялась на запад вместе с лиловой тьмой, прохлестнутой белесыми молниями.

Раздвинув плющ, на него смотрели две девушки — одна высокая, черноволосая, с лицом строгим, диковатым, вторая — в прозрачном капюшоне, ярко-коричневые глаза ее глядели удивленно и запоминающе.

— А кто из нас давал вам руку? — внезапно спросила она.

— Вы, — сказал Тулин. — Вы, Женечка. Женя.

— Так нечестно, вы подслушали!

— Четвертый курс. Скорей бы на практику. Евтушенко — сила. Замуж и не думаю...

Под деревьями продолжало дождить, парк еще был ошеломлен, но уже остро запахло травой, и на песке робко проступали солнце и тени.

Тулин ступил в желтую пенистую лужу. Девушки засмеялись и ускорили шаг. Они торопились на лекцию.

— Я знаю, о чем вы думаете, — сказал Тулин. — Я знаю ваше желание и готов выполнить

его.

— Попробуйте.

— Вы не хотите идти на лекцию, вы хотите познакомиться со мной, хотите остаться гулять в этом парке.

— Глупости, — строго сказала высокая девушка. Ее звали Катя. — Вы слишком самоуверенны.

Тулин посмотрел на Женю и быстро сказал:

— В таких случаях самое оригинальное — быть честным. Будьте оригинальны. Уступите себе, ведь потом жалеть, что не решились.

Женя засмеялась. Ярко-белые зубы осветили ее лицо.

Но он не улыбался, и весь этот треп обретал странную многозначительность. Большие коричневые глаза Жени смотрели серьезно.

— Ничего, мы же договорились встретиться здесь через год.

Тулин сжал ее пальцы.

— Мне почему-то кажется, что это произойдет раньше.

— Мы опаздываем, — сказала Катя.

До остановки было далеко. Тулин вышел на мостовую навстречу несущемуся троллейбусу, поднял руку. Он слегка прищурился, наслаждаясь своей щедростью чародея. Троллейбус, скрипнув тормозами, остановился перед его грудью. Водитель погрозил кулаком, но вдруг усмехнулся и открыл двери. Девушки вскочили. Тулин помахал им.

Он взглянул на часы. Оставшиеся полтора часа показались ему обременительно ненужными. Следует что-то придумать, чтобы люди могли сдавать на сохранение лишнее время, размышлял он, сдавать, как в сберкассе, а потом брать по мере надобности.

Он отряхнул пиджак и направился в институт, зная почти наверняка, что именно там ему сейчас не следовало бы появляться.

2

Утро этого дня в лаборатории № 2 ничем не отличалось от обычного. Было душно, мужчины работали в рубашках: Бочкарев принес букетик ландышей и поставил в колбочку старшей лаборантке Зиночке.

Пеленгаторы атмосфериков отметили грозу, идущую с северо-востока со скоростью двадцать километров в час. Матвеев включил регистраторы.

Утро двигалось деловито и размеренно, не готовое ни к каким происшествиям.

В половине одиннадцатого в лаборатории неожиданно появился Голицын. опережая его, из комнаты в комнату понеслась суматоха приготовлений. Мужчины надевали пиджаки. Зиночка сунула ландыши в шкаф. Ричард запихивал под стол мотки проводов, панели, старые схемы

— весь хлам, который с непостижимой быстротой скапливался вокруг него.

Голицын надвигался, размахивая огромным портфелем, полы распахнутого плаща разлетались крыльями. Не отвечая на приветствия, он отрывисто выпаливал:

— Болтология!.. Дичь!.. Совещания!.. Заседания!

Швырнув на стол Крылову портфель, он принялся яростно обмахиваться шляпой. Крылов встал, освобождая стул, но Голицын крикнул ему:

— Кто-нибудь подсчитал, сколько я просидел часов на заседаниях? Всего за последние десять лет? Хоть бы примерно.

Крылов опустил длинные руки, неловко и угрюмо задумавшись.

— ...Представляете, на этой идиотской летучке я подсчитал. Три тысячи триста часов. Из них три тысячи бесполезных. Вам-то что, вам никто не мешает.

Агатов издали осторожно улыбнулся.

— ...А кто вам мешает? Строите себе кривые, а вот мне осталось работать каких-нибудь шесть тысяч часов. С моим здоровьем? Не больше. Не спорьте.

Редкие седые волосы Голицына растрепались, обнажив беззащитно розовую лысину. Он свирепо оглядел стоящих вокруг него сотрудников, остановился на Крылове.

— Вас это, конечно, мало заботит, — ядовито обрадовался Голицын. — Вообще непонятно, что вас занимает. Где вы витаете?

Сонные глаза Крылова смотрели отсутствующе, безразлично.

Голицын неожиданно обернулся к Матвееву.

— Плохо! Переделать! Разве это результаты?

В такие минуты с Голицыным старались не спорить. Он мог обрушиться любой несправедливостью, капризом. Матвеев, что-то беззвучно шепча, отступил.

— А чем плохо, — вдруг медленно сказал Крылов с тем же отрешенным видом. — На таких флюксметрах большей точности не выжать.

Маленькое скомканное лицо Матвеева расправилось, он благодарно кивнул Крылову.

Голицын запыхтел.

— Кто говорит, что плохо? Вы слова не даете сказать. Вы бы лучше свои работы форсировали.

— Флюксметры я устрою, — сказал Агатов.

Таблицы, рулоны лент, фотографии, наваленные на столе, замелькали под руками Голицына. Нырнув в эту бумажную груды, он, клюнув своим острым, с породистой горбинкой носом, безошибочно извлек тот самый график, который Крылов прятал от себя. Прищурясь, повертел его в вытянутой руке.

— Сколько вы еще намерены мыкаться?..

Агатов откашлялся за спиной.

— Аркадий Борисович, я торопил Крылова, предупреждал: мы план сорвем. — Вся его костистая фигура, белое лицо с крепкой челюстью выражали сдержанное огорчение. — А насчет летучки, Аркадий Борисович, послали бы меня, я бы отсидел. Вы сами не цените своего времени.

Голицын раздраженно отмахнулся от него графиком. Крылов смотрел на галстук Голицына...

«Конечно, она отлично понимала, что, чем быстрее мы оба работаем, тем скорее расстанемся, — думал Крылов. — Просто мы старались об этом не говорить. Два идиота. Два исступленно честных идиота. У нее было сколько угодно предложений, чтобы задержать работы. Интересно, думала ли она об этом? Какого числа сняли последний график? Лед на озере трещал и гнулся под ногами. Что она сказала про лед? Приборы уже стояли в воде. И она здорово выдала про лед...»

— Разрешите, — сказал Крылов и, перегнувшись через стол, потянул к себе график. Получилось неловко, почти грубо.

— Однако... — Голицын величественно выпрямился, и всем стала видна невоспитанность Крылова. Дав это почувствовать, Голицын сгорбился и превратился во вздорного, ехидного старика. — Полюбуйтесь на него. Анахорет. Одичали вы. Так и свихнуться недолго... Нет, нет, вас силой надо оторвать от вашей фантастики.

Бочкарев и Ричард переглянулись.

— Старик хочет на нем выспаться, — шепнул Ричард.

Бочкарев покачал своим огромным черепом гнома.

— Тут что-то... подожди...

Но Ричард уже выскочил перед Голицыным.

— Почему у вас осталось шесть тысяч часов работы, Аркадий Борисович, из чего вы исходите? — Храбрая улыбка заплясала на его бледном, подвижном лице. — Тогда есть смысл работать не больше часа в сутки.

— Что вы суетесь? — сказал Голицын. — Что вы знаете о старости? Стареть — это скучное занятие.

— Но пока это — единственное средство долго жить, — сказал Ричард.

Бочкарев протянул Голицыну письмо какого-то изобретателя, предлагающего использовать свойства ревматических суставов для прогноза погоды. Раздался преувеличенно громкий смех. Заслоняя Крылова, Бочкарев ласково взял Голицына под руку, повел показывать новую аппаратуру.

— Чего хлопчете? — сердито буркнул Голицын. — Вызволители.

Почтительная процессия проследовала за Голицыным в соседнюю комнату, к стендам.

Крылов расправил измятый график. Там стояла дата: «12 марта». Две цифры и несколько слов, написанных легким косым почерком. Он попытался вспомнить, что это был за день. Снимали счетчики на озере? Или заканчивали обходы в лесу?

Иногда Наташа задерживалась, и они работали до поздней ночи. На этот раз она тоже задержалась. Наступили сумерки, но почему-то никто из них не поднялся включить свет. Наконец совсем стемнело, так что уже нельзя было писать. Они перестали писать. Наташа сидела в кресле не шевелясь. Антоновы куда-то уехали, и они были одни в доме. Он подумал об этом, да, он совершенно ясно помнит, что подумал об этом. Он встал, подошел, и она вдруг прижалась к нему. Он даже не ожидал, что все получится так просто и хорошо. На рассвете он проснулся с тем же чувством удивления. Наташа еще спала. Она улыбалась во сне. Совершенно доверчиво. Так, как будто она уже ни в чем не сомневалась. У нее были пухлые губы и брови длинные, наведенные... Вдруг, не открывая глаз, она сказала:

— Не смотри на меня.

Когда они вышли на крыльцо, снег, румяный от восхода, казался теплым, а дом оброс длинными ледяными сосульками. Дом весь сверкал, звенел и таял, Крылов провожал ее к автобусу. Она по-прежнему смотрела на него с доверчивым восхищением, и он встревожился. Ему хотелось, чтобы все оставалось приятным случаем, и ничего серьезного. Он не был готов к серьезному, и не нужно, чтобы она придавала этому такое значение, ни ей, ни ему это не нужно.

Стоило подвернуться таблице, заполненной Наташиной рукой, как мысли его сбивались. Иногда подолгу сидел, уставясь в одну точку, вспоминая и вспоминая. Никто не подозревал, какими усилиями он заставлял себя вернуться к работе. Бывали часы, когда люди двигались вокруг него плоские, бесшумные, как в немом кино.

Голицын возвращался, сопровождаемый Ричардом и Агатовым, сзади теснились остальные.

— ...и все же философы утверждали, что теория сера, а вечно зелено дерево жизни, — говорил Ричард. Он был, пожалуй, единственным в институте, кто осмеливался спорить с Голицыным.

— Знаток, — сказал Голицын. — Между прочим, какой это философ утверждал?

— Из древних.

— Из древних! Ну да, все, что до революции, у него из древних. К вашему сведению, это Гете. Был такой древний поэт. Была у него такая пьеса — «Фауст», и произносит эти слова Мефистофель, желая вызвать сомнения у Фауста. — Голицын оглядел Ричарда. — А Фауст был ученый, а не аспирант. Можно сказать, академик. А у вас, Ричард, еще конь не валялся. Все рассуждаете. Так вы и останетесь вечнозеленым деревом.

Агатов засмеялся, хлопнул Ричарда по плечу.

— Точно сказано...

Он смеялся четко и внушительно, так же, как говорил. Наклоняясь к Голицыну, он начал

докладывать о сдаче отчетов. Озабоченная морщинка прорезала его гладкий лоб с белесыми бровями над стальными шариками глаз. Как-то само собой получилось, что после ухода начальника лаборатории все организационные дела повел Агатов, и считалось, что ему и предстоит занять это место.

Голицын досадливо морщился. Он не любил заниматься канцелярщиной — отчетами, планами, заявками. У Агатова, разумеется, было положение нелегкое: Бочкарев требовал включить тему, которую не утверждали. Крылов тянул с отчетом, из-за него откладывался семинар.

— Анархия! — закричал Голицын. — Так дальше нельзя.

Крылов улыбнулся.

«Лед сам недавно был волной, — сказала Наташа, — а теперь он душит ее».

А может, она сказала не душит, а гасит, нет, она сказала как-то иначе, точнее. Как быстро все забывается! Желтое плюшевое кресло, в котором она любила работать, поджав ноги. Прикосновение ее плеча, всякий раз ошеломляющее, как будто ничего не было и все только начинается. А на перроне она стояла в красном пальто и красных рукавичках, и мы говорили про крокодилов, а потом про лыжную мазь, ни о чем другом, только про лыжную мазь.

— Что тут смешного! — сказал Голицын. — Ошибаетесь, на этот раз не удастся, я вас заставлю заниматься делом.

«Хорошо бы сейчас превратиться в крокодила, — думал Крылов, — огромным крокодилом выползти из-под стола. Представляю их физиономии! Зиночка бы закричала, а старик возмутился бы: „Прекратите свои выходки, как вам не стыдно!“

Голицын взял портфель, шляпу и без всякого перехода, тем же ворчливым голосом сказал:

— Сергей Ильич, подавайте заявление на конкурс.

Крылов тупо застыл, раскрыв рот.

— Ну что вы уставились? — рассердился Голицын. — Подавайте заявление на должность начальника лаборатории.

Воцарилась оглушительная тишина. Все посмотрели на Агатова. Губы его сжались, почти исчезли. Какое-то мгновение казалось, что и сам Агатов исчез, остался только строгий темно-серый костюм.

Только Голицын делал вид, что ничего не замечает. Старчески семеня ногами, он подошел к Ричарду.

— Чтобы к понедельнику прочитали «Фауста». Небось всякими Хемингуэями упиваетесь.

— Я этого «Фауста»... я его наизусть выучу! — восторженно сказал Ричард.

— Чего радуетесь, чего радуетесь! — фыркнул Голицын. Не оборачиваясь, ткнул пальцем в

сторону Крылова: — У него тоже сумбур в голове, но хоть какие-то идеи копошатся. — Он закрыл один глаз, покосился на Агатова. — Хоть и завиральные... Планы составлять научится. Бумажки, промокашки, кнопки, скрепки... А нам идеи нужны. Дефицит. Профессор Оболенский покойный на папиросных коробках всю бухгалтерию вел...

Так всегда в трудные минуты — напускал на себя стариковскую чудаковатость. Подслеповато щурился, кричал отрывисто, громко, как глухой. Поди подступись! Шестьдесят пять лет, склероз.

Самое удобное было считать, что Крылов ошалел от счастья и поэтому не в силах ничего ответить. Глаза его оставались дремотно-далекими. Все видели это, и всем было стыдно перед Голицыным.

Бочкарев пихнул Крылова локтем, прошипел, как маленькому:

— Скажи спасибо.

— Ну да, — сказал Крылов, — спасибо.

Теперь, когда он вспомнил слова Наташи про лед, он понял, что ему хотелось вспомнить что-то другое, но что — он не знал. Он смотрел, как шевелились морщинистые губы Голицына, и блестела во рту золотая коронка, и шевелились толстые, сочные губы Ричарда, и накрашенные губы Зиночки, и прикрытые усиками губы Матвеева. Все шевелили губами и стояли на месте. Им можно было, как в дублированном фильме, подгонять совсем другие слова.

Голицын повел плечом, и все отошли, оставили их вдвоем.

— Что с вами, Сергей Ильич? — спросил Голицын.

«Зачем мы расстаемся? — сказала Наташа. — Я все понимаю, но что мы делаем?»

— Да, да, вы не волнуйтесь, — сказал Голицын, — все будет хорошо, все образуется.

Наивысшее удовольствие, какое мог бы Крылов себе доставить, — это собрать из всех бумаг здоровенный кляп и засунуть в рот старику.

3

Клубом служила верхняя площадка запасной лестницы. Здесь пахло табаком, стояли ведра уборщиц, щетка, старые урны — всего этого было достаточно для уюта. Ни одна лаборатория не имела такого милого местечка. В главном здании коридоры были слишком чистые и светлые, там приходилось маяться в просторной гостиной, обставленной новенькими креслами.

Они сидели на перилах, курили, и Бочкарев пытался выяснить, какая муха укусила старика,

откуда это неожиданное предложение. В последнее время Голицын, наконец, решился выступить против академика Денисова, и тут Крылов и Бочкарев были целиком на стороне своего шефа, и, может быть, зная это, он хотел укрепить тылы. А может, он просто задумался о наследнике.

— Ты вполне подходишь для наследного принца, — говорил Бочкарев. — Кандидат, физик, подаешь надежды, молод. Чего мы будем гадать, бери и властвуй.

— А зачем мне это нужно? — спрашивал Крылов.

— Вот тебе и на. Приехали! Лабораторией должен руководить ученый. А нашей — физик. Старик чувствует.

— Ох, этот старик!

Несмотря на все слабости Голицына, они почитали его. Что бы там ни говорилось, шеф по праву слыл одним из основоположников науки об атмосферном электричестве. Последний зубр, Старая школа, он, как никто, знал проблему в целом, правда, скорее как метеоролог, а не как физик. Он обладал широтой, но ему не хватало глубины, которая требует узости.

— Кое-чем тебе придется пожертвовать, не без этого, — говорил Бочкарев, — но важен общий выигрыш.

Крылов сплюнул в пролет.

— Иначе что ж, иначе Агатов, — сказал Бочкарев. — Ты откроешь дорогу Агатову.

— А что страшного? Он хороший организатор.

— Да-да, многие так считают. Но ты! Он же не творческий человек. Он бесталанен. Это опасно, как гангрена. Недаром он рвется к этой должности. Еще до Пархоменко был у нас такой завлаб Сирота, дурак дураком. Агатов спихнул его, все были рады, но я тогда уже почувствовал, что Агатов для себя старался. А прислали Пархоменко. Ну, Пархоменко — доктор, талантище, Агатову не по зубам. Вы небось полагали, что Агатов в восторге от Пархоменки. Как бы не так! Он его тоже выпихивал, только на сей раз наверх выдвигал. Бог ты мой, какие вы все слепцы!

— Любим мы преувеличивать, — сказал Крылов. — Ну, хочет быть начальником, значит, будет хорошо работать. А я не хочу. Мне со своей темой не разобраться. Чего ради я буду еще с вами возиться? Да я и не умею.

— Учись. Еще Офелия говорила: все мы знаем, кто мы такие, но мы не знаем, кем мы можем быть.

— Офелия для меня не авторитет. Ей не предлагали быть начальником лаборатории. Мне надо добивать свою тему. Не нужен мне берег турецкий.

— А всякая шушера в лаборатории тебе нужна? — рассердился Бочкарев. — Вот увидишь, что получится.

Склонный к анализу, он неумолимо выводил печальные последствия отказа Крылова.

— А почему бы тебе не пойти на эту должность? — спросил Крылов. — Ты так хорошо понимаешь необходимость самопожертвования.

Бочкарев считался лучшим специалистом по измерительной технике. Ему несколько раз предлагали защищать докторскую, он только пожимал плечами: зачем, разве он станет

больше знать оттого, что получит степень доктора? Он нисколько не рисовался, этот маленький горбун с большой яйцевидной лысой головой. Временами, наблюдая, как он, бормоча и пришептывая, колдует над схемой, Крылов понимал, что ничего более приятного для Бочкарева не существует.

«Его величество эксперимент, — поддразнивал Голицын, — нет, отклонение стрелки — это еще не наука». Бочкарев мягко соглашался, но иначе он работать не мог. Конечно, из муки можно сделать многое, оправдывался он, но в любом случае для этого надо смолотить зерно.

Бочкарев заходил по площадке, отшвыривая ногами ведра.

— Где уж мне с такой рожей. Может, это глупо... Я однажды замещал Голицына... Пришлось заседание вести, так мне все время казалось, что все смотрят на меня и смеются. Мне на людях всегда мучительно. Я себе Квазимодой кажусь.

Большие грустные глаза его влажно блестели. Крылов давно свыкся с внешностью Бочкарева, не замечал ее, но сейчас вдруг вспомнил, что на собраниях Бочкарев забивался в дальний угол, никогда его не заставишь выступить, и на институтских вечерах он не показывался. Он воображал себя уродом, и спорить с ним было бесполезно.

— Наплюй, — сказал Крылов. — И не замыкайся. Чуть что, бей по морде интеллектом. Талант — это ж самая редкая красота. Она у тебя на физиономии написана.

Бочкарев вяло покачал головой.

— Когда-то в детстве мне сказали, что все горбуны злые. С тех пор я на всю жизнь боюсь стать злым. Мне очень легко озлиться.

В дверях показался Ричард.

— Я-то вас ищу! — обрадовался он. — Сергей Ильич, поздравляю. Каков фитиль Агатову! Ну и спектакль выдал старик! Теперь держись!

Он оглушил их проектами реконструкции лаборатории, новыми темами. Фантазия его разыгралась: он запускал спутники с телевизионными установками, управлял погодой. Он не желал и думать, что Крылова может не устраивать должность начальника лаборатории. Не умолкая ни на минуту, он приседал, разминался, подтягивался на стремянке, корчил рожи, изображая то Агатова, то Голицына. Жажда деятельности переполняла его.

— Ну вот, эгоист, слышал глас народа? — сказал Бочкарев.

— Сами вы эгоисты, — ответил Крылов. — Только вас много, поэтому вы называете себя коллективом.

Ричард поразился:

— Вы не хотите? Сергей Ильич! — Глаза, руки, брови, все тело его выражало удивление, даже выцветшая клетчатая ковбойка удивленно уставилась беленькими пуговичками.

— Я работать хочу, — сказал Крылов. — Идите вы все!.. У меня только-только проклевывается.

— Сами требуем дорогу молодым, обновить руководство.

— А когда предлагают, то в кусты!

Наперебой они наседали на него...

А на озере прозрачный лед прогибался под ногами, и видно было, как белые пузыри воздуха сплющивались там, над водой. Ветер сбивал с ног. Несколько раз они проваливались, хорошо, что было мелко и счетчики не упали в воду. Мокрые, застуженные, они еле добрались до рыбацкого поселка и долго грелись в буфете. Они ели винегрет, пили водку. Из-за стойки вышел тяжелый, старый кот. Он лизнул мокрые Наташины брюки и закричал басом.

— Кот заколдован, — сказала Наташа. — Не верите? Хотите, он съест соленый огурец?

— Чепуха, — сказал Крылов, — коты не едят огурцов.

Наташа бросила на пол желтый кружок огурца. Кот понюхал и захрустел...

— ...Начальник, он всегда умнее, — сказал Ричард. — Стать начальником — верный способ поумнеть.

— Агатов собирался расширять лабораторию. А мне кажется, надо ее уменьшать. Сократить договорные темы, — сказал Бочкарев.

Поставив руки на бедра, Ричард наклонялся вправо, влево, приговаривая:

— К — вопросу — о — некоторых — данных — наблюдения — гроз — Тульской — области — во — второй — половине — девятнадцатого — века...

— Агатова надо как-то нейтрализовать, он опасен.

— Заарканим, — сказал Ричард. — Неужели вы его боитесь, Сергей Ильич?

— Никого я не боюсь. Братцы, — Крылов виновато положил им руки на плечи, — отступитесь вы от меня. — И ушел.

— Что с ним творится? — спросил Ричард.

— Это с тех пор, как он вернулся с Озерной, — сказал Бочкарев.

Ушел и Ричард, стало тихо. Бочкарев походил, посмотрелся в блестящий наконечник пожарного шланга. Кривое зеркало делало его лицо почти нормальным.

Крылов шагал из комнаты в комнату, разглядывая привычные стенды, аппаратуру, своих товарищей. Внезапно он услышал тикающие, щелкающие, жужжащие звуки включенных приборов. Перья самописцев неумолимо рисовали невидимые бури, происходящие где-то в черной дали вселенной, взрывы на Солнце, ливни космических частиц. На тонких дрожащих линиях отражалась жизнь мельчайших частиц, дыхание земного шара, его дожди, грозы — все, что творилось в этом чистом голубом небе и в этом весеннем воздухе. По мерцающему экрану атмосфера проносились зеленые разряды гроз, идущих над Африкой.

Его подозвал Матвеев показать монтаж следящей системы. Судя по всему, получалось надежно и просто. Матвеев всегда показывал свои работы Крылову, хотя Крылов разбирался в этих вещах хуже него. У Матвеева не было диплома, и он робел перед каждым инженером.

Матвеев поворачивал диск. Обшлага его сатиновой спецовки лохматились. Крылов вспомнил, что никогда не видел на Матвееве приличного костюма. Из-за проклятого диплома Матвеев до сих пор числился старшим лаборантом. А между тем он был отличным, самостоятельным ученым, и следовало давно уже выхлопотать ему персональный оклад, доказать начальству, что о таком человеке надо судить не по диплому, а по тому, что он есть и что он может дать.

Крылов собрался было сказать ему об этом, но вдруг сообразил, что теперь сочувствовать и возмущаться он уже не может. Наверное, надо что-то обещать. Или он должен вообще промолчать. И это непривычное чувство связанности удивило и не понравилось. Подбежала Зина, разложила осциллограмму, попросила отметить нужные пики. Она прижалась к нему грудью, шепнула:

— Смотаемся позагорать на вышку? Мы все идем в обеденный.

Крылов почесал затылок.

— Ну вот, уже заважничали, — сказала Зина.

Он не нашелся, что ответить. И это было глупо, еще вчера вместе со всеми он валялся на вышке, и играл в дурака, и посматривал, не идет ли пожарник, потому что на старую вышку было строго-настрого запрещено забираться.

Миновав аккумуляторную, Крылов свернул к вычислителям, но, не дойдя до них, остановился и пошел назад. В коридоре он встретил Песецкого.

— Сережа, — сказал Песецкий, — эн равно минус два.

Из кармана его пиджака торчала «Юманите».

— Чего пишут? — спросил Крылов.

— Ужасы капитализма. Девушка отравила одиннадцать родственников, — сказал Песецкий.

— Эн равно минус два, — убежденно повторил он и помахал перед Крыловым исписанными листками.

— Неохота мне браться за лабораторию, — сказал Крылов. — Загремит наша тема.

— Наверное, — сказал Песецкий. — А знаешь, как я вычислил?

— Не гожусь я для этого дела. Не справлюсь.

— Ничего, массы поддержат. Так вот, я вычислил подкорковыми центрами. Включил подсознание!

— Я как представил себе, — сказал Крылов, — так сразу почувствовал, что не могу быть самим собою. Боюсь не то сделать, не так сказать.

— Тогда откажись, делов палата.

Они зашли в комнату, где работали студенты. Песецкий упоенно расписывал свой метод: если какая-нибудь задача не получается, надо заняться другим и включить моторы подсознания. Так поступал великий математик Пуанкаре. Моторы сработают, и в один прекрасный миг решение придет само, выскочит на поверхность из темных подкорковых

глубин.

— Важно дать задание своему подсознанию, — ораторствовал он, — и дальше можно не беспокоиться.

— А спинной мозг годится? — совершенно серьезно спросил Алеша Никулин.

Крылов стоял у окна, полузакрыв глаза. Потом он сердито сказал:

— Эн должно быть больше нуля. Иначе молнии будут бить с земли в облака.

— Это — их дело, — сказал Песецкий, — мое дело — составить уравнение.

— Но оно лишено физического смысла.

— А какой смысл в молнии? — спросил Песецкий. — Ты можешь объяснить? Я полгода бьюсь над расчетом атмосферных помех. Какой в них смысл? Никакого смысла.

Он обнял Крылова и сказал на ухо:

— Брось ты мучиться. Все решится само собой. Всегда все решается независимо от нас.

Утешив таким образом Крылова, он с еще большим воодушевлением принялся излагать всем встречным способы эксплуатации подсознательного мира.

4

Он поднялся по витой железной лестнице на радиолокационную башню. Радисты уехали в поле, и в аппаратной было темно. Сквозь щель жалюзи пробивался солнечный луч, круглый, золотистый, как бамбук. Крылов протянул руку, луч уткнулся в ладонь, и ладонь прозрачно засветилась.

Казалось, этот луч пронзил его насквозь легким теплом, и от этой непривычной ласки Крылову стало жаль себя.

Все эти месяцы после возвращения из командировки он жил в оцепенении, поглощенный тупой, возрастающей тоской. И вот сейчас, когда что-то должно было круто измениться в его жизни, его охватило беспокойство. Он чувствовал, что дело здесь не в предложении Голицына, скорее всего тут была досада на то, что ему самому предстоит как-то определить себя, видеть себя, действовать. Но и это было не главное, главное же заключалось в тревожном предчувствии и ожидании — чего? Странно, что именно об этом он и не желал думать.

Он осторожно трогал кончиками пальцев осязаемую пыльную поверхность луча. Отломать кусочек и послать вместо письма. Обломок луча в длинной коробочке. Почему она не отвечает? Он знал почему, но придумывал другие объяснения.

Он подставил лицо под луч и зажмурился.

— Эх, Натаха, ты, Натаха! — сказал он.

В дальнем конце аппаратной послышался смешок. Крылов вздрогнул, пошарил на стене, повернул выключатель.

— Эй! — раздался предостерегающий крик. На ящике сидел Агатов. Руки его шевелились в черном мешке для зарядки кассет. — Чуть не засветили мне пленку. Ну, да теперь можно не гасить.

— Простите, — пробормотал Крылов.

Агатов довольно разглядывал его пылающую физиономию. Крылов понимал, что Агатов давно из темноты наблюдал за ним. Лучше всего было немедленно извиниться и уйти, но Крылов продолжал стоять, все более смущаясь, и чем дольше он стоял, тем невозможнее становилось уйти.

— Забыл вас поздравить. — Агатов помолчал, наслаждаясь его беспомощностью. — Как это вам удалось обработать старика?

— Понятия не имею... уверяю вас... — пробормотал Крылов, еще сильнее смущаясь.

— Ну, ну, будете утверждать, что вы ни при чем, — снисходительно сказал Агатов. — Я тут наблюдал, какие вы манипуляции от восторга выделявали.

Крылов тоскливо переступил с ноги на ногу.

— Вот так тихоня! — Агатов покачал головой. — Ловко вы всех здесь обвели. Отдаю должное. А я-то документы приготовил, копии у нотариуса снял. Смешно, верно?

— Ну что вы, что вы, — утешающе повторял Крылов. И вдруг сказал: — Я еще не решил.

Но Агатов не слушал его. Задумчиво и размеренно он продолжал:

— Заметили, как Аркадий Борисович оценил меня? Аккуратен. Исполнителен. Бумажки составляет. А своих, мол, идей Агатов не выдвигает. Вот в чем беда, оказывается. А то, что я его идеи проводил, так это ничто? Если я их полностью разделяю?

Застылая усмешка прочно держалась на его лице, сбивая Крылова с толку. Он не знал, как держать себя.

Ему страсть как хотелось выпалить: «Чего вы ко мне прицепились, ступайте к старику и выясняйте свои отношения», но стыд еще не прошел и, кроме того, было совестно бить лежачего. Он чувствовал, что Агатов обижен, убит.

— В науке никому нельзя верить, — сказал Крылов. — Старик нас пытается лепить по своему подобию. Это у него непроизвольно. Нам нельзя поддаваться. Ради него же. Тут такая антимонополия получается. Каждый должен отстаивать свои взгляды...

Агатов прервал его:

— Свою тактику принципами заслоняете? Я вас понял. Думаете, я не знаю, как вы все меня расцениваете?

Его непримиримый смешок сделал излияния Крылова нелепыми. «Какого черта я чувствую себя виноватым?» — возмущился Крылов. Из всех возможных положений он всегда умудрялся выбрать самое невыгодное. Безошибочно. Никто не умел так ловко и быстро попадать впросак, как он. Привыкнуть к этому было невозможно. Но смеяться над этим он научился.

— Голицын обманул меня. Я знаю, ему наговорили, — сказал Агатов. — Но я это так не оставлю.

Крылов посмотрел на него с любопытством.

— Неужели вы всерьез огорчены? Ведь это всего лишь должность.

— Должность... Нет, Сергей Ильич, для меня это больше должности, — с внезапной резкостью сказал Агатов. Рука его в черном мешке перестала двигаться. — Мне важно признание. Зачем притворяться? Мы же без свидетелей. Конфиденциально. Аркадий Борисович, тот сегодня при всех проговорился. И вы это прекрасно знаете. Хотите, я могу раскрыть скобки? Хотите? — Он наклонился вперед, серые шарики его глаз твердо нацелились на Крылова. — Кое-кто считает, что я не обладаю научными способностями. Вы, например, талант, а я нет. Что, не так? Да вы не бойтесь. Я лично к вам ничего не имею. — Выдернув руки из мешка, он помахал растопыренными пальцами. — Представьте, что я согласился бы с такой характеристикой. — Он поднялся. Губы его задергались, точно сбрасывая эту любезную усмешку. — Что ж мне тогда? Чем я виноват? Не досталось соответствующих генов от родителей, так куда ж мне прикажете? А?

Слегка прерывающийся голос его звучал просто и деловито, глаза смотрели с горечью, но ясно, как будто что-то обнажилось в этом человеке. Крылов никогда не видел такого Агатова, сейчас ему казалось, что этот Агатов и есть настоящий.

— Нет, Сергей Ильич, слишком легко вы разложили... А что, как у меня другой талант? Каждому свое... — Агатов вдруг остановился, пристально глядя на Крылова. — Послушайте, вы действительно еще не решили? Зачем вам эта должность? Все равно ничего не выйдет у вас с Голицыным. Он по-своему станет гнуть, вы же сами признаете. А у вас характер, вы маневрировать не умеете. Что ж получится? И дело будет страдать, и себе голову сломаете, и никакой славы. Да, отговариваю ради вас же. Откажитесь, пока не поздно. — Он пытался сдержать свой голос и не мог. — Какой вам интерес? Научное руководство — так тут и без нас обходятся, мы-то с вами знаем. Голицын еще не понимает, ему куда легче со мной будет. И вам легче, всем легче. Он сам скоро жалеть станет.

Крылов доверчиво улыбнулся.

— Так и мне во как неохота! — Он провел рукой по горлу.

Агатов заходил вокруг него большими шагами.

— Нет, я все понимаю. Начальник лаборатории — сам себе хозяин. Уходит, когда хочет. Не надо ни у кого проситься. Свобода — это существенно. Но я вам гарантирую. За моей спиной вам еще свободней будет. Как мне Голицын стал поручения давать, так меня талантов лишили. Всех начальников всегда бездарными считают. Вас тоже сразу в бесталанные определяют.

Крылов устал стоять посреди комнаты и осторожно, боком отошел к зашторенному окну.

— Мне кажется, тут другие интересы, Яков Иванович, — деликатно сказал он. — Согласитесь, что необходимо менять тематику. — Агатов энергично закивал. — Нас заедают ненужные мелочи. Старик напирает главным образом на статистику. Вот посадил он вас замерять заряды капель. Пожалуйста, не обижайтесь, Яков Иванович, но боюсь, в наших лабораторных условиях ничего нового тут не выяснить. А с другой стороны, такой проблемы, как активные воздействия, мы сторонимся.

— Точно! — воскликнул Агатов. — Даже... — на мгновение он запнулся, настороженно взглянул на Крылова, — даже отмахиваемся!

— Старик избегает современной физики. Ну как вы сладите с ним?

— Постепенно, постепенно. Думаете, на него узды не найдется? — К Агатову быстро возвращалась внушительность. — Вам тут нечего беспокоиться. Можете спокойно работать. У вас будет полная самостоятельность, я обеспечу. Насчет тематики — не спорю, но все зависит, как преподнести. Подать мы себя не умеем, вот в чем беда, Сергей Ильич. Те же самые работы так можно обставить, что нас завалят средствами, оборудованием, чем хотите. Поверьте мне, коллективу куда выгоднее, если у начальника никаких своих интересов научных нет. — Он предостерегающе поднял руку. — Знаю, знаю. Знаю, что вам советуют и Бочкарев и вся его компания. А вы не слушайте. Все они эгоисты. И, между прочим, я не осуждаю. Настоящий ученый должен быть эгоистом, иначе он ничего не успеет.

Плоское лицо его влажно блестело. Он работал. Он разворачивал перед Крыловым свои планы, один заманчивей другого. У него все было давно продумано.

Он знал все, что можно было знать о дирекции, о работниках главка, хитрости их взаимоотношений, списки трудов академиков, кто чем увлекается, знал, что с Лиховым проще всего встретиться на концерте в консерватории, что дочь секретарши Денисова работает в пятой лаборатории.

Крылов стеснялся прервать его. Незаметно отодвинув штору, он смотрел вниз на залитую солнцем метеостанцию.

Студенты работали у белых будочек с приборами. Матвеев и Зиночка готовили радиозонд.

«Как бы все могло славно устроиться, — с тоской подумал Крылов. — И можно пойти с ними загорать».

Он вздохнул, откашлялся раз-другой, прежде чем Агатов обратил на него внимание.

— Простите, Яков Иванович, но как-то это все не то, — сказал он.

— То есть как? — оторопел Агатов — Пожалуйста... У вас условия? Предлагайте...

Крылов поежился, в таких случаях он ничего не мог поделать с собой.

— Не нравится мне, что вы тут наговорили.

— Но ведь всегда можно поладить. Выкладывайте ваши наметки. Я с удовольствием...

Он стал ниже ростом, смотрел на Крылова с робкой готовностью откуда-то снизу.

— Ничего у меня нет, никаких наметок, — признался Крылов.

Агатов вопросительно смотрел на него.

— Матвееву надо бы оклад выхлопотать, — добавил Крылов.

— Я это могу в два счета... — заторопился Агатов. — Нет, вы объясните, что вас держит? Вы против меня имеете что? Я вам никогда ничего плохого не сделал. Чем я не подхожу, чем?

Крылов виновато развел руками.

— Небось сами хотите, — вдруг сказал Агатов, убежденный смущенной улыбкой Крылова и все более уверяясь от его неловкого молчания. — Понятно, зачем же власть упускать! А я-то душу вам открывал...

Крылов опомнился.

— Поверьте, Яков Иванович, вы это с обиды. Я вам благодарен, что вы так откровенно... Мне

подумать надо...

Сгорбившись, Агатов вернулся к ящику, взял мешок с кассетами и долго там возился к стене лицом, потом пошел к двери. Обойдя Крылова, он остановился. Лицо его обрело обычную бесстрастную любезность. Опять он был собранный, подтянутый, и отглаженный костюмчик сидел без малейшей морщинки.

— Я хочу как лучше, — сказал Агатов. — Сконтактироваться. — Он сделал все, чтобы любезно улыбнуться.

Железная лестница отзвенела под его шагами.

— Вот и разберись, — озадаченно сказал Крылов, как будто кто-то мог услышать его. Он печально посмотрел на свои недавно отпаренные брюки — на коленях уже вздулись пузыри... Погасив свет, он уселся на приступку и стал ждать. Но солнечный луч исчез, и прежнее настроение не возвращалось. Необходимость что-то решать злила его. Он не желал ничего решать. В любом случае, соглашаясь или отказываясь, он что-то терял. Но в том-то и дело, что, решая, всегда что-то теряешь.

Не хотелось спускаться вниз и сидеть сейчас рядом с Агатовым. Он словно обжегся, прикоснувшись к обнаженной душе этого человека. На какой-то миг приоткрылось самое сокровенное, в глубине расселины Крылов увидел трепещущее, еще расплавленное, готовое отлиться в любую форму... Кто знает, где и когда совершается поворот человеческой души? Что-то бурлит, соединяется у вас на глазах, достаточно одного слова, и оно вдруг застывает судьбой: Крылов думал о том, что мы сами делаем людей плохими и хорошими.

Разумеется, Бочкарев, и Ричард, и Голицын — они руководствуются самыми высокими принципами, а вот Агатову все это предстает, наоборот, величайшей несправедливостью. Природа обделила его талантом, отсюда обиды, ущемленность, зависть — все, что уродует человека. И как помочь ему? Неужели неизбежна такая несправедливость? Но и ребята правы: к руководству нельзя подпускать бездарных. Но и бездарные никогда не чувствуют себя бездарными. Они не мучаются, они завидуют и злятся. А ведь каждый в чем-то бездарен...

5

Стеллажи сверху донизу были плотно заставлены пыльными томами — научные отчеты со дня основания лаборатории.

Под самым потолком стояли тома в старинных переплетах, обклеенных мраморной бумагой с красноватыми прожилками, с тиснеными золотом корешками. Затем шли переплеты из дешевого синего картона, из рыжеватых канцелярских папок — переплеты военных лет с выцветшими чернильными надписями, и последних лет — в толстом коричневом дерматине.

Вид этих стеллажей настроил Тулина иронически:

«Урны с прахом обманутых надежд давно ушедших поколений... Кладбище несбывшихся мечтаний... Сколько никчемной добросовестности!»

И все эти бумаги на столе Крылова будут так же погребены в очередном томе.

Тулин придвинул к себе график суммарной напряженности поля. Через месяц-другой этот лист отпечатают, подклеят в отчет, который перелистает кто-нибудь из начальников, и папка

навечно займет свое место на стеллаже.

Он ждал Крылова уже минут пятнадцать. Прищурясь, размашисто нарисовал на кривой танцующие скелеты и подписал:

«Карфаген будет разрушен!»

Ричард остановился за его спиной.

— Лихо! Несколько в духе Гойи. Вы художник?

Тулин осмотрел свою работу.

— Тот, кто рисует, уже художник. Искусство — это не профессия, а талант.

— Ну, знаете, талант — понятие расплывчатое, — возразил Ричард. Он обожал споры на подобные темы. — Необходимо еще образование.

— А что такое образование? — спросил Тулин и, не дожидаясь ответа, провозгласил меланхолично: — Образование есть то, что остается, когда все выученное забыто.

— Неплохо. Но вы испортили Крылову график.

— Не беда. Если он даже подклеит в таком виде, это обнаружат не раньше чем в следующем столетии.

Ричард попробовал было вступить за работу Крылова — Тулин пренебрежительно отмахнулся. Покачиваясь на стуле, он рассуждал, не интересуясь возражениями:

— Поставщики архива, работаете на это кладбище во имя грызущей критики мышей.

— Сила! — восхитился Ричард.

— Это не я, это Маркс.

К ним прислушивались. Тулин повысил голос. Сохраняя мину беспечного шалопаю, он с удовольствием ворошил этот муравейник. Забавно было наблюдать, как оторопели, а потом заволновались они от неслыханной в этих стенах дерзости.

Первым не выдержал Матвеев. Избегая обращаться к Тулину, он попробовал пристыдить восхищенного Ричарда: неужели ему не дорога честь коллектива?

— Фраза... — заявил Ричард. — Терпеть не могу фраз. Что такое наш коллектив? Что такое его честь?

— Ну, знаешь, — сказал Матвеев, — у нас большинство честных, добросовестных людей, они работают, не щадя себя. Этим нельзя бросаться.

— Науку двигают не честностью! — запальчиво сказал Ричард, но Тулин неожиданно осадил его:

— Честность тоже на земле не валяется. Я уверен, что здесь большинство честных, беда в том, что вы честно хотите одного, но так же честно делаете совсем другое, а получается третье. Везде кипение, перемены, а у вас как в зачарованном королевстве.

Теперь Матвеев уже решился возразить самому Тулину.

— К вашему сведению, лаборатория на хорошем счету: в прошлом году мы перевыполнили

показатели.

Всепонимающая улыбка, и Тулин стал усталым циником.

— О да, благодаря вашему энтузиазму отчет поставили на эту полку недели на две раньше срока. Освоены отпущенные средства.

Матвеев ужаснулся.

— Вам известно, что наш отдел возглавляет член-корреспондент Голицын?

— Как же, как же! — сказал Тулин. — Любимый ученик Ломоносова. А вы все еще верите в авторитеты? Увы, люди не могут без авторитетов... Нет, я о вас лучшего мнения, вы просто боитесь говорить то, что думаете. А я не боюсь. — Он подмигнул им всем разом. — Я из другого министерства.

— Вы что, академик, — сказала Зиночка, — или новатор?

Тулин оценивающе скользнул глазами по ее фигуре и сказал загадочно:

— Иных можно понять, рассматривая вблизи, другие понятны лишь издали. — Он взглянул на часы. — Время, пространство, движение... Свидание не состоялось. Я оставляю вас, мученики науки.

Ричард отправился его провожать.

— Вам нравится Гойя? А неореализм? А как вы расцениваете астроботанику? — Он забрасывал незнакомца вопросами, восхищаясь его пренебрежительными афоризмами. — А кто вы по профессии? Давайте познакомимся, — предложил он.

— Почему у вас такое имя? — спросил Тулин.

Ричард с готовностью рассказал про отца-моряка, который побратался с английским боцманом, коммунистом Ричардом Клебом.

На повороте коридора они столкнулись с Крыловым.

— Сережа! — крикнул Тулин, расставляя руки.

Рассеянно кивнув, Крылов прошел мимо. Загорелое лицо Тулина вспыхнуло. Ричард опустил глаза.

Пройдя несколько шагов, Крылов обернулся, ахнул, подбежал к Тулину, схватил за плечи:

— Олежка!

Ахали, колотили друг друга по плечам, выяснили, что Аллочка Кривцова вторично вышла замуж, что до сих пор неизвестно, кто на последней вечеринке прибил галоши к полу, что Аникеева переводят в Москву...

Тулин отметил у Крылова модные туфли, интересную бледность, совершенно несвойственную его примитивной курносой физиономии. Крылов нашел, что Тулин похож на преуспевающего футболиста из класса «Б». Неужели сотрудники могут принимать всерьез такого руководителя — стилисту и тунеядца?

Он очнулся, засиял, глаза его прояснились, он был растроган тем, что Тулин специально заехал проведать его, он не ожидал такого внимания к себе. Со студенческих лет он поклонялся Тулину, хотел быть таким, как Тулин, — веселым, общительным, талантливым.

Куда б Тулин ни шел, ветер всегда дул ему в спину, такси светили зелеными огнями, девушки улыбались ему, а мужчины завидовали. Но Крылов не завидовал — он любовался и гордился им и сейчас, восхищаясь, слушал рассказ Тулина о новых работах и о том, зачем Тулин приехал в Москву.

Разумеется, Крылов читал в апрельском номере его статью. Шик! Последние исследования Тулина открывают черт те знает какие возможности. Правда, строгих доказательств еще не хватает, и Крылов заикнулся было об этом, но Тулин высмеял его:

— Академический сухарь. Разве в этом суть?

И несколькими фразами разбил все его опасения. Замысел был, конечно, грандиозен, и Крылову казалось, что сам он давно уже думал о том же и также.

— А я, пожалуй, побоялся бы выступить вот так, — простодушно признался он, и глаза его погрустнели. — Страшно представить! Но постой, полеты в грозу — ведь это опасно?

— А ты как думал! — Тулин рассмеялся. — Но я изобрел средство избежать опасности: не бояться ее.

— Ты уверен, что тебе разрешат?

Тулин выразительно присвистнул:

— Добьюсь! Другого-то выхода у меня нет.

Он было нахмурился, но тут же подмигнул Крылову:

— Образуется. Ну, как дела?

Хорошо, что Тулин напомнил, и вообще ему просто повезло с приездом Тулина. Тулин посоветует, как быть насчет предложения Голицына, взвесит все «за» и «против», и все станет ясно.

— Значит, заведовать этим саркофагом? — сказал Тулин.

Он разочарованно оглядел Крылова: «Доволен, сияет, выбрался на поверхность! Еще немного — и его сделают благоразумным и благополучным деятелем в стиле этого заведения, где ничто не меняется».

— Старик все так же воюет за каждую цифирь и думает, что двигает науку?

— Ты зря, — сказал Крылов. — Он все же прогрессивное начало.

— Это по нынешним-то временам? Разве что он тебя выдвинул, но это еще не прогресс. Его идеи на уровне... он за отмену крепостного права, вот он где находится, болтается где-то между Аристотелем и Ломоносовым. — Тулин был в курсе всех публикаций лаборатории. Кроме некоторых работ Бочкарева и Песецкого, все остальное — схоластика, ковыряние в мелочах. — Бродят сонные кастраты и подсчитывают... — Он не стеснялся в выражениях.

Они шли по лаборатории, и Тулин высмеивал их порядки, и продукцию, и глубокомысленный вид всех этих ихтиозавров. Когда Крылов попробовал возражать, Тулин вздохнул:

— Вот мы уже и становимся противниками!

Агатов работал у своего аппарата.

— Все капаете, — приветствовал его Тулин. — Помнишь, Сережа, мы еще студентами капали

на этом же приборе. Господи, сколько уже диссертаций тут накопано! — Не переставая говорить, он легонько отстранил Агатова, наклонился к объективу, повертел регулировочный винт. — Пластины-то выгоднее поставить круглые. Легче скомпенсировать. А еще лучше эллиптические, тогда наверняка можно присобачить регистратор.

Он и понятия не имел, что мимоходом выдал Агатову идею, над которой тот бился больше месяца.

Агатов любезно улыбался.

— Не благодарите, не стоит, — сказал Тулин. — Авось еще на десятитысячную уточните! — И бесцеремонно расхохотался и уже оказался в другом месте, он даже не шел, он словно вертел перед собою лабораторию, как крутят детский диафильм. В дверях Крылов обернулся и увидел нацеленные им в спину глаза Агатова. Хорошо, что Тулин не видел их.

На лестнице рабочие перетаскивали ящики с приборами. Один из ящичков стоял в проходе. Тулин перепрыгнул без разбега, легко, Крылов подумал, что если бы Тулин был начальником лаборатории, то все равно бы он прыгал через ящики, носил стилижный пиджак, бегал бы с Зиной и ребятами загорать на вышку, и всем бы это казалось нормальным, и лаборатория бы работала весело, по-новому.

Потоптавшись, он сдвинул ящик, догнал Тулина.

— Как же мне быть, Олежка? — спросил он.

Тулин помахал папкой.

— Не управляюсь, переночую у тебя. — Тулин смотрел на Крылова. — Ах ты, бедолага... Значит, хотят тебя сделать свежей струей. Молодые силы. К руководству приходит ученый, еще сам способный работать. Невиданно... Не злись. Для меня это... Ты — и вдруг начальник!

И Крылов тоже невесело ухмыльнулся.

— А впрочем, — сказал Тулин, — чем ты хуже других? Кому-то надо руководить, лучше ты, чем какой-нибудь бурбон. Попробуй рвануть по лестнице славы, может, понравится. — Подмигнул, и все стало озорно и просто. Подумаешь, страсти!

Тулин погрозил пальцем.

— Учти — человек, который не хочет быть начальством, против начальства.

Откуда-то вынырнул Ричард.

— Так вы, оказывается, Тулин! Вот здорово. Я читал вас и полностью согласен. Вы уже уходите? А с Агатовым у вас здорово получилось. Капает, капает... — Он засмеялся от удовольствия. — Слезы, а не работа!

Крылов нахмурился.

— Что ты знаешь... Так нельзя.

— Ничего подобного. Так ему и надо. Принципиально! — закипятился Ричард. — Без пощады! Железно!

— Ага, у меня тут не только противники, — сказал Тулин. — Ричард, двигайте к нам. Будете бороться с настоящей грозой, а не с Агатовым.

Стоя в вестибюле, они смотрели сквозь распахнутые двери, как Тулин пересекал сквер, полный солнца и яростного гомона воробьев.

— Да-а!.. — протянул Ричард, и в этом возгласе Крылов почувствовал восторг и грусть, обращенную к тому, что осталось здесь, в институте, поблекшем и скучном после ухода Тулина.

— Хорошо, если б ему удалось добиться... — сказал Крылов.

Ричард пожал плечами, хмыкнул, показывая, как глупо сомневаться в том, что Тулину может что-либо не удался.

6

Фамилия генерала была Южин, знал о нем Тулин мало, поэтому плана разговора не составлял, целиком положившись на свою фортуна.

В большой приемной быстро сменялись летчики, инженеры, и Тулин, присматриваясь к ним, решил, что держать себя надо как-то по-особому, непохоже на обычных просителей, которые одолевали Южина с утра до вечера.

Кабинет оказался огромный, казенно-безликий. Пустой стол, коммутатор, микрофоны, по стенам завешенные черными шторами карты.

Генерал достал из ящика докладную Тулина и начал перечитывать, шевеля губами.

Тулин вглядывался в его лицо, убеждаясь в полной беспомощности физиономистики. Мясистый нос, грубые, навсегда обветренные щеки могли принадлежать и добряку, и черствому служаке. Что означали ежик седых волос, татуировка на руке? Приветливые манеры, может, они от интеллигентности, от уважения к Тулину, а может быть, это привычка, выработанная для всех посетителей.

Вспыхнул глазок коммутатора. Генерал взял трубку.

— Я занят... Минут через десять.

Он положил бумагу и придавил сверху куском оплавленного металла.

Тулин заговорил первым, опередив генерала на какую-нибудь секунду. Он вовремя почувствовал, что необходимо перехватить инициативу, всегда легче убеждать, чем разубеждать. Стоит человеку произнести «нет», все его самолюбие будет направлено к тому, чтобы держаться за это «нет».

— Вы летали и знаете, что такое гроза.

Южин кивнул.

— Там, наверху, не станешь сочинять «Люблю грозу в начале мая».

Он улыбнулся, и Южин тоже улыбнулся и сказал «да»: пусть привыкает говорить «да».

Всякую аппаратуру и научную суть проблемы Тулин не стал описывать. По своему опыту он знал, какое тягостное впечатление на неспециалиста производят цифры, схемы, в которых невозможно разобраться на ходу. Автор шпарит, уверенный, что все ясно, радуясь, что ему

кивают, кивают, хотя слушатель тем временем редактирует уже приготовленную формулу отказа. Тулину тоже приходилось принимать разных изобретателей, они, как глухари на току, увлекаясь, ничего не слышали, кроме себя, им казалось, что достаточно поводить пальцем в воздухе и схема станет понятной.

Южин был человек новый в управлении, и Тулину пришлось затронуть историю вопроса. Исследования над грозой велись уже несколько лет, бывший шеф Тулина профессор Чистяков пользовался поддержкой бывшего начальника управления. Группе давали исследовательские самолеты в составе какой-нибудь экспедиции. Пристраивались, подлаживались под общую программу. Но сейчас работа подошла к такому этапу, когда группе нужны свои самолеты, специальные режимы, полная самостоятельность. Теперь изучается наиболее важное — условия управления грозой, условия разрушения грозы. Тулин произнес это без всякого нажима, словно бы между прочим, и тут же рассказал, как пришлось красть ночью баллоны со склада промартели, и еще несколько забавных эпизодов. Пока генерал смеялся, Тулин снова вернулся к проблеме: необходимо научиться находить центры грозы, с тем чтобы воздействовать на них. Рано или поздно от мышей или собак переходят к человеку.

Он заговорил медленней, давая время Южину привыкнуть к мысли о неизбежности полетов в грозе.

С честностью победителя он упомянул и горькие неудачи некоторых опытов, конфуз с первым указателем грозы. Он сам удивился, как много сделано за эти полтора года: приборы готовы, методика разработана, программа составлена, обоснована.

Ни разу он не сбился на тон просителя. Развалясь в кожаном кресле, он с милой беззаботностью перекладывал на Южина тяжесть предстоящего решения. Вот вам, товарищ начальник, наши результаты, наши приборы, вот будущий успех, перспектива, остальное зависит от вас, наше дело теперь сторона.

— Молодцы, молодцы, но... — Южин озадаченно погладил ежик, — вы же знаете, в грозу летать нельзя. Чертовски опасная штука. Вы когда-нибудь залезали в желудок этой самой грозы? А я так вляпался. Бр-р-р! — Его передернуло от воспоминания, какого страху он натерпелся. Не знал, где небо, где земля, швыряло, как щепку, еле-еле дотянул до посадки.

Получалось, что он пытается отговорить Тулина, напугать его всевозможными страхами. В сущности, Южин оборонялся. Это был первый выигрыш. Инициатива была в руках Тулина, и важно было ее умело использовать.

— Честное слово, зенитки приятней, — говорил Южин. — Хоть рассчитать можно что к чему.

Тулин сочувственно улыбнулся.

— Но зенитки вас не останавливали. Вы выполняли свои задания, несмотря ни на что.

— Вы мне базу не подводите. Война — это несчастье.

— Гроза тоже, — сказал Тулин. — Для авиации гроза — несчастье. Верно?

Южин спокойно согласился, вспомнив несколько аварий, и сделал неожиданный вывод: видите, перед грозой пасуют даже опытные летчики; как же можно разрешить идти на такое, да еще в самый центр грозы, да еще с группой научных работников, на транспортном самолете?

Он оказывался не так прост, этот генерал: одну за другой он раскритиковал схемы полета, предложенные в записке. Теперь он наступал, и Тулин понимал: стоит начать защищаться,

как все пойдет прахом.

— Как же, по-вашему, бороться с грозой, если убежать от нее? — И подождал ровно столько, чтобы показать, что ответ на такой вопрос получить невозможно. — Есть только один способ узнать вкус арбуза. — Тулин сделал паузу. — Съесть его.

Южин хохотнул.

— А у нас в Сибири говорят, что, если надо узнать, не протух ли окорок, не обязательно есть его целиком. Это так, поговорка. Окорока у нас мировые, год-два висят, не портятся. — Он обрадовался передышке, со вкусом принялся описывать, как коптят окорок.

«Тянет время, — сообразил Тулин, — через несколько минут посмотрит на часы, разведет руками...»

— Что ж вы предлагаете? — резко спросил Тулин. — Заняться хранением окороков?

Южин размашисто очертил на схемах зоны возможных полетов. Голос его звучал сухо. Другие экспедиции довольствуются меньшим, работают в мощных кучевых облаках при их формировании.

На это Тулин, сдерживая раздражение, заметил, что никто не ставит себе задач по управлению грозой.

— Так уж и никто? — И Южин с удовольствием сослался на опыты Денисова с зенитками и на работы других институтов, не связанные ни с каким риском, спокойные наземные работы.

«Начинается, — подумал Тулин, — лишь бы спихнуть с себя, гони зайца дальше. Зенитные снаряды — это отлично, это устраивает, неважно, что результаты сомнительные, что принципы, методы иные, зато все спокойно и никаких осложнений». С каким удовольствием он выложил бы все это Южину, но он тоже не хотел рисковать. Самое лучшее — разъяснить преимущества своего направления. Прежние методы пока что не дают никаких гарантий.

— Во всех этих методах действуют вслепую: неясно, то ли мы разрушаем грозу, то ли ускоряем ее, спускаем с цепи. Неустойчивый процесс может развиваться в любую сторону...

Здесь преимущества были на стороне Тулина, и он мог обрушить на Южина все сложности непрестанно меняющегося механизма грозы.

Однако Южин уклонился от спора. Он простодушно посмеивался.

— Видите, все вам известно, неужто с такой головой нельзя придумать что-нибудь такое, чтобы не переться в самое пекло? — И он неопределенно покрутил пальцами, расплываясь ничего не значащей улыбкой, но сквозь прищуренные веки глаза его смотрели внимательно.

Чего он добивался? Почему не сворачивал разговор к категорическому отказу? Может, ему хотелось, чтобы Тулин сам пошел на уступки, изменил характер работ, сам отказался... Значит, что-то мешает ему просто запретить...

— Вот, полюбуйте, — Южин подкинул на ладони оплавленный кусок металла, — что осталось от самолета, попавшего в грозу. — Он вытащил пачку фотографий, разложил их перед Тулиным.

Искореженные останки самолетов. Сломанные, поваленные деревья. Обезображенные трупы. Из глянцевиной глубины снимков тянуло гарью еще дымящихся обломков.

Тулин почувствовал на своем лице взгляд Южина.

— Вас это останавливает, а меня воодушевляет, — сказал Тулин, принимая вызов. — Я не хочу, чтобы самолеты разбивались. Я не хочу, чтобы летчики боялись грозы. Я хочу, чтобы вы были хозяевами неба. Ради такого стоит рискнуть, не считаясь с опасностью.

— Ага, рискнуть, — воскликнул Южин, — значит, вы не уверены! Вы не гарантируете!

— Новое — это всегда риск. Кто отвергает риск, тот отвергает новое.

— Слыхали. Сейчас вы мне припишете перестраховку и всякое такое. А почему я должен вам верить? Три года вы возитесь. А где результаты? Точного прогноза грозы не можете составить! Разрушать ее беретесь, а хоть бы предсказывать научились. Сколько экспедиций! Миллионы рублей государство бухает вам. Понавертели дырок в самолетах...

Прогнозы были его больным местом, и Тулин никак не мог втолковать, что их работа никакого отношения к прогнозам не имеет. Южин не хотел ничего слушать. Ему осточертели какие-то там деятели: взялись за одну работу для авиации, охмуряли его всякими мудреными терминами, получили большие деньги и в результате разродились еще одной монографией.

Он вытащил из ящика и потряс перед Тулиным затрепанной книжкой правил эксплуатации.

— Читайте! Я не имею права нарушать. Вы же сами не можете поручиться.

— При чем тут прогнозы? — твердил Тулин.

— Вы хотите взвалить на меня ответственность.

— Ага, боитесь ответственности!..

— За ваши жизни? Да, не желаю отвечать. Чем я могу ответить за них? Чем? Выговором?

— ...потому что вы не желаете разобраться в существе!

Южин, не глядя на Тулина, вытер платком лоб. Оба разом замолчали. Южин аккуратно сложил платок.

— Хорошо покричали, — миролюбиво сказал он. — Редко у нас, чтобы двое кричали. Обычно кричит один, другой слушает. А вдвоем это хорошо. Голос проверяешь. Так вот, не за что меня упрекать. Я не специалист по вашей науке. А принимать на веру — извините.

Тулин промолчал.

— Что же остается? — сказал Южин. — Запросить мнение специалистов. Согласны?

— Кого? Того, кто вас поддержит?

— Ну зачем вы так? — добродушно сказал Южин. — Кого вы считаете авторитетом? Допустим, академик Денисов?

— Денисов носится со своими генераторами и зенитками, — сказал Тулин. — Ничего другого он не признает. Он нетерпим, он монополист.

— Так. А Жильцов?

Тулин пожал плечами.

— Жильцов — скептик. Он противник всего нового. Он специалист по выступлениям «против».

— Другие предложения есть? — терпеливо спросил Южин. — Подскажите. Может, Лагунов?

— Вы же знаете... Лагунов — ставленник Денисова. Какой он ученый?

— Всюду противники. Кто ж сторонники?

«Странно, почему он не предлагает Голицына? — подумал Тулин. — Может, не надеется, что старик поддержит его?»

— Поймите меня, товарищ генерал, — сказал он, — каждая новая теория союзников завоевывает. Вначале перед ней только противники. Бороться с ними — значит убеждать их фактами. А факты там, в грозе. Я могу достать их только оттуда.

— Сложное ваше положение. Что ж вы от меня требуете? Я должен нарушить инструкции, пойти против специалистов ради дела, в котором не шибко разбираюсь да и не очень-то верю в него. Слишком много вы от меня хотите. Небось думаете: вот сидит солдафон, и от такого зависит прогресс. Но солдафону легче всего сослаться на параграф и отказать. Я этого не делал, хотя вы меня толкаете на это.

Логика его была безупречна, молчать дальше не имело смысла, и все же Тулин медлил.

— Кто ж остается? — спросил Южин. — Может, рассчитываете на Голицына?

Тулин обрадовался: получалось, что Южин его выручил, сам назвал Голицына, это Тулина ни к чему не обязывало, да и в конце концов выхода нет, он ничем не выдал себя. Тулин иронически улыбнулся. Страховка прежде всего.

— Ну что ж, Голицын — специалист, от него это не отнимешь. Стародум, конечно.

— Как хотите, — сказал Южин.

— А сколько времени надо ждать его заключения? — капризно спросил Тулин. «Крылов, — подумал он, — пожалуй, вывернемся!»

Южин посмотрел на часы.

— Минут сорок придется подождать.

— Как?

— Я неделю назад, как получил ваши бумаги, заказал Голицыну отзыв. — Южин заговорщицки улыбнулся, и Тулин понял, что его провели как мальчишку. Этот генерал знает свое дело.

Теперь остается одно — не сорваться. Вспылить — значит окончательно расписаться в своей глупости. Нет, такого удовольствия он не доставит. Совершенно спокойно, как бы любопытствуя, он спросил, почему Южин обратился именно к Голицыну, а не к кому другому.

— Я давно знаю Аркадия Борисовича, уважаю его. В какой-то мере наши мнения совпали? — не без лукавства осведомился Южин.

Не имело никакого смысла томиться в приемной, куда как красивей будет зайти за ответом завтра, а пока что отправиться в Госплан, в редакцию. Но он знал, что не сможет ничем заниматься, пока не получит ответа. До сих пор ему ни разу не приходило в голову: а что

будет, если им откажут? И никому в группе он не позволял заикаться об этом. Улетая в Москву, он знал, что добьется своего. Как это произойдет, он понятия не имел, но иначе быть не могло. И сейчас, сидя в приемной, он не желал думать о поражении. Голицын должен поддержать его хоть частично. Нужно совсем немного: чтобы заключение было уклончиво, — остальное можно будет выжать из Южина; беседа даром не прошла, в чем-то удалось Южина поколебать.

Вдруг он сообразил, что в институт он заезжал не даром. Все время он чувствовал, подозревал, что Голицына не миновать. Стоило предупредить Крылова, и тот помог бы. Вместо этого он гусарил, выламывался, издевался над их порядками.

А что, если сейчас позвонить Крылову? Поздно. Да и все равно он не сделает этого. Кого угодно просить, только не Серегу. Самолюбие? Пусть самолюбие, гордость, глупая гордость. Он не мог признаться, что нуждается в его помощи. Ни за что! Это не суеверие, но все же это значило бы, что их роли переменились.

7

Он увидел привычные комнаты лаборатории глазами Тулина. Действительно, зрелище унылое. А что, если попробовать? И он представил себя начальником лаборатории.

Стены податливо раздвинулись. Он поднял потолки, снес перегородки, сменил освещение, убрал надоевшую рухлядь. В светлых залах стало просторно и безлюдно. Остались наиболее способные сотрудники. Конечно, увольнять непросто: начнется морока — на каком основании, местком и всякие комиссии. Найти способных ребят трудно, но еще труднее избавиться от слабых работников. Но ведь стоит того. А чего ему бояться? Что он теряет? И вовсе это не саркофаг. Тут можно так развернуться — будь здоров! Общими усилиями с разных сторон взяться за механизм грозы, составить единый план работ вместе с институтом высоких напряжений и с лабораториями активных воздействий, с академическими институтами. Распределить силы. Придется быть в курсе каждой работы, начальнику надо уметь вникать с ходу, находить ошибки, раздавать идеи, предвидеть трудности. Важно найти свой стиль. Не обязательно быть таким, как Тулин. Каждому свое. Ему больше подойдет неторопливая вескость, ни одного лишнего слова, но уж если сказано, то намертво. При этом оставаться веселым и доступным. Мужественное и доброе лицо типа Хемингуэя или Фиделя Кастро. И потом, как все крупные ученые, не стесняться говорить: «Не знаю».

Хотелось немедленно действовать, совершить что-то решительное. Он велел перенести контрольные счетчики на площадку — второй месяц, как он собирался это сделать, и все было недосуг. Потом он подошел к Агатову.

— Пора бы нам наладить генератор, — сказал он. — Разве это мощность?

— У нас есть запасной, можно запараллелить, — сказал Агатов.

— Оба они барахло. Нечего с ними возиться.

Агатов быстро взглянул ему в глаза.

— Да, пожалуй, что так.

— И ртутник — тоже барахло, — сказал Крылов.

— Да, вы правы, — сказал Агатов.

— Вот что, Яков Иванович, сейчас научная сторона важнее: тематику придется пересмотреть. И вообще... так что я думаю согласиться на предложение старика.

Кто-то невидимый словно резинкой стирал черты с плоского лица Агатова. И постепенно оставалась гладкая белая поверхность. Может быть, это делал сам Крылов своими словами.

— Понятно, — сказал Агатов без всякого выражения. — Это, что же, Тулин вас воодушевил?

— И он, он тоже, — обрадовался Крылов. — Я надеюсь, мы вместе с вами... В деловых вопросах у вас опыт, вы, конечно, можете оказать...

Он пытался как-то смягчить, чем-то утешить Агатова. «На кой я поторопился? — подумал он. — Как будто нельзя было выбрать более удобный момент!»

— Мне жаль, что так получилось.

«Чего ради я оправдываюсь? А бог с ним! Может быть, так ему будет легче».

Агатов выключил схему, встал.

— Я всегда делал то, что мог, — сказал он. — Тулину, конечно, легко критиковать со стороны.

— Нет, нет, он во многом прав, — горячо заговорил Крылов, радуясь, что с этим покончено и можно начать о другом.

Агатов слушал внимательно, согласно кивал, но Крылов понимал, что Агатову сейчас не до него и не до его откровенных излияний. Новая должность начиналась тяжело. «Неужто и дальше придется вот так же ломать чужие надежды, — думал Крылов, — перешагивать через какие-то, решать чьи-то судьбы? Неужели без этого не обойтись? И всякий раз стараться не замечать, не думать об этом, поскольку, мол, иначе поступить нельзя».

Перед кабинетом Голицына Крылов посмотрелся в оконное стекло, почесал подбородок. Придется бриться ежедневно.

— Чего вызывает? Что за срочность? — спросил он у Ксюши.

— Вас можно поздравить? — сказала она. — Ваша жизнь вступила в новую фазу.

У нее все было крашеное: волосы, ногти, губы, ресницы, брови. На лимонно-желтой кофточке блестели большие бусы.

— А вам идет желтый цвет. — Крылов улыбнулся, довольный своей развязностью.

Ксюша подняла трубку.

— Позвоните позже, он занят. — И глазами показала Крылову на дверь кабинета.

Читая бумагу, которую ему протянул Голицын, Крылов подумал, что он был свиньей и надо как следует поблагодарить старика.

«Осуществление гипотезы, высказываемой неоднократно в последние годы, нуждается в огромном экспериментальном материале. Такой материал требует широкой, многолетней программы лабораторных исследований...»

Как бы там ни было, старик помог ему в самое трудное время, старик заставил его защитить диссертацию. Ну и времечко было!..

— Ясно? — спросил Голицын.

Крылов заставил себя сосредоточиться!

«Идея остается очередным прожектом». Какая идея? «...Безответственная, ничем не обоснованная программа Тулина...»

При чем тут Тулин?

Голицын нетерпеливо постукивал ногтем по стеклу, на пальце у него блестело серебряное кольцо с печаткой.

Крылов вернулся к началу, перечел заново всю бумагу.

— Ознакомились? Прошу вас, поезжайте с нашим заключением в управление к генералу Южину, он ждет, — сказал Голицын. — Может, у него возникнут вопросы, ну, вы растолкуете.

— Подождите, как же так? — сказал Крылов.

— Привыкайте, дорогой! Ничего страшного, вам полезно повращаться.

— Да нет, не в этом же дело, — сказал Крылов. — Я про заключение. Вы ж фактически закрываете работу Тулина.

— Вот и хорошо, делом займется. Как вернетесь, заходите, мы планы обговорим.

Голицын надел очки и развернул английский журнал. Крылов вышел к секретарше.

— Все в порядке? — спросила она. — Я всегда верила в вашу звезду.

Крылов постоял перед ее столом.

— Ксюша, это невозможно, — сказал он и вернулся в кабинет Голицына.

— Я не могу, — сказал он с порога. — Это ж бездоказательно.

Голицын удивленно вскинулся.

— Вы еще здесь? — Он отшвырнул журнал. — Как вы сказали?

— Бездоказательно, — повторил Крылов. — Простите меня, Аркадий Борисович, но я не вижу, в чем Тулин ошибается...

— Заключение и не требует подробного разбора. Вы, дорогой мой, читали статьи Тулина?

— Читал.

— Как, по-вашему, у него достаточно обоснованы выводы? А? То-то!

— У него есть вещи спорные, но...

— Послушайте. — Голицын нахмурился. — Вы никак собрались меня поучать? Вы, что же, хотите, чтобы я благословил Тулина на его авантюру? Не ожидал от вас.

— Это не авантюра. Пусть местами его выводы не вполне корректны, но тем более он имеет право удостовериться...

— Не имеет! — закричал Голицын. — Настоящий ученый не имеет права на такую торопливость. Накопит материал, тогда посмотрим. Пока у него одна самоуверенность.

— Сколько можно копить факты, когда-нибудь надо...

— Сто лет, тысячу лет, сколько потребуется!.. Зеленые яблоки рвать ума не надо. — Он успокоился. — Вы же знаете, Сергей Ильич, я не против любого метода активных воздействий. И его метод тоже во своевремя. Рано еще, миленький вы мой. Слишком мало мы знаем. В данном случае нужна обстоятельная подготовка, чтобы не скомпрометировать... — Собственная терпеливость настраивала его на отеческий лад. Ведь все это когда-то было и с ним самим. Упрямо сведенные брови, опущенная голова, старый, осторожничающий профессор — как смешно повторяется жизнь!

— Я тоже начинал с этого, — сказал он. — И мы требовали действий, мы твердо были уверены, что именно нам удастся покорить небеса. Мы надеялись стать громовержцами. — Он прикрыл глаза, вглядываясь в прошлое. — Строптивная юность... милая, строптивная, мечтательная юность. Им все кажется просто, легко, они парят над землей, не желая задумываться над мелочами. Но это пройдет, они поймут.

«Посыпалось! Сейчас заведет про Гриднева», — подумал Крылов.

— Тем более, — начал он, — вы можете меня...

— Старики, вроде Гриднева или Оболенского, казались нам... Любопытно, кем я кажусь вам сейчас? Окурок? Старая песочница?

— Почему ж окурок? — Крылов покраснел, и Голицын вдруг пронизательно усмехнулся.

— Понимаю и ни в чем не виню. И даже Тулина готов понять. А знаете: понять — значит наполовину оправдать. Терпеть не могу ученых, которые никогда не ошибаются. Завиральные идеи полезны, но... — он наставительно поднял палец, — до той поры, пока они не мешают главному направлению.

Дверь приоткрылась, показалась голова Агатова. Голицын кивнул, и Агатов осторожно протиснулся, скользнул вдоль стены, прислонился к шкафу, стараясь не мешать Голицыну, который, заложив руки за спину, ходил, как на кафедре во время лекции.

— В одна тысяча сотом году Альхазен открыл рефракцию, вычислил высоту атмосферы. Увы, науке это понадобилось лишь пять столетий спустя, и тогда Торричелли пришлось открыть все заново. Научные идеи должны идти в ногу со своим временем. — История науки была его коньком, тут он мог говорить часами.

Крылов протянул заключение Агатову.

— Вы читали?

— А что ж Альхазен, — громко спросил Агатов, — так и пропали его труды?

— Вот именно, — сказал Голицын. — Их обнаружили совсем недавно.

Крылов посмотрел на Агатова, потом на Голицына.

— Аркадий Борисович, неужели вы сами составляли это заключение? — внезапно спросил он.

Голицын остановился обеспокоенный.

— А что?

— Не похоже. Тут не ваши выражения: «авантюризм» или вот «псевдонаучная аргументация».

— А-а, как бы ни браниться, лишь бы добиться, — несколько смущенно запетушился Голицын.

— В научной полемике ни к чему дипломатничать, — сказал Агатов.

Голицын обернулся к нему.

— Но, Яков Иванович, мы тут посылаем это в несколько иные сферы.

Агатов твердо сказал:

— Как раз военным нужны четкие определения.

— Возможно, возможно. Нам тут соперничать с Яковом Ивановичем не резон, да и я не вижу нужды, была бы суть... Так на чем я остановился? Ах, да, вот представьте, лет через сто отыщут идею Тулина и какой-нибудь историк напишет про смелый, непонятный современникам проект. Жил-де некий Голицын, называл Тулина фантазером, не понял, не оценил. Заклеймит этот историк всех нас. Пригвоздит к столбу, — проговорил он с восторгом.

— Видите, насколько я беспристрастен.

— Да, вы беспристрастны, — медленно сказал Крылов, — но к кому вы беспристрастны?

— Однако!

Голицын умел отвечать на дерзости уничижительным достоинством. В такие минуты он становился недостижимым, под стать портретам Франклина и Ломоносова, старинному кабинету черного резного дуба, где все стояло незыблемо с тех пор, как Голицын пришел сюда.

— К вашему сведению, Сергей Ильич, у меня с Тулиным никаких личных взаимоотношений нет. И он мне не конкурент. — Крылья его носа высокомерно дернулись. — Надеюсь, это ясно? Делить мне с ним нечего. Мне пора, как говорится, о боге думать.

— Скорее вы, Сергей Ильич, не беспристрастны, — сказал Агатов, отделяясь от шкафа.

— Я?

— Вы ж друзья с Тулиным. Он ведь вас просил похлопотать.

— Что за чепуха? — изумился Крылов.

Агатов укоризненно покачал головой.

— Ну зачем же вы так, Сергей Ильич? Тулин специально за этим приезжал к вам сегодня.

— Как? — поразился Голицын. — Тулин сегодня был здесь? — И, не слушая Крылова, покрасневшего, желающего что-то объяснить, сказал: — Так, так, за моей спиной... После этого вы еще требуете беспристрастности. А я-то, старый дурак, считал вас...

— Но Тулин про это не говорил ни слова! — в отчаянии воскликнул Крылов, понимая, что сейчас не удастся ничего объяснить старику.

— Вы чего, собственно, добиваетесь, Сергей Ильич? — спросил Агатов многозначительно и

уличающе.

— То есть как?..

— Сознаете ли вы, на что вы толкаете Аркадия Борисовича? Вы требуете другого заключения. Но заключение-то будет его, не ваше. В случае чего Аркадий Борисович понесет всю ответственность. Вы этого добиваетесь?

— Не говорите глупостей, — сказал Крылов. Вдруг он вспомнил и поразился: — Погодите, Яков Иванович, но вы же сами были за подобные исследования. Только сегодня мы с вами говорили.

Агатов нисколько не смешался, он словно ждал этого.

— Лучше не стоит касаться нашего разговора, Сергей Ильич, — сказал он.

— Почему же, я не вижу тут...

— Значит, сами настаиваете? Ну что ж. Аркадий Борисович, я бы никогда не стал огорчать вас, — торжественно начал Агатов, — но мои слова искажаются, я должен...

Голицын замахал рукой.

— Пожалуйста, избавьте меня.

— Нет, разрешите. Сегодня мы с Крыловым обсуждали планы лаборатории. Сергей Ильич заявил, что мы занимаемся никому не нужной тематикой. Не буду приводить неподобающих выражений. Руководство плохое, подавляет инициативу. Правильно я излагаю, Сергей Ильич? А ваши слова были, что Аркадий Борисович избегает современной физики? Отстал, неспособен и прочее. Ну, а что касается этой записки, то как я могу утверждать обратное, если я сам ее готовил по просьбе Аркадия Борисовича?

— Да, да, — упавшим голосом подтвердил Голицын.

— Не мое дело судить вас, Сергей Ильич, но некрасиво все это, некрасиво.

Крылов ошеломленно молчал. С тупым любопытством отметил, что голос Агатова срывается от совершенно искреннего волнения и на бледном лице проступили большие печальные глаза.

— Лучше горькая правда, Аркадий Борисович, чем сладкая ложь. Мне противны интриги. Если бы Сергей Ильич прямо, по-честному... Я знаю, конечно, он ваш протеже и я пострадаю на этом, зато совесть моя будет чиста.

Агатов повернулся к Голицыну.

— Разрешите, Аркадий Борисович, я сам отвезу Южину наше заключение.

— Да, пожалуйста, спасибо, — сказал Голицын. — Поезжайте.

Когда дверь за Агатовым прикрылась, Крылов опомнился.

— Аркадий Борисович, все это не так...

Голицын молчал, брезгливо оттопырив губу.

— Черт с ним, с Агатовым... — сказал Крылов. — Тут в другом дело.

— После всего того, что я для вас...

— Вы, по сути, прикрыли целое перспективное направление. Разве так решают научные споры?..

— Поделом мне, поделом. Боже мой, так ошибиться!

Они говорили, не слушая друг друга; Крылов раздраженно повысил голос:

— Пусть даже Тулин в чем-то спешит, но запрещать... Я не могу с этим смириться, я не понимаю.

— Кроме Тулина, я вижу, мы еще во многом не сходимся, — сказал Голицын. — У нас, очевидно, разные понятия порядочности.

— Ах-р-р... — Крылов задохнулся.

— Ну-с, продолжайте.

Крылов сцепил руки за спиной.

— Мне будет трудно при такой нетерпимости, — медленно подбирая слова, сказал он, стараясь говорить сдержанно и четко. — Если я предположу, что вы всегда правы, мне не остается ничего другого, как превратиться в Агатова и постоянно поддакивать вам. Пропадет всякое удовольствие от работы.

— Научная работа не всегда удовольствие, — язвительно сказал Голицын.

— Возможно, я неудачно выразился, — согласился Крылов. — Пропадет моя ценность как научного работника.

— Она пропадет, если вы будете разделять бредовые идеи Тулина. Впрочем, где уж мне указывать вам! Когда-то вы считали меня своим учителем, теперь я отсталый, торможу, избегаю, даю неверное направление...

— Я всегда уважал вас за то, что вы разрешали спорить с вами.

— Спорят, чтобы выяснить истину. А вы, Сергей Ильич, вы не спорили, а интриговали. Да! Это вы, вы показали свою нетерпимость. За моей спиной наговаривали Агатову, только он честнее оказался... Как не стыдно!

— Вы не имеете права...

— Молчать! Мальчишка! А я еще тасил вас. Уходите! Невозможно! — Голицын кричал, руки его тряслись, и Крылов тоже заорал в бешенстве, стараясь перекричать его:

— Не нужен мне ваш конкурс! Не рассчитывайте! Я отказываюсь от лаборатории, имейте в виду!

— Угрожаете? Мне? Вы что ж думали, после этого... — Вдруг Голицын вцепился в ручки кресла и, погрузнев, опустился на сиденье. Крылов испуганно рванулся к нему, но Голицын с отвращением отстранил его, открыл ящик, достал патрон валидола, бросил в рот таблетку, закрыл глаза и, передохнув, засмеялся тоненько, победно.

— Ай-яй-яй, за что же вы лишили нас своей милости? На кого же вы нас покидаете, горемычных? — Потом он перестал смеяться и сказал сладко-издевательски: — На вашем месте я бы не стал иметь дело с такими тиранами, как я. Принципы надо доводить до конца.

— И чудесно, и чудесно, — подхватил Крылов. — Я уйду.

— Ради бога. Не задерживаю. Хоть сегодня же.

В несколько шагов Крылов очутился у двери, с силой распахнул ее.

— Одну минуту! — крикнул Голицын так, что в приемной было слышно и секретарша встревоженно привстала. — Не вы уходите, а я вас увольняю. И запомните: вы уходите не от меня, а от науки.

У Песецкого был свой уголок, огороженный книжным шкафом, набитым справочниками и детективными романами.

— Я не помешаю? — спросил Крылов.

Песецкий не шевельнулся, проговорил осторожно, стараясь не слушать себя:

— Прошу, в смысле умоляю, катись отсюда.

Крылов уселся на табурет. Песецкий механически черкал бумагу. У него было злое и умное лицо человека, недовольного собою. Наконец он отбросил карандаш, потянулся.

— Ты еще здесь? Как, по-твоему, может ли паралитик убить шестнадцать человек? Если да, то каким образом? Почему ты не читаешь детективов? Великолепный тренаж! Хочешь, дам? «Смерть в клетке». Блеск! Ты чего куксишься? Слава угнетает?

— Точно, — сказал Крылов.

— Кстати, как мне ни противно, но я вынужден сообщить: эн равно плюс три и три десятых.

— Вот видишь!

— Не можешь удержаться? Пошляк!

Они обсудили данные, полученные в свое время Федоровым и станцией на Эльбрусе. Уравнение получалось длинное, на полстраницы, но Песецкий восхищался им, называл его «цыпочкой» и утверждал, что теперь его может решить вахтер.

Уравнение действительно было изящным, и Крылов чувствовал, что оно абсолютно верное. Они любовались им, как красиво сработанной вещью.

— Математика! Царица наук! — хвастливо сказал Песецкий. Он презирал экспериментаторов: они, как кроты, рылись в своих схемах, считая показания стрелки высшим судьей всех споров.

— Если бы у меня был такой зад, как у Агатова, сколько бы я сделал! Моя беда, что я не умею ничего доводить до конца. Вернее, не хочу. И с женщинами у меня такая же петрушка. Слишком быстро их разгадываю, становится скучно. Сила логики заедает. Но тут, боюсь, ты меня доведешь до финиша. Тяжелый ты человек.

— Я ухожу из института, — сказал Крылов.

Песецкий присвистнул.

— Шутишь?

Выслушав рассказ Крылова, он погрузился:

— Ты единственный в отделе, кто смыслит в математике. А может, передумаешь? Пренебреги, а? Все это суета сует и томление духа.

— Не могу, — сказал Крылов.

— Принцип?

— Нет, просто надоело.

— Жаль... Хорошо, что мы составили с тобой уравнение.

— Да, — сказал Крылов. — Уравнение отличное.

Они снова просмотрели записи на исчерканной вкривь и вкось бумаге.

— Придется тебе самому кончать статью, — сказал Крылов.

— И не подумаю.

Они помолчали.

— Что ты думаешь обо всей этой истории? — спросил Крылов.

— Ничего, — сердито сказал Песецкий. — Ничего не думаю. Не желаю вмешиваться. Старик бежит от правды, ты — от старика. Все это не имеет никакого отношения к физике.

У Песецкого все были виноваты, и вместе с тем для каждого он находил оправдание, даже для Агатова. Может быть, в этом тоже была логика, но Крылова она не устраивала. Спорить с Песецким у него не хватало сил.

— Главное, загружай подкорку, — посоветовал на прощание Песецкий. — Вот ты сейчас ходишь с незагруженной подкоркой, только зря время теряешь.

Бочкарев, конечно, пришел в ужас, хотел бежать к Голицыну объясняться, но Крылов запретил. Примирение возможно, если Голицын извинится и переделает заключение о Тулине. Бочкарев назвал его зарвавшимся сопляком, не думающим об интересах своих товарищей. Они поссорились, и Крылов вволю мог наслаждаться жалостью к себе и презрением к этому пошлому миру, где не ценят благородства.

Солнце подобралось к стеклянному кубу чернильницы, вспыхнуло радужным блеском. Голицын зажмурился. В чернильнице давно хранились скрепки. Несколько раз завхоз предлагал убрать и эту чернильницу, и весь громоздкий бронзовый прибор с подсвечниками, и заодно сменить мебель, но Голицын не разрешал. В кабинете все должно было оставаться таким же, как двадцать пять лет назад, когда он сел за этот стол после смерти своего учителя.

Не часто за двадцать пять лет он сидел за этим столом без дела, нарушая привычный распорядок. Прошло полтора часа, как он надписал на заявлении Крылова «уволить».

Он ждал, что Крылов вернется. Крылов не мог не вернуться. Что бы там ни было, этот малый больше всего любил науку, и деваться ему было некуда. На место начальника лаборатории пусть теперь не рассчитывает, во всяком случае в ближайшие месяцы. Придется его

прочитать.

В первое время после прихода Крылова в лабораторию Голицын испытывал разочарование: было непонятно, что находили в этом медлительном тугодуме Данкевич и Аникеев, люди, с которыми Голицын привык считаться. Постепенно Голицын начал замечать в действиях Крылова какую-то подспудную систему. И чем дальше, тем сильнее ощущался пусть часто беспомощный, зато совершенно своеобразный ход его мысли, стремление нащупать связь в хаосе фактов, сомкнуть воедино, казалось бы, противоречивые явления атмосферного электричества.

Когда-то Голицын пробовал то же самое. Сейчас созданная им теория грозы устарела, не в силах объяснить многих несоответствий. Ее еще приводили в учебниках, на нее ссылались, потому что не было ничего другого. Не Крылов, так другой свергнул бы ее, сделал частным случаем; вечных теорий нет, и надо иметь мужество заступить при жизни, чтобы хотя бы увидеть, что там такое садится на трон. Все же была тайная надежда: пока Крылов основывался на идеях Данкевича, казалось, что голицынская теория грозы впадет, как приток, в общую концепцию Данкевича. Очевидно, так же предполагал и сам Данкевич. Но Крылов действовал, как птенец кукушки: он выталкивал из гнезда все, что ему мешало, он ни с кем не стал уживаться, он поглотил одну за другой старые теории грозы, и ни о каком притоке не могло быть и речи.

Можно было работать вместе с Крыловым. Сперва Голицын так и предполагал. Но время шло, а он все откладывал, избегал вмешиваться, придумывал себе новые отговорки и ревниво следил, какими неожиданными ходами движется поиск Крылова. Уклоняясь от, казалось бы, очевидных приемов, Крылов безрассудно сталкивал несовместимые понятия, нахально залезая в какую-нибудь теорию вероятностей, отшвыривал истины, на которые Голицын никогда бы не осмелился посягнуть.

В последние годы Голицын все болезненнее ощущал робость собственной мысли. Дело тут было не в старости. Перемены, происходившие в стране после Двадцатого съезда, коснулись и института: можно было расширить тематику, привлечь новые силы, свободно обсуждать смежные работы. А Голицын все еще не мог распрямиться. Странно, что теперь, когда ничего ему не мешало, он начал ощущать в себе какую-то скованность. Молодежь, вроде Крылова, Песецкого, Ричарда, не могла понять этого чувства: им неведомы были его страхи, никто из них не работал в те времена, когда приходилось помалкивать, когда часто невозможно было сказать то, что думаешь, когда исход научных дискуссий был предрешен неким указанием, когда он, Голицын, боялся отвечать на письма своих зарубежных коллег, когда могли усмотреть идеализм в какой-нибудь формуле. Сейчас Крылову все это кажется смешным, а Голицын испытывал все это на своей шкуре. Такое не проходит бесследно. Страх въелся в него, пропитал его мозг. Появилась какая-то опасливость перед обобщениями, неожиданными ассоциациями. Такие, как Крылов, были свободны от всего этого. Они размышляли — широко, без оглядки, и он завидовал им, нет, не их молодости, а тому, что нынешнее время пришло слишком поздно для него.

Крылов не возвращался. Голицын чувствовал тайное облегчение, и было совестно за это чувство, и, оправдывая себя, он вспоминал, как два года назад разыскал в Ленинграде Крылова, затюканного, отчаявшегося, взял к себе, выхлопотал ему комнату, дал полную свободу в работе, вспоминал все сделанное для Крылова. Трудно привыкнуть к человеческой неблагодарности, но и жаловаться на нее глупо, это все равно что хвастать своими благодеяниями. Обидно другое — как он обманулся. Ему всегда казалось, что стиль ученого и человеческие его качества связаны между собой, и если Крылов не подгоняет точки на кривых, докапывается до первопричин, не робеет перед авторитетами, то, значит, и человек он честный, прямой, целеустремленный, неспособный лицемерить. На старости лет непростительно так ошибаться в людях.

Появление Агатова уничтожило последнюю надежду. Надо же, чтоб именно Агатов приехал к Южину! В этом было что-то роковое.

Южин читал заключение Голицына вслух. Круглое белое лицо Агатова набухало еле сдерживаемым торжеством. Каждая фраза вдавливала Тулина в кресло.

— «...Полеты непосредственно в грозových облаках, — Южин сделал паузу, — не обеспечены, преждевременны и бесплодны».

Руки Агатова сложены почти молитвенно. Кончики ногтей выскоблены добела.

— Ваши обоснования, Олег Николаевич, недостаточны, — произнес Агатов. — Вековые проблемы науки так не решают.

И Агатов и Южин со своим столом, телефонами быстро отдалялись от Тулина, куда-то уплывали.

— А как их решают? — точно издалека спросил он.

— По капельке, — ласково сказал Агатов. — В лаборатории измеряют капельку за капелькой, годами. Не гнушаются черновой работой. Скромненько.

Южин задумчиво разглядывал подпись Голицына.

— Значит, несвоевременно. — Теперь он не скрывал сожаления. — Годы и годы. Этак при жизни мне, пожалуй, не успеть рассчитаться, а у меня с ней старые счета, с грозой-голубушкой.

— Что поделаешь, товарищ генерал! — Агатов сочувственно развел руками. — При такой диссипации энергии нет процесса регенерирующего...

Тулин скривился.

— Что вы несете? За этой абракадаброй никакой мысли. Товарищ генерал, им нужно только, чтобы их не беспокоили и чтобы они не рисковали. Есть деятели, которым невыгодно вылезать из лаборатории.

Чем яростней он нападал, тем благодущнее улыбался Агатов. Потом он отдельно улыбнулся Южину улыбкой единомышленника.

— Слыхали? Чего только не приходится выслушивать, когда защищаешь государственный интерес! Другой на месте Аркадия Борисовича отделался бы уклончивым ответом, но мы люди прямые...

На задубелой огненной физиономии Южина невозможно было ничего прочесть. Глаза его усталились на Агатова.

— Игра на новаторстве — модный прием. — Агатов предостерегающе поднял палец. — Товарищ генерал, вы учтите, Тулину-то что? Они разобьются, а отвечать будете вы.

Цинизм этой фразы не мог серьезно задеть Южина — он давно привык подшучивать над смертью и делал это еще грубее и хлестче, — его покорило другое, неискоренимое в

каждом фронтовике: наземная служба, тыловик судит тех, кто сражается в воздухе.

Он поднялся, одернул мундир.

— Все ясно, вы свободны. И вы тоже, — сказал он Тулину чуть мягче.

— Так я передам Аркадию Борисовичу, что все в порядке, — сказал Агатов.

Дверь плавно закрылась. Тулин продолжал сидеть.

— М-да, — промычал Южин. — Все в порядке... — Он выразительно посмотрел на часы. — В институт мы сообщим. Больше помочь ничем не могу.

Тулин заторопился, привстал, держась за подлокотник.

— Мне нельзя так вернуться... ни с чем... Выходит, опять делать то, что мы уже знаем. Поймите, мы знаем, что надо...

— Больше ничем помочь не могу.

Тулин встал, но вдруг сел уже совершенно иначе, откинул голову на спинку кресла, устраиваясь поудобнее.

— Я отсюда не уйду.

— То есть как?

— Буду сидеть, пока не получу разрешения.

— Вы ж слышали. Чего еще толковать!

Тулин закинул голову и стал смотреть на лепной карниз. Южин вышел из-за стола, оглядел Тулина со всех сторон, словно примериваясь.

— Не валяйте ваньку, со мной эти фокусы не пройдут. — Он подождал, потом нажал кнопку звонка. В кабинет влетел молоденький адъютант, вытянулся, щелкнув каблуками с удовольствием мальчишки, играющего в солдатики.

— Проводите товарища Тулина вниз, посадите в машину, пусть его доставят домой.

— Слушаюсь! — Адъютант выжидательно посмотрел на Тулина.

— Отменяется, — сказал Тулин, — я останусь.

Адъютант перевел глаза на генерала.

— Выполняйте! — скомандовал Южин. — Чего стоите? Помогите ему встать. Он себя плохо чувствует, видите, какой бледный.

Адъютант неуверенно шагнул к Тулину.

— Я себя чувствую прекрасно. — Тулин закинул ногу на ногу. — Так хорошо, что придется вам вызывать трех человек, не меньше. Плюс носилки. А презабавная картина получится, товарищ генерал: научного работника связывают и выносят из кабинета — новый метод окончания дискуссии.

Адъютант неудержимо улыбнулся. Искоса бросив взгляд на генерала, спохватился, преувеличенно нахмурился, но было уже поздно.

— Что смешного? Чего скалитесь? Вы где, на посиделках?

Развалился, нога на ногу — и хоть бы хны. Среди военных такое нахальство невозможно. Военному скомандовал — и конец. Субординация, дисциплина. А с этими деятелями никакого порядка, для них нет ни генералов, ни старших, ни младших. Пользуется тем, что его не разжалуешь. Ишь как носком болтает! Уверен, что настоит на своем. Пожалуй, это с отчаяния. Можно представить, как ему обидно: ведь не для себя же старается, он не просит ни денег, ни должности...

Две стены пересекались с потолком. Пространственный угол. Когда-то на экзаменах ему досталась такая задача. Что бы ни было, он должен остаться. Стоит уйти отсюда — все будет кончено. Лучше об этом не думать. Пока он здесь, кажется, что еще где-то что-то решается или может решиться. То, что спрашивали на экзаменах, почему-то запоминается лучше всего. «Хулиганство!» — это сказал генерал. Тулин смотрел в угол на потолок. Он уткнулся лицом в этот пространственный угол. Вцепиться в кресло — и никуда. Изогнуть губы, вот так, понаглее, прищуриться, хорошо бы закурить, нахально попыхивать папиросой, только чтобы лицо не двигалось. Держаться, держаться... Единственное, что оставалось у него, — это упрямство, безрассудное упрямство, лишенное надежды, сидеть, сидеть в этом кресле.

Наступившая тишина заставила его взглянуть на Южина. Что-то переменялось. Адьютанта уже не было. В глазах Южина светилось нечто вроде сочувствия.

Он положил руку на плечо Тулину.

— Вам сколько лет?

Тулин попробовал криво усмехнуться, но побоялся разжать губы: они могли задрожать, они могли выкинуть черт знает что, и голос мог вырваться оттуда всхлипывающий. От этой большой, тяжелой руки, лежащей на плече, что-то надломилось в нем, и он со страхом почувствовал, как душно перехватывает горло.

Южин налил стакан воды.

— Выпейте.

Вода была теплая. Тулин пил маленькими глотками, не поднимая глаз. По голосу Южина он понимал, как жалко выглядел сейчас, и это было самое невыносимое.

Он поставил стакан и пошел к дверям.

— Погодите, — сказал Южин.

Тулин остановился, не оборачиваясь. Южин зашел сбоку.

— Попробуйте сами с Голицыным... — буркнул он.

Внезапно Тулин успокоился, все было кончено, и он вдруг почувствовал ту последнюю свободу, когда уже все равно и остается лишь одно наслаждение — выложить правду.

— Поздравляю вас, товарищ генерал. Отпихнулись. Теперь можно стать добрым и чутким. Советовать можно. Вам ведь уже ничего не грозит. Все параграфы соблюдены. А к Голицыну я не пойду. Не нужно мне их милости. Да и с какой стати им в дураках оказываться? Когда-нибудь вы убедитесь, что я был прав. Пока что мы обогнали за границу, но теперь у них будет время. Они нащупают наш метод. Вот тогда вы сами разыщете меня; пожалуйста, товарищ Тулин, вот вам, товарищ Тулин, берите самолеты сколько хотите, торопитесь, наверстывайте, опережайте. Вы станете смелым, ужасно смелым, щедрым... Нет, я вас не пугаю, — за то, что вы задержите наши работы на несколько лет, вы не получите никаких взысканий, за перестраховку вас не накажут...

Эти безрассудные упреки Южин готов был простить: нервы, запал. Кто-кто, а Южин знал, какие огромные средства стало давать государство на изучение физики атмосферы, группа Тулина составляла лишь крохотный участок большого фронта исследований, ведущихся институтами страны. Южина занимало другое: среди запальчивых выкриков Тулина он различал страстную уверенность в своей правоте. На чем она покоилась? Почему она для Тулина сильнее всяких формул, и расчетов, и заключений? А что, если это не только убежденность?..

Он вглядывался в глаза Тулину, пытаясь через них проникнуть в его душу, — мучительное извечное усилие одного человека постичь до конца то затаенное, что скрывается в душе другого. А вдруг то, что защищает Тулин, и есть истина? Как будто в глазах Тулина он мог увидеть не убежденность, а саму истину.

— Цирк... Колизей... — И вдруг отчаянно махнул кулаком: — Э, была не была, вали на мою голову! Разрешаю. Но не все, конечно. В радиолокационное ядро заходить и не думай...

Тулин глубоко вздохнул, прикрыл глаза. Почему-то не было ничего, кроме усыпляющей усталости. Наконец Южин кончил говорить, и тогда Тулин опомнился, схватил Южина за руку, потом за плечи, поцеловал в одну, в другую щеку. Южин сконфузился, но Тулин чувствовал, что получилось мило и непосредственно, и к нему сразу вернулась уверенность в неизбежности случившегося. С самого начала он знал, что добьется своего, что иначе и быть не могло.

Они сели за схемы полетов. Южин жестко отчеркивал зоны.

— Голицына теперь обойти нельзя, — предупредил он. — Придется идти на компромисс. Он будет курировать ваши полеты. Не сам, через своих, я с ним договорюсь.

Тулин беспечно отмахнулся. Он был слишком рад, чтобы задумываться о таких пустяках, тем более что там Крылов. Серега постарается.

— А если мы встретим грозу? Забредем туда случайно и заблудимся, а? — И он подмигнул Южину.

— Я тебе встречу, я тебе встречу!

— Ну, а если?

— Если грозу встречают, ее обходят. Если в грозу попадают, то... — Южин усмехнулся, — то отремонтировать самолет не всегда удается.

Тулин от души смеялся. Шутка казалась ему очаровательной. Он спешил успокоить Южина, он готов был обещать все, что угодно, любые гарантии. Если что-нибудь случится, он

клянется больше не летать, не просить самолетов. Он снова был победителем, а победителю можно быть щедрым и обещать, обещать.

Он покинул Управление вечером. Вместе с начальниками отделов он отработал схемы полетов; запретные зоны были велики, слишком велики, но все же летать разрешалось в таких близостях от грозы, о которых раньше и помыслить нельзя было.

Это первая ступень, первый прорыв, дальше пойдет, в конце концов тут важнее всего принципиальное согласие, а там все зависит от локатора, можно будет отрегулировать усиление, формально требование Южина будет выполнено, лишь бы все обошлось благополучно, победителей не судят, победители сами судят.

На улицах горели фонари, от яркого света витрин и реклам в небе исчезли звезды.

В «Гастрономе» он купил бутылку коньяку «Двин», своего любимого сыру, ветчину.

Нагруженный свертками, он, не торопясь, шел по улице, разглядывая встречных женщин.

Полные и стройные, в узеньких брюках, — это было красиво, в легких плащах и коротких пальто — и это тоже было красиво, девчонки в курточках, с медными волосами и с волосами пышно взбитыми, девочки с модными раскосыми глазами, большеротые, хохочущие, курносые, надменные, милые скромницы и развязные пигалицы в пышных шуршащих юбках, а руки голые, кожа в пупырышках — прохладно, но держи фасон, — откуда их столько, хорошеньких, даже красивых, появляется вместе с весной?

Ему захотелось заговорить с одной из них. Хотя бы с этой длинноногой, в сером, туго облегающем свитере, что стояла у театральных афиш. Он спросил ее, куда она хочет пойти. На «Голого короля»? Вот так-так, и он тоже собирался. Пошли вместе. Ничего тут страшного нет, у него сегодня счастливый вечер, пользуйтесь, берите, раздаю счастье... Он знал, что в таких случаях нельзя спрашивать, мяться, надо говорить самому, смешить и смешить и рассказывать о себе. Ему не надо было притворяться, он просто делился радостью своей удачи. Недоумение и настороженность девушки сменились снисходительной насмешкой: оказывается, перед нею безобидный чудак, даже забавный чудак, нет, не чудак, а симпатичный, общительный парень. Она согласилась пройти с ним до театра, только это все зря: билетов давно нет, не достать ни за какие коврижки.

— Пустяки, — сказал он и взял ее под руку.

Театр был рядом. Они прошли сквозь толпы спрашивающих лишние билетки, пробились к окошечку администратора. Тулин всунул голову, увидел замороченного, потного толстячка и сказал:

— У вас астма, вам нужно лечиться, вам нужна тихая работа, а не этот бедлам, но что поделаешь, если вы любите театр и никто, кроме вас, не смыслит в организационных делах, они тут пропадут без вас, только кретины считают, что администратор — это тот, кто сидит в этом курятнике и распределяет пропуски.

Пустые, нетерпеливые глаза очнулись, уставились на него сперва как на идиота, потом, что-то поняв, засмеялись с дружеской завистью.

Два желтеньких билета в третий ряд сделали его кудесником.

У нее была отличная фигурка и приятный низкий голос, и она сияла от удовольствия, а на

него опять навалилась усталость.

— Вот вам билеты, и простите меня, — сказал он. — Этого «Голого короля» я уже видел и, кроме того, совсем забыл: я обещал зайти к приятелю.

И это не было отговоркой, он вдруг вспомнил о Крылове, и ему захотелось растянуться на кушетке и рассказать Сереге все, что произошло, потому что только Крылов мог оценить это.

9

Ключ лежал, как и прежде, справа за наличником.

Большая пустоватая комната показалась неудобной, хотя все стояло на прежних местах. Тулин упал на кушетку, вытянул ноги. Секрет быстрого отдыха состоял в том, чтобы расслабить все мышцы и ни о чем не думать.

Тикали часы. Включался холодильник, бормотал захлеб, словно торопясь выговориться.

Томный женский голос пел по радио итальянскую песенку: «...В благородном сердце всегда появляется любовь». Точно. Он вскочил, взял бутылку коньяку, скрутил сургуч, ладонью вышиб пробку. Достал из шкафчика стакан. Выпил, морщась, без удовольствия, как пьют лекарство. Чтобы отогнать сон. Бездарно было бы проспать первый вечер в Москве, да еще после пережитого. Транслировали какой-то концерт, слышно было, как в глубине зала вздыхали, покашливали.

Он вынул записную книжку, выбирая, кому бы позвонить. Отсутствие Крылова путало все карты.

Телефон стоял между книгами, на столе. Тулин подошел и увидел под стеклом фотографию: девушка в лыжной шапочке с помпоном на фоне заснеженного леса. Снег лежал на шапке, на кудряшках. У нее были твердые, круглые щеки и робкая улыбка.

Тулин подозрительно осмотрел комнату. В углу гантели. Книг прибавилось. На шкафу лыжи, одна пара. Открыл шкаф — ничто не говорило о присутствии женщины. Комната хранила хорошо знакомую Тулину безразличную чистоту, когда убирают чужие руки.

Он успокоился. Было бы грустно, если б Крылов женился. Что-то нарушилось бы.

Перелистывал имена, прежние привязанности и случайные знакомства, те, что не следует ворошить, полузабытые лица, и те, с кем приятно было бы сходить в ресторан, но и они обязательно начнут с упреков: почему не писал, не звонил и прошлый раз не зашел, — надо будет оправдываться и что-то выдумывать. Не могут женщины просто обрадоваться, как радуются, встречаясь, мужчины. Есть, конечно, Зочка, но Тулин представил всю запутанную историю их отношений, — нет, пожалуй, сейчас не стоит осложнять себе жизнь. Софа — слова не даст сказать. Галочка — это для домашнего потребления, Ему вдруг вспомнилась Женя, эта утренняя глазастая девочка из парка, почему-то он был уверен, что ей было бы интересно узнать про его удачу, она снова бы слушала его, блестя своими коричневыми глазами, где отражались молнии и мокрые листья. Он уже забыл про свое намерение дождаться Крылова и посидеть с ним вдвоем. Быстро побрился; вылил на себя остатки крыловского одеколona. Записная книжка лежала раскрытая на букве „Г“. Он хотел было захлопнуть ее и сунуть в карман, но тут взгляд его упал на фамилию Голицына. Тулин усмехнулся...

— Попросите к телефону Аркадия Борисовича. — Пока в трубке шипела тишина, он свободной рукой налил себе коньяку. — Здравствуйте, Аркадий Борисович! Вас беспокоит Тулин. Читал сегодня ваше заключение. Благодарю за вашу заботу о моем здоровье. Вы сделали все, что могли. Однако, как говорят, и бог подчиняется правилам грамматики. А грамматика наша такова, что все новое находит себе дорогу. Я не ради того, чтобы вас посердить. — Он не давал Голицыну вставить слова. — Мне надо, чтобы вы были здоровы, очень здоровы, потому что через год надеюсь увидеть вас на докладе об итогах наших работ. Может быть, вы согласитесь присутствовать и на испытаниях? А чего доброго, решитесь подняться в грозу? Столько лет вы посвятили ей, и ни разу не забраться в нее — обидно! Постараюсь кончить за год, это с запасом, учитывая вашу непримиримость, авторитет и заботу о нас. Ваше здоровье, Аркадий Борисович!

Он чокнулся с трубкой, где яростно пиликали короткие гудки.

Вошел Крылов.

— Ты где шатаешься? Одевайся, поехали в ресторан.

— Как твои дела?

— Кутим! Переодень рубаху. Нас ждут. Все доложу.

Крылов вяло помотал головой.

— У меня нет настроения. Ты двигай сам.

— Не дури, — рассердился Тулин. — Знать ничего не желаю. Сегодня существует мое настроение. А раз у тебя нет настроения, значит, оно тебе не может мешать.

Спорить с ним было бесполезно. Он выругал Крылова за рубашки — модные, но безвкусные, перевернул весь шкаф, пока не остановился на коричневой, с отложным воротником.

— погоди, а девушка у тебя есть? — спохватился он.

— Не хочу я никаких девиц.

— Стой. А эта? — Он кивнул на фотографию.

— Она не здесь.

— А где?

— Далеко.

Тулин еще раз наклонился над портретом.

— Миленькая. Ну ладно, не пыхти, у тебя это, как всегда, серьезно.

— Как же тебе удалось с Агатовым?

Тулин аппетитно улыбнулся.

— погоди, все по порядку. Что ж, вы переписываетесь?

— Нет.

— Скрытный ты человек.

В Доме ученых был вечер отдыха. Тулин долго, со вкусом выбирал в ресторане столик, согласовывал меню, распоряжался насчет шашлыков и салатов. Крылов подумал: сколько живу в столице, а бирюк бирюком, официанта подозвать не умею.

Откуда-то появился Возницын, заместитель директора тулинского института, маленький, умилительно громко хохочущий по любому поводу. Он был с женой, приятной, пухлой брюнеткой, которую Тулин через несколько минут стал звать Симочкой, хотя она была много старше его.

У Тулина было много знакомых, он здоровался, куда-то уходил, узнал, что здесь Ада — она вчера приехала в Москву в командировку, — и, несмотря на протесты Крылова, отправился за ней и привел, вырвав из компании старых профессоров, рассуждавших о преимуществах постоянного тока.

Последний раз Крылов видел Аду год назад. Она почти не изменилась: была так же ослепляюще красива, надменна, только зачем-то стала носить яркие бусы, а на руке широкий металлический браслет. Выпили за женщин, потом за Южина; когда подняли за Крылова, Ада ровным голосом спросила, что ему пожелать, как бы предлагая заключить мир на сегодняшний вечер. Тулин хлопнул себя по лбу.

— Перед нами же именинник! Новенький начальник лаборатории! Я-то расхвастался, а вот он, подлинный герой, как водится, незаметный... В его лице мы приветствуем...

Крылов торопливо выпил до дна и долго смеялся: он ни за что не хотел испортить Тулину сегодняшний вечер.

Стоило ему представить, как они начнут его расспрашивать, утешать, и его охватывал стыд. Ада сразу же торжествующе скажет: «Вот видишь!» А так она сказала: «Ты добился своего, правда, я, остаюсь при прежнем мнении; твое место на заводе».

Крылов начал было возражать, но его уже никто не слушал.

Тулин рассказывал с подробностями историю своих переговоров с Южиным.

— Молодец! Ах, какой психолог! — вскрикивал Возницын и всплескивал маленькими руками. Тулин разошелся и приглашал всех через год на банкет.

Заиграли липси. Тулин пошел танцевать с Адой, а Симочка пригласила Крылова. Со всех столиков смотрели на Тулина и Аду: они были самой красивой парой.

— Они составляют полный гарнитур, — сказала Симочка. — Я бы все отдала, чтобы иметь такую фотогеничность.

Крылов промолчал. Он не знал, что надо говорить в таких случаях. Тулин терпеть не мог Ады, называл ее мороженой щучкой и пригласил, наверное, потому, что на Аду все оглядывались — такая она была красивая.

После танца Тулин подошел к соседнему столику.

— Здравствуй, Петруша, — громко сказал он. — Поздравь меня. А тебе, слышать, подраскрыли скобки.

В нежно-розовом толстячке, похожем на облупленную сардельку, Крылов с трудом узнал

Петрушу Фоминых, с которым они когда-то учились в институте. Петруша восседал во главе шумной компании пестрых пижонов.

Тулин бесцеремонно налил себе в чью-то рюмку, поставил ее на вытянутую ладонь.

— На одной ложной информации нынче не выедешь. Выпьем за нашу передовую эпоху!

Не успел он кончить, как Петруша с неожиданной для его комплекции ловкостью подхватил с ладони Тулина рюмку, выпил и победно поиграл ею между пальцев. Пижоны засмеялись. Тулин побледнел. Он бледнел сразу всем лицом, и глаза его тоже становились белыми.

Ада стиснула Крылову руку.

— Не вмешивайся, без тебя разберутся.

— Они давно ссорятся, — сказал Крылов. — Сперва из-за одной... Потом Петруша прижал его у Денисова. Но Олегу сейчас нельзя влипнуть ни в какую историю.

— А тебе?

— Я теперь люмпен, — сказал он, вставая. — Мне что...

Он подошел к Тулину и взял его за локоть.

— Ах, и ты тут, — сказал Петруша. — Забирай своего дружка, пока я его не отправил в другое место.

— До чего ты стал жирный! — сказал Крылов. — Так и хочется тебя помазать горчицей.

Он увел Тулина и заставил его пойти танцевать с женой Возницына.

Ада рассказывала Возницыну про трудности с выключателями постоянного тока, но едва только Крылов вернулся, она спросила, почему люмпен.

— Ничего, чепуха, — сказал Крылов. — А как с этой аппаратурой за границей?

— В том-то и дело, — сказала Ада.

Возницын захохотал.

— Пусть, пусть Америка торопится, мы все равно их обгоним.

В это время к ним подошел Петруша. Осторожно, подтянув брюки, он опустился на стул.

— Я на Олега не обижаюсь, — сообщил он. — Нет смысла обижаться, он все еще мыслит в коротких штанишках. Жизни не знает. Сейчас все перестраиваются. — Он поправил очки, у него были великолепные очки с золотыми дужками. — Эх, Сережа, быт — проклятая штука. Вот я и считаю, что его надо устраивать, поскольку он определяет... — И он улыбнулся Аде.

— Где ты теперь? — поинтересовался Крылов.

— Внедряю автоматику.

Крылов удивился.

— Но это ж не по твоей специальности?

— Моя специальность... — Петруша снял очки, глаза у него стали светлые, грустные.

Возницын всплеснул руками.

— Что может быть лучше автоматики! Автоматизация облегчает труд. Возьмите, к примеру, метеослужбу, передачу и обработку сведений...

Вернулся Олег и, к удивлению Крылова, спокойно подсел к Петруше, налил ему вина.

— Но откуда ты знаешь автоматику? — спросил Крылов.

Петруша отпил вина, по-кошачьи зажмурился.

— Чудак, зачем мне ее знать, я ее внедряю. А известно, что внедрять можно годами. — Он смотрел на Крылова, но Крылов чувствовал, что говорится это не для него. — Специальность — средство существования материи.

— Существуешь на костности, — сказал Тулин. — Новый тип паразита. Ну и как, увлекательная работа?

Петруша обрадовался.

— А я увлекаюсь другими вещами. Муки научного творчества — это для избранных, вроде тебя. Куда уж нам!.. У меня теперь интерес материальный. Принцип материальной заинтересованности. Слышал? Сокращенно «примазин». Отличное средство, действует на любой организм. Ты принимаешь?

— Вроде бы рановато, — сказал Тулин. — А ты без этого неспособен?

Петруша хихикнул. Насмешки Тулина соскальзывали с него, но он не прощал ни одной, подзуживая Тулина своим цинизмом.

— И не боишься ты влипнуть? — любопытно спросил Тулин.

Петруша посмотрел на него как на ребенка.

— Ошибается тот, кто экспериментирует. А я никогда себе этого не позволю. Невыгодно.

— Бизнесмен, — сказал Тулин.

Петруша взял двумя пальцами ломтик лимона.

— Вы оторвались от жизни. Нехорошо. Деньги есть деньги, они определяют заслуги человека в нашем обществе. — Он разговаривал тоном, не требующим ответа, так говорят с кошками или собаками. — Каждому по труду, от каждого как?

— По способностям, — обрадованно подсказала Симочка.

— Именно.

— Ты все переворачиваешь. Деньги, деньги... У тебя как на Западе, — сказал Крылов.

Петруша посмотрел на него серьезно, и Крылову опять показалось, что за толстыми стеклами очков мелькнуло что-то грустное и тотчас растаяло в раздражающей ухмылке.

— Зачем Запад? С деньгами и у нас можно не хуже, чем на Западе. Производство товаров возрастает.

— Да, да, жить становится все лучше, — обрадовался Возницын, — не сравнить...

— Счастье — это не деньги, это трудности борьбы за светлое будущее, — сказал Петруша.
— Берите мои трудности, дайте мне вашу зарплату.

— Перестань пылить, — сказал Крылов. — Неужели ты стал таким?

— Он всегда был таким, — сказал Тулин. — Он всегда был пижоном. У него ничего не остается в жизни, как жрать, покупать и халтурить.

Петруша пососал лимон.

— Фу, как грубо! За что вы на меня злитесь? За откровенность? Подводите идеологическую базу? Ты, Олег, всегда был бдителен. Это ведь ты прорабатывал меня за джаз, за то, что мы не занимались наукой.

— Да, ведь ты играл на трубе! — вспомнил Крылов.

— ...Ты, Олег, конечно, личность исключительная, тебе не нужны деньги, тебе нужна слава. А к славе приложится и остальное. Тебе не нужна своя машина, тебе достаточно казенной. А я больше не играю на трубе. Ты перевоспитал меня. Я стал как все, рядовой работяга. Между прочим, у тебя какая зарплата? В три раза больше моей? Поэтому твоя действительность в три раза прекрасней, чем моя. — Он подмигнул Аде: — И соответственно раза в четыре приятней, чем ваша. Поэтому идеалы Олег может иметь более высокие, его муки творчества — это не для нас, нам бы десятку-другую наишачить.

— Ах ты, поросенок, — сказал Тулин. — Как ты вырос! Ты стал философом.

Давно уже с какой-то мыслью Крылов следил за Петрушей. И вдруг сказал:

— Жалеешь, что бросил играть на трубе? Может, это и было твое призвание.

Петруша живо повернулся к нему, хотел что-то ответить, но махнул рукой и зло рассмеялся.

— Ужас, какие вы все положительные! Особенно ты, Серега. Как был карась-идеалист, так и остался. Никакого прогресса. Удивляюсь, как это тебя еще терпят в институте! Когда тебя выставят, двигай ко мне, так и быть, устрою.

Ада неумело закурила сигарету и сразу же притушила.

— Ну, а теперь катись, — сказал Тулин.

Петруша положил обсосанный лимон.

— Диспута не получилось. Извините за компанию. — Он встал. — Принимайте «примазин» — поможет, особенно в семейном положении. — Сунул руки в карманы и, позвякивая мелочью, удалился к своему столику.

Первой прыснула Симочка, за ней остальные. Крылов тоже смеялся, не зная чему. Они почувствовали себя вдруг очень молодыми, очень голодными и накинулись на остывшие шашлыки. «Экземпляр! Ну и экземпляр!» — повторял Возницын. Его все приводило в восторг. На него было приятно смотреть. Шашлык, который он ел, был самый лучший. Тулинская тема — самая перспективная, Петруша — диковинное явление, нетипичное, отныне разоблаченное и обреченное...

— Сережа, — сказала Ада, — что у тебя все же случилось?

— У меня? Ничего!

Тулин внимательно посмотрел на него.

— Вытри нос, у тебя нос потеет, когда врешь.

— Отцепитесь вы, — сказал Крылов. — Ну, поругался с Голицыным, что особенного?

— Ага, поругался! — сказал Тулин. — Твой Голицын — скелет, хватающий за горло молодые таланты, старый колпак, наследие культа.

— Хуже того, он несправедливый человек, — свирепо добавил Крылов, и все рассмеялись, как будто он сказал глупость.

— Давай, давай! Мне, брат, мало, чтобы меня хвалили друзья, мне надо, чтобы ругали моих врагов. Но... — Тулин поднял шампур. — Но ты, Сереженька, должен быть с Голицыным кроток и ласков, ибо он будет курировать наши полеты, и надо, чтобы он перепоручил это тебе.

По мере того как Тулин разворачивал свои хитрые планы, Крылов мрачнел. Наконец он решился:

— Это невозможно. Дело в том... — Во рту у него вдруг пересохло, он жадно хлебнул вина. — В общем я ушел из института.

— Я чувствовала, — сказала Ада.

Они заставили его рассказать все. Поощренный их вниманием, он приободрился. Почему бы ему не рассказать? Чего ему стесняться? Ничего страшного. По отношению к Тулину его поведение было подвигом. Он заслуживал похвалы, утешения, благодарности. Он пал жертвой, защищая правое дело, и мог требовать почестей.

Тулин молча ел шашлык. Крылов кончил рассказывать, а Тулин продолжал есть шашлык, густо мазал горчицей каждый кусок, жевал его так, как будто истреблял что-то живое. На него было страшно смотреть. Ада и Симочка притихли. Наконец Тулин вытер губы, скомкал салфетку и принялся обозревать физиономию Крылова.

Он приглашал всех полюбоваться на этого цветущего, упоенного жалостью к себе идиота. Он водил их, как экскурсовод, обращая внимание на достопримечательности этого редчайшего образца человеческой тупости.

— Заметьте, он ждет, что мы кинемся ему на шею, женщины будут всхлипывать, а мужчины прочувствованно трясти руку. Так вот почему приехал Агатов! Кто тебя просил соваться со своими принципами! — зарычал он. — Надо было ехать, а не корчить из себя... Ох, и нагадил же ты! — Тулин схватился за голову. — Мы бы Южина повернули совсем по-другому. Я-то надеялся, что из вашего курятника ты сумеешь страховать меня... Все испортил... Услужливый дурак, юродивый. — Лишь присутствие женщин как-то сдерживало его.

Ада попробовала вступить — раз Крылов не разделяет взглядов Голицына, то, естественно, он обязан... как же иначе... каждый человек...

Может, она и добралась бы до самого важного для Крылова, но Тулин не дал договорить, он высмеял ее, под его ударами все превращалось в труху.

— Что за лепет, какие у него принципы! Принципы оценивают по результатам, а не по намерениям. Нагадить может и кошка, а человек должен уметь больше! Этот лунатик всегда так. Вечно ему надо быть правильной всех. Вы-то, Ада, знаете это получше нас. Ах, какой

рыцарь, он шел на все ради меня! А мне не нужно. Не нужна мне твоя жертва, твои услуги.

— Я это сделал не ради тебя, — сказал Крылов.

Не ради тебя, сказал он, и Тулин ударился о что-то неподатливо твердое, как кость. Это случилось не впервые, но всякий раз приводило его в ярость.

— Значит, для себя? Все для себя. Жизнь ничему не научила тебя. От Дана ты тоже уходил, задрав нос. — Он выбирал самые больные места. — Кому помогает твое донкихотство? Ты всем только мешаешь и портишь.

Он лупил его без пощады, издевался, высмеивал.

— Не расстраивайтесь, не надо, — услышал Крылов голос Симочки. Он вздрогнул от этой нежданной нежности, поднял глаза и увидел, что она гладит руку Тулина.

— Вот видишь? — сказала Ада. — Ты меня не слушался. Куда ж ты теперь?

Белая, матовая кожа делала ее лицо мраморно холодным, как у статуи в Эрмитаже. Куда ж он теперь? Не все ли равно, какое это имеет значение, почему ее интересуют такие пустяки? Он подумал, что завтра можно не ехать в институт. И удивился. И послезавтра тоже, и флюксометры так и будут стоять демонтированные.

— Вот что, ты должен помириться с Голицыным, — сказал Тулин тоном, не допускающим возражений.

— Ради интересов дела, — подхватил Возницын. — Зачем осложнять себе жизнь?

— Нет, — сказал Крылов. — Не могу.

— Отрекись от меня, обругай перед Голицыным, разрешаю, — сказал Тулин. — Агатов — подлец, и нечего нам строить из себя...

— Голицын вас обожает, — сказал Возницын. — Какие в наше время конфликты? Мы все делаем одно дело. — На него было приятно смотреть, так легко у него все разрешалось.

Крылов тоже попробовал улыбнуться.

— Нет, не могу.

— Ну и скотина ты! — сказал Тулин. — Какой же ты друг после этого?

Крылов виновато улыбался. Он и не пробовал защищаться, он покорно принимал удары Тулина, но всякий раз, как ванька-встанька, поднимался — с виноватой улыбкой, словно извиняясь за то, что Тулину приходится снова бить его, и это еще более ожесточало Тулина, хотя в глубине души он отдавал должное стойкости Крылова. Тут никто не мог оценить это мужество, которое всячески прятало себя. И прежде в глубине крыловского характера был налит свинец, но теперь Тулин чувствовал, что свинца этого прибавилось.

— Чего ты достигнешь своим уходом? — сказал Тулин. — Эгоист. Ты открываешь дорогу подонкам вроде Агатова. Господи, как ты подвел меня!

«А если и в самом деле это свинство, — подумал Крылов, — и по отношению к Тулину, и к Бочкареву, и ко всем ребятам? Чего проще, вернуться к Голицыну, старик обрадуется, ну, оба погорячились, и всем будет хорошо, и, оказывается, Тулину тоже будет хорошо».

— Нет, — сказал он, — нет, я не упряплюсь. Как же мне идти к Голицыну, если я не согласен с ним и ты, Олег, с ним не согласен? От тебя отказаться? Но тут не только ты, тут мне и от

самого себя надо отказаться. Раз у меня есть убеждения, я должен отстаивать их, а если я не сумел, то уж тогда лучше уйти, чем в сделку вступать. Мне ведь уйти тоже нелегко, у меня своя работа, там самый разгар... — Он вспомнил о Песецком, об уравнении, о заказанном радиоспектрометре, о том, ради чего он перешел к Голицыну и к чему приступил, потому что наконец-то приблизилась наиболее важная часть его работы, над которой он бился два года. — Но я уйду, иначе нельзя, ведь только через себя мы можем для всех... — Он запутался, впрочем, теперь ему уже было безразлично.

Наступило молчание, длинное, тягостное. Он сконфуженно улыбнулся, никто не ответил на его улыбку.

Принесли мороженое.

Возницын рассказывал о тайфуне на Каспии. Ада возмущалась, почему о таких вещах не пишут в газетах. Возницын объяснял, что не стоит волновать народ.

Крылов послушно ел мороженое. Он терпеть не мог мороженого. Зачем он здесь? Зачем ему это мороженое и эта болтовня? Он чувствовал, как тяготит всех своей мрачностью, у него всегда получалось излишне серьезно и слишком надолго. Он думал о том, что никогда ни в чем не мог отказать Тулину, а тут отказал, хотя виноват перед ним, и неизвестно, чем это кончится. И никак не мог понять, почему ж нет в нем раскаяния, а есть лишь стыд оттого, что портит настроение людям, которых любит.

Над улицами пылали неоны реклам с просьбой есть мороженое Главхладпрома, и хранить свои деньги в сберкассе, и вызывать пожарных.

— Почему бы тебе не вернуться в Ленинград на наш завод? — спросила Ада.

«Действительно, почему бы? — подумал он. — Или определиться к Петруше, или вернуться к Аникееву».

— Сережа, — сказала Ада, и он приготовился выслушать проект его будущей упорядоченной жизни, но вместо этого она сказала: — Ты поступил в высшей степени прилично. Не обращай на них внимания.

Он так ждал этих слов, и вот теперь, когда они были произнесены, оказалось, что это совсем не то, что ему было надо.

— Спасибо, — сказал он.

— Когда-нибудь ты поймешь, что никто к тебе не относился так, как я.

«Я это уже понял, ну и что ж из того?» — подумал он.

— Я много раз рисковала собой потому, что всегда говорила правду. А для неправды есть другие. Или будут. Я не собираюсь сидеть и ждать тебя, как Сольвейг, хотя бы потому, что тебе это будет неприятно... Ты еще сам не знаешь, что тебе надо.

Она всегда умела сделать его более благородным, чем он был. Все же сейчас она, наверное, довольна, что с ним приключилось такое, по крайней мере она могла жалеть его. Почему бы ему не жениться на ней? Она очень красивая, она любит его и никогда не позволит ему совершать необдуманные поступки. Вернуться на завод. Вернуться к Голицыну. Вернуться к ней... До чего ж много, оказывается, существует путей к благоразумию.

— Спасибо, — сказал он по возможности признательней.

Глупее, чем это спасибо, ничего нельзя было придумать. Ему стало жаль Аду. Почему ему приходится огорчать тех, кто его любит, их так немного, и всегда он причиняет им одни неприятности?

Он осторожно поцеловал ее в щеку, стараясь не испортить прически и не помять белоснежный воротничок.

— Хочешь, я женюсь на тебе?

Как сразу все станет просто и хорошо! По утрам она заставит его делать зарядку. Сколько раз он начинал делать зарядку и бросал. Ада заставит его обтираться холодной водой и регулярно учить немецкий язык. С ней он в совершенстве выучит немецкий.

— Хочешь?

— За что ты меня так не любишь? — сказала она. — Тебе сейчас очень плохо, но все равно так нельзя. Это нехорошо.

Сейчас ему казалось: согласись она, и он, не раздумывая, бы женился на ней. Ему было жаль ее, и он женился бы и жил с ней. Хоть одному человеку была бы от него радость.

Тулин и Возницын ждали их на углу.

— Идея! — издали закричал Тулин. — Есть идея! Падай мне в ноги, так и быть, помилую! Я! Беру! Тебя! Зачисляю! К! Себе! В! Группу! Вот! Поехали, ты, карасик. Раз уж навязался на мою голову, черт с тобой, присоединяю. О женщины, мы таких дел с ним натворим!

Вдохновенными мазками набрасывал он картину будущих работ и тех работ, которые откроются после будущих работ, когда его группа превратится в Институт атмосферного электричества, а затем в Академию активных воздействий.

Он выжимал облака, как выжимают мокрое белье. Дожди лились туда, куда он приказывал, обильные плодоносные дожди орошали пустыни, он обращался с облаками, как с водопроводным краном. Неурожаи, засухи исчезали из памяти человечества. Он размахивал пучками молний. О молнии, о грозы! Таинственный сгусток энергии, перед которой отступает мощь атомных двигателей. Да, к вашему сведению, одна гроза расходует энергию водородной бомбы. А сколько их, гроз, громыхает ежедневно над земным шаром, ежечасно, каждую минуту миллионы лет! О люди, зачем вы пробиваетесь с таким трудом в глубины ядра, когда вот она проблескивает над вашими головами, громыхает на расстоянии каких-нибудь двух километров, эта необузданная сила! А мы ухватим ее, мы будем пробивать молниями горы, варить камни... Мы... мы...

Ах, почему у них не было магнитофона! Эту речь следовало передать через все радиостанции мира, отпечатать, высечь на гранитных плитах, разучивать в школах. Она была произнесена в полночь у булочной на углу Волхонки.

Крылов тоже восторгался, но, вместо того чтобы облобызать Тулина и ответить, промычал что-то, невнятное, и все убедились, что он свинья.

— Ты хвастун, Олег — сказала Ада. — Хвастун и фантазер. Мы на заводе вентиляции наладить не можем. А ты морочишь Сергея своими сказками, ему надо на завод вернуться,

там он конкретно может. У тебя все нереально...

Они заспорили. Симочка защищала Тулина — он все может, если он захочет, он сможет сделать все, что говорил.

Перед Манежем, у пустой эстрады, несколько парочек танцевало под музыку карманного приемника.

Крылов, узнав Ричарда и с ним дипломантку Женю Кузьменко, свернул к ним. Приемник лежал в пиджаке у Ричарда, и когда они кружились, музыка то нарастала, то слабела.

— А вот там Тулин, — сказал Крылов.

Ричард закивал, сбился. Женя спросила:

— Кто такой Тулин?

— Величайший человек нашего времени, — сказал Ричард. — Пойдем, я тебя познакомлю.

— Еще один гений? Надоело, — сказала Женя, не поворачивая головы. — Ты будешь танцевать?

И они закружились снова.

От улицы Горького свернули в проулки, где между светло-желтыми громадами новых домов уцелели деревянные особнячки, огороженные палисадником, за которым на грядках торчал салат, висели гамаки, а днем летали бабочки и шмели.

— Да, я все могу, — говорил Тулин. — Хотите, Адочка, я вам открою секрет, как стать человеком, который все может, то есть всемогущим? Это совершенно просто. Для этого надо стать сильнее себя. Пересилить свои слабости. Тот, кто сильнее себя, тот сильнее остальных людей и, значит, обстоятельств, Вы хотите сделать Сергея слабым, а я наоборот...

— Ну конечно, своим оруженосцем...

Каждый из них заботился о Крылове, хотел помочь ему, они простили ему то, что он натворил, и они недоумевали и досадовали, почему это его почти не трогает.

Крылов полагал, что Тулин вернется утром, но тот приехал почти следом за ним.

— Добродетель заела, — пояснил он. — Меня никто не встречал и провожать некому. Таков удел идущих впереди. Они всегда одиноки и непонятны. Ими можно восхищаться, но их трудно любить. — И уже без наигрыша задумчиво спросил: — Мораль? А что это такое? Инстинкт самосохранения? Воспитание? Смелость? Что мешает тебе вернуться к Голицыну? Наверное, эта лыжная девица. Почему ты выбрал ее? Мы дурачье, выбирать себе жену бессмысленно, так же как родителей. Наука превратила нас в рационалистов. Почему я не дал в морду Петруше? Почему я цацкаюсь с тобой? Если бы я мог обрести полную власть над собой, я получил бы власть над всеми.

— Зачем тебе она? — спросил Крылов.

— О! Будь уверен, я бы устроил мир разумно. Во-первых, заставил бы тебя поехать со мной. Нет, надо быть сильнее и беспощадней. Начнем с того, что на полу будешь спать ты.

Через два дня Тулин уехал, так и не добившись от него определенного ответа.

Существовало нечто, что Крылов должен был выяснить раз навсегда. Оформив расчет, он отправился в Театральный проезд, остановился у витрины железнодорожной кассы. По расписанию нужный ему поезд уходил в 19 часов. Крылов посмотрел на часы: в его распоряжении оставалось сорок минут. Он сел в такси и, не заезжая домой, как был, поехал на вокзал.

10

Тут все дома были одинаковыми, квартал за кварталом одинаково красивых новеньких домов с цветными балконами. Он провожал Наташу до самого дома всего однажды, и то зимой, вечером. Они постояли у парадного, и неожиданно Наташа пригласила зайти к ним выпить чаю. Она так и сказала — зайдите к нам, она познакомит с мужем, покажет сына. Будто не замечая его недоумения, она настойчиво тянула за рукав.

— Вы что, это серьезно? — спросил он.

Она наивно округлила глаза — что тут особенного, муж очень любит гостей.

— А что еще любит ваш муж?

Ее притворство разозлило Крылова: неужели она считает, что он способен сидеть за столом с ее мужем, болтать, смотреть ему в глаза, и она будет тут же. Если бы даже такое произошло, то ведь после этого между ним и Наташей все кончится. Зачем это ей, для чего? Но скажи он такое, она немедленно бы спросила — что именно кончится? И ему нечего было бы ответить.

Возвращаясь домой, он вдруг понял, зачем ей это было нужно. Чтобы он зашел и чтобы все превратилось в обыкновенное знакомство. Это была последняя ее возможность устоять, последнее усилие.

А сейчас, летом, улица выглядела неузнаваемо. Газоны лежали полные до краев жирной травы. На липком асфальте лениво бродили сытые голуби. И только в витринах громоздились те же пыльные коробки кофе.

Непонятно, как он почувствовал, что именно этот дом — ее дом, что заставило его с такой уверенностью свернуть под высокую арку? В списке жильцов прочел: «Романов А. В. — кв.11». Память старалась изо всех сил, единственный спутник в этом путешествии в прошлое.

Он присел на скамейку дворового садика, лицом к парадному. Плавилась стекла, слепые от солнца. В распахнутых окнах бились занавески. Одно из окон принадлежало ей, каждую минуту она могла выглянуть и увидеть его. А может случиться и так, что откроется парадное и она выйдет оттуда, жмурясь от солнца, держа за руку сына. Она не заметит Крылова, и он пойдет за ней по улице, и так они будут идти долго, и перед ним на расстоянии трех шагов будут покачиваться ее волосы, шея, плечи.

Малыши играли со щенком. Они нахлобучили на него бумажную шляпу. Щенок вырвался, подбежал к ногам Крылова, тявкнул и помчался дальше. Женщины на соседних скамейках посмотрели на Крылова и зашептались. Он вынул записную книжку. Там были разные записи,

перечитывать их было неловко: благие намерения, которые так и не выполнены, глубокомысленные замечания, которые никогда не могут пригодиться.

«Плазма — шаровая молния E1. World № 14».

«Интересно проверить, как проходит гипноз, если гипнотизера оградить сильным полем».

«Прочсть о тающем льде у Санина».

До чего ж быстро человек обрастает невыполненными замыслами и тащит, тащит их за собой всю жизнь.

«У человека нет электрического органа, а есть мышцы, поэтому он старается все сводить к механике. Электрический скат, вероятно, поступал бы иначе».

Любопытно, как поступил бы скат на его месте? Вряд ли он стал бы сейчас сидеть здесь и читать записную книжку.

Солнце припекало затылок. Он откинулся на спинку скамейки и принялся разглядывать окна. Вдруг он сообразил, что сегодня воскресенье, он помнил об этом и раньше, но только сейчас ему пришло в голову, что раз сегодня воскресенье, то она могла уехать за город. А может быть, у нее отпуск и она на даче? Он вскочил и вошел в парадное. Одиннадцатая квартира оказалась на последнем этаже. Крылов нажал кнопку. В глубине квартиры прозвенело. Ему захотелось убежать или подняться на чердачную площадку и посмотреть оттуда — кто откроет дверь? Он оглянулся — по лестнице неторопливо поднимались две старушки.

— Внучку не разрешают нянчить, — сказала одна из них. — Деньги, а на что мне их деньги.

За дверью слышались шлепающие чужие шаги. Надо спросить, не живет ли здесь... Какую-нибудь фамилию. Он лихорадочно пытался придумать какую-нибудь фамилию, любую фамилию, и не мог.

Дверь открылась. Перед ним стоял высокий мужчина, растрепанный, в пижаме, босой. Припухшие глаза его ничего не отражали, там было мутно, как в запотевшем стекле.

— Раньше времени явились. Ну да ладно, — сказал он.

— Простите, мне нужно... — начал было Крылов, но мужчина перебил его:

— Я, я самый и есть Алексей Романов, да проходите же вы. — Он сердито втащил Крылова, захлопнул дверь. — И ради бога, помолчите, голова трещит, все одно ничего не слышу. Сперва посмотрите, потом будете высказываться.

По коридору, мимо прикрытых дверей, он привел Крылова в большую комнату с застекленным фонарем, на полу стояли подрамники, множество холстов лицом к стене, валялись окурки, воздух был спертый, на кушетке лежала грязная подушка, измазанный красками столик уставлен бутылками, и на тарелке коричневые пирожки.

— Садитесь спиной к свету, — сказал Романов. — Алкоголю хотите? Ну и шут с вами.

Он взял ближайшую картину и поставил ее на мольберт.

Крылов прислушался: в квартире было тихо. Ситуация, подумал он. А, будь что будет!

— Отсвечивает? — спросил Романов. — Подвиньтесь. Еще. Вот сюда.

Он подождал, снял картину и поставил следующую.

— Отдерните занавеску! Мало. Да шевелитесь же вы. — Он покрикивал, почти не глядя на Крылова, и взгляд его оставался тусклым и безразличным, и движения, которыми он снимал и ставил картины, были машинальны.

Крылов послушно отодвигался, наклонял голову к все время думал: а что, если Наташа в соседней комнате, за стеной?

— Ну как? — спросил Романов.

— Очень интересно, — громко сказал Крылов. — А что это за станок?

— Да не орите вы. При чем тут станок? Ну, строгальный. Устраивает? Важно было показать глыбу металла, покорную человеку. Контраст холодной стали с человеческой рукой.

Пока он, снисходительно морщась, объяснял картину, Крылов искал следы Наташи, хотя бы малейший признак ее присутствия, что-нибудь связанное с ней.

— Подходит? — нетерпеливо спросил Романов. — Эту я отложу. Вы вообще смыслите что-нибудь в живописи?

Крылов заставил себя взглянуть, он задавал какие-то вопросы, кивал, поддакивал.

Закопченный белозубый машинист стоял у паровоза. Паровоз был нарисован здорово, совсем как настоящий. Машинист тоже был красивым и могучим.

«Гидростроители». По плотине шли строители, все могучие и белозубые и нечеловечески железобетонные.

Двери в коридор полуотворены, и ни звука не слышно.

Красиво освещенные сталевары — опять могучие, улыбочивые и опять не люди, а тупые роботы, — сколько таких бездушных картин видел он — в гостиницах и домах отдыха, в фойе кино.

— Невероятно, — говорил Крылов. — Неужели вы сами все это придумали?

— Ну и послал мне бог... — говорил Романов. — Это ж с натуры. И плотина с натуры.

— ...Важно установить равновесие между формой и цветом, — зевая, говорил Романов. — Вот как здесь, оптимистическое соотношение...

— Совершенно правильно, — говорил Крылов, — каждая форма имеет свой цвет, каждый цвет имеет форму.

Какое-то подобие усмешки оживило лицо Романова.

— Бесподобно. Если бы чужие глупости могли бы делать нас умнее, я беседовал бы с вами каждый день.

Его картины нельзя было назвать раскрашенной фотографией. Это были картины-«верняк», холодные, скучные и в то же время неуязвимо отработанные.

Крылов ждал. Чего терять, когда нечего терять. А вообще-то ситуация — не придумаешь. Важно протянуть время. Не может быть, чтобы она не слыхала его голоса.

Романов прислонил к мольберту большое полотно, изображающее часть огромного цеха. Над разметочной плитой склонилось несколько человек, рассматривая чертежи. В центре группы стоял осанистый патриарх, солнце красиво серебрило его длинные седые волосы, прикрытые

черной ермолкой. Серые массы металла, фермы мостового крана, косые снопы солнца, театрально пронизывающие дымный воздух. Каждая фигура исполняла свою роль: один улыбался, другой спорил, третий напряженно думал. Все было правильно, но было непонятно, для кого это все нарисовано, зачем потрачено столько времени и красок. Это была одна из тех картин, которые хвалят за тему, но никто не испытывает ни волнения, ни удовольствия, ни открытия. Лучше уж плакат, там хоть ясно, к чему он призывает. Крылов вспомнил, как однажды на завод к ним приехал фотограф из «Смены». Он долго расставлял вокруг станка членов бригады, придумывал каждому позу, поправлял воротнички, а потом попросил: «Пожалуйста, разговаривайте, держитесь свободно, но только ни в коем случае не двигайтесь».

И здесь этим ребятам приказано не двигаться, думал Крылов. Хорошо бы разобрать эту картину по косточкам, высмеять Романова, но ему было некогда, внутри у него все было обращено в слух и ожидание. Каждую минуту могла отвориться дверь и войти Наташа. Хоть бы где-нибудь хлопнула дверь.

— Плохо, что я не специалист, — сказал Крылов.

— Оно заметно. Впрочем, профан — это тоже любопытно. Не мешает послушать. Понятно вам, например, кто такие эти люди?

— О да! — сказал Крылов. — Вот, очевидно, мастер. У него из кармана торчит штангенциркуль.

— Правильно, — чуть насмешливо поощрил Романов.

Крылов внимательно посмотрел на него.

— Чудная деталь, находка, — продолжал он, наблюдая за Романовым. — А посередине, наверное, академик. Все академики носят ермолки. Может быть, конечно, он член-корреспондент, но слишком много седины у него для члена-корреспондента.

— Разобрались. Картина выражена в жизнеутверждающей серебристой гамме. Запомнили?
— Романов усмехнулся мрачно и лениво, и Крылов вдруг подумал, что Романов считает его за идиота.

— Мне кажется, что все это уже было.

— То есть?

— Такое впечатление, будто вы все время подлаживаетесь под нужную тему.

— Ваши впечатления оставьте при себе. Тема! Сюжет! Так нельзя подходить к живописи. Кстати, подобный сюжет — бригада содружества в цеху — никто еще не воплощал на большое полотно. Мало ли что было, сколько было снятий с креста, все равно классики продолжали писать. Божья мать с младенцем... Есть сотни шедевров. Ну и что из этого?..
— Романов не защищался, а поучал лениво и небрежно. — Все дело, мой дорогой, в том, как написано.

— Вот именно! Тут спекулировать... нехорошо.

Романов, словно просыпаясь, медленно поднял брови, синеватые обводы под его глазами походили на грим.

— Что вы хотите сказать?

— Неужели не понимаете? — слегка краснея, спросил Крылов.

Вместо торжества он испытывал обиду. Ничто не вызывало у него такой злости, как работа, сделанная зря.

Ему стало стыдно за Романова, за эти никому не нужные, халтурные картины, которые могут еще долго лежать здесь без всякого ущерба для людей. Вот он, Крылов, ушел из института, но его исследование продолжает Песецкий; не будет Песецкого — все равно кто-то третий кончит их работу, потому что она необходима людям. Он мысленно благодарил свою специальность. Ставя опыт, он никогда не думал, понравятся ли результаты опыта Голицыну или нет, его интересовала истина, а не мнение. Мнение подчинялось истине.

— А все же? — спросил Романов.

— У вас раскрашенная схема, — неохотно сказал Крылов, — безликие автоматы.

— Ух ты, какая прыть! Значит, у вас есть свое мнение? Ай да герой!

— Оставьте ваш тон. Я не знаю, за кого вы меня принимаете...

— За невежду! — спокойно прервал его Романов. — За кого ж еще? Ну как вы можете судить о живописи? Что вы понимаете в светотени; в фактуре мазка, в ритме цветов... — Он почесал ногу. Если он и защищал свои картины, то не потому, что считал их хорошими, а потому, что никто, кроме него самого, не мог судить их.

— Умников развелось. Но меня достаточно знают. Полюбуйтесь в «Красном знамени», как написано про это «Содружество». А как Голощекин расценил «Гидростроителей». — Он швырял Крылову пачки газет, журналов, альбомы с подклеенными рецензиями, каталоги выставок.

— Вот репродукции, вот еще. Значит, хорош я был? Всех устраивал! А что изменилось? Что я, хуже стал писать? Чего вам всем от меня надо? — Какое-то накопленное раздражение прорвалось в нем. — То не так, это не так. Никто толком ничего указать не может.

Ишь ты, привык, удивился про себя Крылов, это можно, это нельзя.

Он хотел сказать об этом Романову, но позабыл, вдруг увидев среди вороха бумаг несколько старых рисунков и акварелей. Как будто они были сделаны другим художником — ни на кого не похожим, дерзко беззаботным, — костры у реки, беспризорники слушают чекиста, буденновцы с шашками, красногвардейцы на ночных улицах, длинноногие мальчишки, бегущие к самолету.

— Это баловство, молодость. — Романов отобрал рисунки сердито, но голос его дрогнул теплом.

Ага, значит, что-то было, подумал Крылов. На что-то он был способен. А затем торопливость — еще слава, деньги... Нет, раз слаб — значит, не талант. Талант — это всегда сила. Бьют, расшибешься, а все равно идешь, и ползешь, и делаешь свое дело.

В черной щели приоткрытой двери что-то блеснуло.

— Послушайте, — сказал Крылов, — там кто-то ходит.

Романов вздрогнул. Они прислушались.

— Глупости, — сказал Романов. — Там никого нет. Это кошка.

— Кошка? Да, конечно, мне показалось. — Крылов поднялся. — Простите, я пойду.

— Э-э, нет, как же так, мы не договорили. Вы что ж, отказываетесь приобретать?.. На это, допустим, я чихать хотел, но вы объяснитесь. Мне любопытно, — деланная усмешка дергала его запекшиеся губы, — по-вашему, я кто — халтурщик? Модернист? Раскрашенный чертеж — как понимать? Ругань? Ругань не доказательство. Нагадили — и бежать. Ай-яй-яй, не интеллигентно.

— Вы пишете портреты людей, которых вы не любите, — сказал Крылов. — У вас нет к ним чувства, поэтому и у меня не возникает к ним чувства. Вы маскируетесь под искренность. Но сейчас труднее спрятаться. Сейчас любая фальшь проступает как никогда раньше. Для вас эти рабочие — не люди. Модная тема. Расчет, арифметика...

Романов слушал его, полузакрыв глаза, чуть отвернув голову.

— Да, расчет! Я пишу для народа. Вот именно — для народа, — оживленно повторил Романов. — Народу попроще нужно.

Эта фраза взбесила Крылова.

— Что такое народ? Я кто, по-вашему? Я что, не народ? Снисходите до народа?

— Ну ладно, не орите, — нетерпеливо оборвал его Романов. — Вы продолжайте. Чего вы требуете от картины?

— Картина — это... — Крылов запнулся. — Это как открытие, изобретение, там же нельзя повторять! Черт с ней, с гаммой. Было у вас, чтобы вы как для себя... Вы можете сейчас вот так? — и он показал на отложенные рисунки.

Романов словно очнулся. Лицо его болезненно исказилось.

— Но это же глупость! — закричал он. — Для себя. Смешно слушать. — Он театрально воздел руки. — Кому нужны мои переживания? Сколько они стоят? Вы как живете, жалованье получаете? Вот вы и чирикаете. А у меня семья. То есть... Черт с ней. Не в этом дело. На кой шут мне рисковать? Писать для себя? Нет, мне некогда дурака валять. Я работаю для потребителя.

Его словно прорвало. Он схватил Крылова за плечи и говорил, говорил, дыша в лицо винным перегаром. Мутные, словно запотевшие глаза смотрели невидящим взглядом. Вдруг он отошел, помолчав, неуверенно спросил:

— Вы что ж, считаете, что я больше не способен? Пожалуйста, можете начистоту. Надо хоть раз... Поскольку уж мне попался такой правдолюбец. Не бойтесь, не пожалуюсь. Черт с ним, с вашим Дворцом культуры.

— При чем тут Дворец культуры, — с досадой сказал Крылов. Пора было кончать эту затянувшуюся дурацкую историю. — Я не из Дворца культуры.

— Да, действительно, ни при чем. Нет, погодите. Сперва выпьем.

Романов подбежал к столику, ловко разлил коньяк по стаканам.

— Коньяк отличный. А закуски нет. Разве пирожки вчерашние. Впал в полное ничтожество по случаю семейных конфликтов. Небось слышали?

Он стоял спиной к Крылову. Под голубой пижамой в синюю блестящую полоску ходили округлые лопатки. И вся спина была большой, круглой, блестящей.

— Как? Нет, не слышал.

В нем все замерло в ожидании. Романов обернулся, протянул стакан. Крылов выпил, быстро, жадно, как воду. Он мог сейчас пить сколько угодно.

— Нет, ничего не слышал, — повторил он. Если бы он умел быть хитрым и осторожным!

Романов, прищурясь, рассматривал коньяк на свет.

— Алкоголь — по-арабски порошок. По-нашему — от слова «алкать». Все сходится. — Он выпил, вытер рот, заходил по комнате.

— Вы про меня хлестко... Такое редко. Но, к вашему сведению, я сам куда крепче могу, я ведь все понимаю. Вот в чем ужас. — Он говорил невнятно, занятый какой-то своей мыслью. — Когда-нибудь, когда-нибудь... И так всю жизнь. Вроде не с кем бороться. Иногда только... Вы как меня представляете? Способен я или нет? — Он спросил вдруг ясно, в упор. Правда, тут же попробовал иронически хмыкнуть, но сорвался и замер.

— Вы сами виноваты, — с неожиданным для себя сочувствием сказал Крылов. — Бывает, что человек боится, ничего не сделав, чувствует себя побежденным не потому, что рисковал, а потому, что отказался от риска. Вы попробуйте.

Романов, шлепая босыми ногами, забегал по комнате.

— Откуда вы знаете? Может, я уже пробовал. Никто ничего не знает. Самые близкие люди живут на космических расстояниях. Хотите, я вам покажу?

— Что?

— Так, ерунда, для себя. — От его равнодушия, ленивой неуязвимости не осталось и следа. Боком он пробрался в угол к мольберту, завешенному серой тряпкой.

— Вот она, тут, — пробормотал он и, умоляюще посмотрев на Крылова, снял тряпку.

Крылов шагнул вперед. Потом он отступил и, пятясь назад, поискал стул. Не найдя его, остановился.

Из грубо отмалеванной синюю глубины на него смотрела Наташа. Огромные глаза ее с недоумением глядели на Крылова, не понимая, зачем он здесь. Он ясно видел, что она думает о нем. Знакомый серый свитер был голубым, но все равно он был серым, и темные губы... Одной рукой она крепко сжимала плечи мальчика, приткнувшегося к ее коленям. Рука была неестественно длинной, и глаза невероятно велики, — он не сразу заметил нарушенные пропорции.

И тотчас раздался настороженный голос Романова:

— Как вы сказали?

Крылов с трудом повернулся к нему. И вдруг впервые Наташа совместилась с этим рослым, красивым мужчиной, хозяином этой квартиры. Они живут здесь вместе. Она моет эти тарелки. Блестящая в полоску пижама. Мягкие курчавые волосы. И волосы на груди. И рыжеватая щетина вокруг слабых губ. Но если он мог написать ее так, значит, он любит ее.

Крылов отвернулся, но Романов, как нарочно, заглядывал в лицо.

— Неужели так действует? Ну, что вы теперь... Могу я? А я сам знаю, что могу. Но ведь могу, верно? — Лихорадочное возбуждение носило его по мастерской, то он принимался хвастаться, то путался и заискивающе, почти любовно трогал Крылова за руку.

Было противно и стыдно. Надо было уйти. Но он не в силах был двинуться. Он понятия не имел, хорошая это картина или плохая. Наверное, хорошая, хотя низ не дописан и рисунок внизу беспомощный, какая-то каша... Он почувствовал, как Романов нетерпеливо тербит его.

Ему хотелось выгнать его, остаться одному, что-то обдумать. Свиделись! Не надо было ехать сюда. Вся затея от начала до конца была бессмысленной.

— Да, это она, — глухо и твердо сказал Крылов. — Теперь я понимаю...

Романов благодарно стиснул его руку.

— Я вам первому показал. А как фон? Хорош? Неумолимый цвет, — он бормотал, как одержимый. — А лоб? Одним махом. Весь смак в этом сочетании. Рука, какая у нее рука. В глаза я еще дам красным. А рука не смущает? Только бы кончить. Я еще задумал. Я много задумал...

Тонкие, грязные пальцы его бегали по холсту, трогали живот, ноги Наташи. Объясняя, что и как будет дописано, он схватил кисть, тубик с краской.

— Не трогайте, — сказал Крылов.

Романов посмотрел на него, как глухой, кисть выпала, он растопырил пальцы и уставился на них.

— Дрожат, — тихо сказал он. — Уже неделю не могу работать. Дрожат. И не в состоянии...

— Вам не надо пить.

Романов покачал головой.

— Не из-за этого. Боюсь. А вдруг обругают? Обвинят. Я сам хуже всякой критики. Привык. Все заранее прикидывал — кто что может сказать. Вероятно, и не скажут, а я все равно боюсь. Боюсь — это от слова «страх». Главное — уравновесить, привести в ажур. И сейчас хочу уравновесить — нет, не получается, знаю. Думаете, я не вижу, что уже порчу? Когда она ушла от меня, я с горя как начал этот портрет по памяти, без оглядки, словно прорвало, а потом опомнился, и вот сколько...

— Она ушла? Как ушла?

— Ушла. Сына взяла. И вот сколько я... — Романов остановился, подозрительно вглядываясь в Крылова, как будто кто-то стер мутную пленку с его глаз. Щеки его медленно втягивались, из стиснутого в руке тубика выдавливалась краска. Веселый ярко-желтый червячок выползал, удлинялся и, покачавшись, смачно шлепнулся на пол.

— Так это вы?

Крылов кивнул.

Словно защищаясь, Романов швырнул в Крылова тубик, не попал, схватил табурет, Крылов не шевельнулся. Романов повертел табурет, зажмурился и бросил. Табурет больно ударил Крылова в коленку.

Затем Романов сел на кушетку, стиснул виски, закачался взад-вперед. Все это напомнило дурную пьесу. Интересно, как они выкарабкаются из этой пошлятины, подумал Крылов. Ситуация! А черт с ним, лишь бы узнать, где Наташа.

— Вот и познакомились, — сказал Крылов.

Романов поднял голову.

— Простите. Нервы и прочее. — Он повертел пустую бутылку. — Я думал, вы из Дворца культуры. Очень смешно.

— Я вам говорил, — сказал Крылов, — вы не слушали.

Романов передернулся.

— Аа-а, так даже интереснее. Значит, вот вы какой. — Ухмыляясь, он оглядел Крылова. — И что это она в вас нашла? Физиономия у вас примитивная. Ситчик в горошек. Не удивительно, что я вас за администратора... Ситуация.

Так неожиданно было, что Романов произнес то же самое слово, что Крылов чуть не рассмеялся. Это слово чем-то объединило их.

— Вы чего приехали? Раздел имущества? — Романов изо всех сил иронизировал.

— Куда она уехала?

— Вы не знаете? Великолепно! — Романов развалился на кушетке, забросил ногу на ногу. — Я вас приветствую. Значит, у нее кто-то третий. Брошенный муж — жалкое зрелище, не правда ли? Я из-за нее работать не могу. От вас никогда не уходила женщина? Отвратительная штука. — Он старался изобразить циника и не мог. — Но я работать не могу, а без работы я пропал. Стерва. Вышибла подпору, — застонал, раскачиваясь из стороны в сторону. — Что мне делать, Крылов, посоветуйте. Видите, мне несколько не стыдно. Вы ведь умный. Семья разрушена. С вас все началось. Вы ей наговорили, натрясли свою труху ученую. Знали, что она замужем, что у нее сын, неужто не стыдно? Подлость такое называется. Подлец вы!

«Чего ж стыдного — любить стыдно?» — подумал Крылов. От ругательств становилось тоскливо. Почему они должны ненавидеть друг друга? — спрашивал себя Крылов. Два человека разговаривали, спорили о картинах, потом узнали, что любят одну и ту же женщину, и с этой минуты должны стать врагами! Обязаны. Сами себя заставляют. Как будто вражда поможет кому-нибудь из них.

— ...Она вернется, вернется, — иступленно твердил Романов. — Не останется она с вами. Разве мы плохо жили? Квартира новая. Помогите мне, для вас это что — эпизод...

Эпизод... Боже ты мой, как точно он попал, ведь тогда казалось, что это всего лишь эпизод. Почему бы не поухаживать. Все было так красиво, сплошная лирика. Но в глубине души он не верил своим чувствам, не верил ни себе, ни ей.

— ...Ну согласен, вы любите, — испуганно поправился Романов, — но для меня тут вся жизнь. Работать не могу без нее. На улицу не хочу выходить. На солнце смотреть противно. Все противно. — Он закрыл лицо руками и заплакал.

Крылов отошел к окну.

«И я не могу без нее, и он не может без нее. Хороший художник или плохой — при чем тут это? Ему, пожалуй, хуже, у меня хоть есть работа».

Нога болела, Крылов незаметно ощупал колено, присел на стул. Романов торопливо утерся рукавом, подбежал к нему:

— Поезжайте к ней, уговорите ее вернуться. А? Она вас послушает. Любые ее условия приму. Помогите, миленький, вы один можете помочь.

Крылов отвернулся.

— Глупо, что я вас прошу? Я сам знаю, глупо и мерзко. Но мне все равно. Я сейчас на все согласен.

— Хорошо, — сказал Крылов, — дайте ее адрес.

— Сейчас, сейчас, — заторопился Романов. — Вы обещаете? Честное слово? Хотите, я вам подарю любую картину. Просто так, на память. Вы не обижайтесь, не в уплату...

Он поспешно натягивал носки, искал туфли, предлагал поехать куда-то обедать, посмотреть город.

— Ах да, я забыл, — вдруг воскликнул он, — вам же мои картины не нравятся. Значит, это перед вами я откровенничал? Боже мой, срам-то какой, в одном исподнем. Ну, теперь-то я могу вас спросить. Уловил я в ней характер? — Не глядя, он засовывал ногу в туфлю и все никак не мог попасть. — А может, и хорошо, что вы пришли. Я убедился. Важно, что я могу...

— Мне некогда, — сказал Крылов. — Дайте ее адрес, я пойду.

— Как хотите, как скажете, — послушно согласился Романов. — Раз она не у вас... Странно, странно. — Он посплюнвил кончик шнурка и задумался. — Женщина не уходит в пустоту, женщина уходит от одного к другому. Наташа, та, конечно... Вероятно, она поехала... — Он снова остановился, уставился на Крылова. — Как вы смотрите на нее! Ведь вы приехали сюда... — Он отшвырнул ботинок. — Ох, какой я болван! Вы приехали увезти ее! И я, дурак, хотел довериться вам! Нет, дудки! — торжествуя, он потер руки.

Крылов вышел в коридор. Блеснули плоские зеленые огни кошки. Он попробовал открыть дверь, никак не мог нащупать крючок. Романов стоял сзади, и Крылов чувствовал затылком его дыхание.

На площадке Романов вдруг крепко ухватил его за пиджак, губы его прыгали, весь он кривлялся.

— Продать портрет? Уступлю по дешевке. За пол-литра, без запроса. Как отдать! Свадебный подарок.

Никогда позже Крылов не мог понять, откуда взялись у него силы, он был куда слабее Романова, но в эту минуту он так сдавил кисти его рук, что пальцы Романова побелели и разжались.

Ноги у Крылова дрожали, он спускался по лестнице, держась за перила. Он заставил себя пройти двор и улицу и только на площади остановился, прислонясь к газетному киоску.

Крылов сошел на кольцо и долго стоял неподвижно. В руке он держал коробку с тортом, который купил для Антоновых. Коробка помялась, и на картонной стенке расплылось жирное кофейное пятно.

Пышные купы акаций заслонили антоновский домик. Сперва показался железный петух на коньке крыши. Когда-то, приехав сюда еще молодым парнем, Антонов смастерил этого петуха, и с тех пор петух вертелся, храбро выпятив ржавую грудь, словно командуя всеми ветрами.

Затем показался сарай. Зимой на розовом шифере крыши лежал блин снега. Мартовское солнце съедало его, и Крылов из окна наблюдал, как снег на сарае съезживается. Шутки ради он исследовал зависимость скорости таяния от загрязнения снега. Недавно, к его удивлению, этой работой заинтересовались агрофизики.

В стороне, на зеленой поляне, чисто и радостно светились белые будки метеостанции. Антонов улыбнется, прикрыв ладошкой щербатые зубы, жена его заахает, примется накрывать на стол.

Он тихо отворил калитку. Во дворе незнакомая девушка снимала с веревки белье.

— Антоновы? — переспросила она. — Они давно здесь не живут.

— Давно?..

— Месяца четыре, наверное. — Для нее это было давно.

— Где они?

— Где-то возле Бийска. Там, кажется, родные его жены. Адрес они оставили. Вы им родственник?

— Я тут работал зимой. Моя фамилия Крылов. — Он смотрел на нее с неясной надеждой.

— Меня звать Валерия. — Она кокетливо блеснула металлическими зубами. — Меня сюда из Москвы направили. Конечно, после Москвы здесь провинция.

Окно было раскрыто. На месте кушетки стоял канцелярский письменный стол с машинкой, накрытой футляром. Стены голубели новенькими обоями. Не было плюшевого желтого кресла. Наташа любила сидеть на нем, поджав ноги. Не было круглого зеркала в дубовой раме. Из кухни доносился детский смех. Никто не знал о тех, чья жизнь прошла здесь. Никто о них не вспоминал, никому не было до них дела. Дом не хранил воспоминаний. С предательским радушием он служил новым жильцам.

— А кроме адреса, Антоновы ничего не оставляли? — спросил он.

Валерия недоуменно уставилась на него.

Он дошел до калитки, потом вернулся, протянул девушке коробку с тортом.

— Возьмите, пожалуйста. Вы любите сладкое?

Голые руки ее растерянно прижали к груди охапку белья. Большеносое лицо в клубке черных жестких волос стало мучительно некрасивым, она быстро коснулась его руки.

— Но ведь вы... Хотите чаю?

— Что вы, — сказал Крылов. — Не беспокойтесь. Это трюфельный торт. Вам понравится.

Между березовой рощей и лесом когда-то была поляна. Там они лепили снежную бабу и по лыжне спускались в низину к санной дороге.

Он с трудом разыскал эту поляну. Высокий шиповник горел алыми цветами. Тени птиц неслись по траве.

Ветер плескал отблесками листвы. В новом зелено-солнечном мире казалась невероятной снежная тишина и узкая лыжня между белыми сугробами.

Чудак, он думал, что время существует только для него, а оно существовало и для Антоновых, и для этого леса, и для Наташи. Ему казалось, что он найдет неизменным все, что оставил, как в сказке о Спящем королевстве.

Пересвистывались птицы. Шурша, осыпалась сухая хвоя. Крылов вслушивался, и было страшновато, как будто он различал воровские убегающие шаги Времени.

Никакие теории относительности, и системы координат, и понятия дискретного времени, и новейшие физические гипотезы не могли помочь ему, все оказывалось бессильным перед этим простейшим временем, отсчитываемым ходиками, листками календаря, закатами, — неумолимым, первобытным временем.

Он вышел к озеру. Песчаные отмели шумели, ворочались сотнями человеческих тел. Со стуком взлетали мячи. Там, где у дымной полыньи когда-то чернела фигура Наташи, скользили лакированные байдарки и мокрые весла вспыхивали на солнце. Из воды в крутых масках высывались марсианские морды ныряльщиков.

Холодное и ясное отчаяние охватило Крылова. Наконец-то он понял, что никогда, никогда не удастся вернуться в ту зиму. Никакая машина времени не властна над прошлым. Перенестись в будущее — пожалуйста, но ему не нужно было будущего, он искал прошлое.

— Товарищ Крылов! — Из воды, рассыпая брызги, бежала Валерия. — Товарищ Крылов! — Она остановилась перед ним. Ее плечи блестели от воды. Крылов молчал. Валерия подошла к нему вплотную. — Хорошо, что я вас увидела. — Она пристально, без улыбки смотрела ему в глаза. — Вы тут один? Пойдемте, я вас познакомлю с нашими.

Она потянула его за рукав. Под жидкой тенью полосатого тента Крылов уселся на песок рядом с толстым мужчиной и загорелой блондинкой, игравшими в карты.

Крылов снял пиджак, лег на горячий песок. Блондинка повернулась к нему, заслонив озеро.

— Будете в дурака? — спросил толстый.

— Идиоту в дурака нет смысла, — сказал Крылов.

— Это что, намек? Намек-наскок?

— Нет, — усмехнулся Крылов. — Признание.

— Перестаньте хвастаться, — сказала блондинка. — Знаете анекдот про еврея на пляже?

Валерия беспокойно посмотрела на Крылова и стала одеваться.

— Вы еще застали здесь Антоновых? — спросил Крылов.

— Они уже собирались уезжать, — сказала Валерия.

— А вы не знаете, приходила к ним такая Романова? — Он с трудом произнес ее фамилию.

— Наташа? — оживилась блондинка.

— Да.

— Так она тоже уехала.

— С ними?

— Что вы, ее увез один научный работник, он тут жил зимой. У них такой роман был!

— Роман-шарман, наверное, сама к нему уехала, — сказал толстяк.

— Ничего подобного, — горячо сказала блондинка, — мне рассказывали, как все было. Он приехал за ней на машине, подстерег возле ее дома, когда она с ребенком шла, посадил и увез, она домой даже не зашла.

— Так не бывает, — сказал толстяк. — Небось расчет она оформила. В наше время без отдела кадров не похитишь. Всякие бумажки-шмажки.

— Он приехал на черной «Волге», — сказала Валерия.

— У них был сумасшедший роман, — сказала блондинка. — Он хоть и ученый, а поступил как настоящий мужчина.

— Чего ж он зимой сразу не увез ее? — недоверчиво спросил толстяк.

«Почему я сразу не увез ее? — подумал Крылов. — Как же это так? Сел в поезд и уехал. О чем же ты тогда думал? Да ни о чем. Совсем ни о чем. Про свои паршивые графики ты думал. Про то, что потом когда-нибудь ты приедешь. И этого ничего ты не думал. Как же это могло быть? Сел в поезд, а она осталась...»

— Они проверяли свои чувства, — сказала блондинка.

Но ведь он же писал ей. Почему она не отвечала, ни разу не ответила? А последнее письмо вернулось невостребованным.

— Вы ее знали? — спросила Валерия.

— Я понятия не имел... То есть, конечно, я знал.

— Что ж она, такая красивая?

— Да, очень.

Они с интересом посмотрели на него.

— А может, и не очень, — поправился он. — Я ничего не знаю.

— Господи, какое у вас лицо, — сказала блондинка. Она шлепнула Валерию по спине. — А твой тебя не собирался увезти? У нее тоже принц объявился. Торт преподнес.

— Угощай, — сказал толстяк. — При такой жаре скиснут твои тортики-шмортики.

Валерия засмеялась и умоляюще посмотрела на Крылова.

— Мне пора, — сказал он. Поднялся. Отряхнул брюки. Попрощался.

Валерия догнала его.

— Простите меня, — сказала она.

Мокрые волосы облепили ее маленькую голову. Толстяк и блондинка издали смотрели на них.

Крылов взял руку Валерии и неловко поцеловал.

Пляж кончился. Потянулись пустынные берега рыбачьего поселка. На полях сушились сети. Лежали перевернутые баркасы. Пахло смолой и рыбьей гнилью. Крылов по привычке свернул на тропку вверх, мимо коптильни, мимо амбаров, к синему домику буфета.

Он знал, что ему не следует заходить в буфет, он даже обогнул его, но потом вернулся и, постояв минуту, толкнул синюю фанерную дверь.

Столик у окна был свободен. Он сел на свое место, так, чтобы видеть озеро. «Подзаправимся?» — спросил он. Наташа не ответила. Он смотрел на стул, пытаясь представить, как она сидит перед ним, потирая холодные щеки. Стул был пуст. Она обманула его. Он ехал к ней, а она обманула его.

...Они вернулись с обхода. Наташа стащила мокрые ботинки, достала из чемоданчика тапочки, выложила на стол несколько мандаринов.

— Это еще зачем? — строго спросил он.

Она вспыхнула, придвинула мандарины к себе, и ему стало стыдно.

Они сверяли записи, сводили в таблицы, это было на третий день их работы, и Крылова удивило, как быстро она уловила смысл измерений и действовала, уже ни о чем не спрашивая.

— У вас отличные способности, — сказал он.

Она посмотрела на него недоверчиво, почти испуганно. Но назавтра, закончив вычисления, она вдруг рассмеялась.

— Выходит, я сама могу, — сказала она изумленно.

По утрам, приехав из города, она была какой-то сжатой, замкнутой и только к середине дня словно оттаивала. Особенно в лесу, когда они шли на лыжах, она оживлялась. Она ходила на лыжах девчонкой и с тех пор ни разу.

— А с мужем почему не ходите? — как-то спросил Крылов.

Она смутилась и сказала, что муж слишком занят.

Она вообще, избегала говорить о муже и о себе, только однажды, когда на озере она провалилась в прорубь и он притащил ее к Антоновым, и растирал, и напоил водкой, она, лежа под одеялами, словно сквозь сон, спросила:

— Какой я вам кажусь?

Потом он понял, что значит этот вопрос. В семье она был старшей и с детства нянчилась с маленькими, и хотелось поскорее освободиться, стать самостоятельной. Вышла замуж, появился ребенок, и опять было не до себя. А в техникуме ее считали способной. Муж ее был

довольно известный художник, и рядом с ним ее надежды выглядели мелкими, смешными. Она старалась помогать и не мешать. Она научилась быть незаметной. Это она умела в совершенстве. Иногда она даже не могла представить, а какой же она видится со стороны окружающим. Ей казалось, что она куда-то пропала, ее нет, кто-то вместо нее ходит, говорит, а ее самой не существует.

Она была высокая, с движениями медленными, почти ленивыми, и волосы у нее были тоже ленивые, гладкие, но Крылову она казалась маленькой, и он чувствовал себя с ней старшим, это было непривычно и нравилось. И, как с детьми, с ней надо было быть осторожным, чуть что — испуганно пряталась, застывала в молчании. Она была как эти мартовские хрупкие дни с пугливым солнцем.

Ровно в шесть она сложила таблицы, надела ботинки, собираясь на автобус.

— Можно, я оставлю тапочки, чтобы не таскать?

— Пожалуйста, — сказал Крылов.

Поздно вечером, укладываясь спать, он увидел в углу эти тапочки — маленькие спортивные хранили форму ее ноги. И кажется, тогда впервые ему захотелось, чтобы скорее наступило утро и он снова увидел бы ее.

Крылов заказал винегрет, сосиски и пиво, покосился на буфетчицу. Вероятно, она не узнала его. Волосы ее были уже не желтые, а темно-рыжие.

Все придумано. Легенда о том, как ее увезли, и то, что он сам навоображал себе. В сущности, если разобраться, то, наверное, вообще ничего не было, а если и было, то давно кончилось. Никогда не следует возвращаться туда, где был счастливым.

Имея даже четверку по диамату, следовало бы усвоить, что нельзя дважды войти в один и тот же поток.

Он смотрел на песчаный берег, где лежали смоляные туши перевернутых лодок, и ничто не трогало его, все оставалось безразлично чужим. Винегрет был невкусным, сосиски холодные, удивительно, почему он так боялся зайти в буфет.

Старый дымно-серый кот с черной метинкой на лбу вежливо потерся о ногу. Крылов взял с тарелки соленый огурец.

— Когда-то ты ел огурцы, — сказал он. — Но, может быть, и этого не было.

Кот понюхал и деликатно куснул огурец.

Буфетчица засмеялась.

— Вы к нам опять работать? — спросила она.

— Нет, проездом.

— Пашка, стервец, ведь узнал вас. Ишь, как ластится.

Она открыла бутылку, поставила на стол. Кот поднял хвост, мяукнул.

— Это его Наташа приспособила огурцы жрать, — сказала буфетчица.

«А вдруг все это было? — подумал Крылов. — Почему она ушла от мужа?»

— Ну как вы живете-можете? — спросила буфетчица.

— Замечательно, — сказал Крылов. — Чудесно живу.

— А она не приехала? Чего ж вы ее с собой не взяли? Ну, я понимаю, ей сюда сейчас неохота. Она небось от счастья все позабыла. Шутка ли, как она тут маялась без вас. Она вам рассказывала?

— Нет, — сказал Крылов. — Ничего не говорила.

— И мне тоже. Придет, посидит, Пашку погладит.

За соседним столиком потребовали колбасы.

— Сейчас, — сказала буфетчица, — мне не разорваться.

Он сидел, слышал, как лопаются пузырьки в стакане с пивом.

Буфетчица вернулась.

— Вы еще зайдете?

— Нет, — сказал он, — сегодня уеду.

— Привет ей передавайте.

— Я далеко уезжаю, — вдруг сказал он и удивился, услышав от себя решение. — В экспедицию.

— Что это вроде вы невеселый какой?

— Да нет. Пиво у вас отличное. Я был рад вас повидать. — Он нагнулся, потрепал кота. — Ну, будь здоров, Пашка.

Он допил пиво и рассчитался.

— Спасибо вам, до свидания.

— Приезжайте вместе зимой, — нерешительно сказала буфетчица.

— Может быть. Может быть.

Ему еще хотелось выпить пива. Всю дорогу он ощущал сухость во рту.

Через все небо размахнулся белый пушистый след реактивного самолета. Крылов шел и смотрел на тающий росчерк.

Обратно он ехал на электричке. Стоял в тамбуре, белый бурун в синем небе давно растаял, но Крылову казалось, что он все еще видит его.

Если она спустя несколько месяцев решила на такое, значит, она действительно любила, с самого начала она любила его. Он вспомнил свои письма, и сейчас они показались ему отвратительными. Пустые, холодные, обо всем, что угодно, и ни о чем, потому что там не было единственного простого — он не звал ее. Ну конечно, он считал, что в любую минуту может приехать. А когда последнее письмо вернулось не востребованным, тогда вот началось. Тогда он стал наконец думать. Тогда целыми днями сквозь все он думал и

вспоминал. Видел автобус и думал о ней. Пил воду и думал о ней. И не то чтобы думал, а просто представлял ее губы и твердил ее имя.

Московский поезд уходил вечером, тот же поезд, с той же платформы. Крылов зашел в вагон и стал у окна. Провожающие. Отъезжающие. Чемоданы. У каждого вагона прощаются.

Поезд тронулся легким толчком, без гудка. Давно уже нет гудков, поезда трогаются незаметно, только легкий толчок. И вдруг к нему отчетливо вернулся тот миг — соскочить, подбежать к ней, остаться, плюнув на все и на всех, ему казалось, что тогда он хотел это сделать. Он знал, что надо соскочить, и продолжал стоять.

Редели прореженные сумерками огни. Их становилось все меньше и меньше. Почему-то вспомнилось детство, лагерь, как вечером строились на линейку. Спуск флага. И горн. Он вспомнил кисловатый металлический вкус мундштука...

Он прошел в свое купе, достал из кармана «Огонек» и стал читать рассказ. Прочитав, он начал сначала, шепча каждое слово, как читают полуграмотные.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Под конец третьего курса Сергея Крылова исключили из института. Приказ гласил: «За систематический пропуск лекций».

Дирекция вначале сформулировала жестче: «За недостойное поведение», позже благодаря Олегу Тулину формулировку смягчили.

На лекции по оптике Крылов разглядывал потолок. Он ничего не записывал, он смотрел на потолок, где отражалась солнечная зыбь листвы. Преподаватель прервал лекцию и спросил, не мешает ли он Крылову. Крылов встал и сказал, что не мешает. Аудитория смеялась. Лекция была скучная, и пятьдесят человек охотно смеялись. Будь доцент постарше, он смеялся бы со всеми, но доцент, стукнув ладонью по кафедре, покраснел и сказал, что если Крылову известен материал, то вряд ли ему стоит сидеть на лекции.

Крылов отнесся к его словам с полной серьезностью, он подумал и сказал, что лекция его действительно не интересуется, поскольку весь материал точно так же изложен в учебнике, проще прочесть учебник и сдать по нему экзамен.

Доцент сказал: «Ну что ж, попробуйте».

Крылов перестал посещать лекции и начал ходить к математикам, слушать курс теории вероятностей. Его несколько раз предупреждали, но он недоуменно округлял свои голубые глаза — почему так нельзя? Его наивность походила на насмешку и могла взбесить кого угодно. Через месяц его исключили.

Олег Тулин, в то время секретарь комсомольской организации факультета, уговорил Крылова пойти к декану просить, обещать, он готов был пойти вместе с ним. Крылов отказался. К факту исключения он отнесся равнодушно. Ему было лишь неудобно перед Тулиным.

Трудно теперь, после стольких лет, разобраться, как возникла их дружба. Со стороны

Крылова это началось с поклонения таланту Тулина, а у Тулина — как потребность опекать, помогать и, может быть, служить объектом поклонения. А кроме того, ни у одного из них не было братьев.

На втором курсе они вместе делали лабораторные работы по электрическому разряду.

— Давай поставим электроды под углом, — предложил Тулин.

Им было скучно выполнять то же самое, что делали на соседних столах, и то, что делали здесь из года в год поколения второкурсников. Они поставили электроды под углом, кроме того, они обмакнули их в чернила. Результаты получились странные, не сходящиеся с формулой. Преподаватель сказал, что, очевидно, для таких условий формула неверна. Он не видел в этом ничего особенного, но Крылов и Тулин были потрясены. Впервые они столкнулись с тем, что формула, напечатанная в книге, может быть неточной.

По вечерам они оставались в лаборатории, и Тулин придумывал самые фантастические условия разряда. Они погружали разрядники в снег, в молоко, в водяные пары, пока, наконец, это не кончилось взрывом, от которого Крылову рассадило подбородок.

Из лаборатории их выгнали, и они решили посвятить свою жизнь науке. Им нравилось сокрушать авторитеты. Кроме того, они убедились, что наука находится в зачаточном состоянии. Такая элементарная вещь, как кибернетика, лишь зарождалась, электроэнергию еще получали, сжигая уголь, и даже энцефалограммы мозга не умели расшифровать.

Профессор Чистяков отобрал несколько студентов для научной работы на кафедре. Тулин попал в число счастливых, а Крылов не попал. Он потребовал, чтобы ему объяснили почему, и напросился... Ему так и сказали: малоспособный, не тянешь, и все тут. Его «почему» раздражало самых терпеливых преподавателей. В конце концов он сам начал придумывать ответы на свои «почему», и постепенно он вошел во вкус, было приятно создавать собственные теории, критиковать авторитеты, подвергать сомнению все что попадалось на глаза, разрушать и строить заново по-своему. Тут сказывалось и природное упрямство, и недоверчивость к мнению старших; в быту он оставался доверчивым простаком, но учиться становилось все труднее, потому что нужно было проверять самые очевидные истины.

Никто из великих людей в юности не подозревал о своем будущем, но тем не менее великие люди, а также их окружающие умудрялись сохранять множество документов для биографов.

Никаких документов об институтской жизни Крылова не сохранилось, поскольку всем было ясно, что великого человека из него никогда не получится. Даже для биографов Тулина от этого периода мало что осталось.

Крылов и Тулин не переписывались, если не считать записок на лекции вроде: «Посмотри налево — потеха» или «Займи мне место в столовке». Не вели дневников. Не имели дел с издателями, кредиторами, журналистами. Из зачетных ведомостей можно установить, что на первом курсе Крылов получал весьма посредственные отметки по всем предметам. Ничто его не интересовало. В протоколе комсомольского собрания записано: отличник Тулин прикрепляется к Крылову для индивидуальной помощи. Очевидно, Тулину долго пришлось раскачивать подшефного, потому что только в третьем семестре Крылов получил первые четверки.

Вспоминая впоследствии свои студенческие годы, Тулин и Крылов сошлись на том, что историкам действительно придется туго. Современный быт с телефонами и телеграммами не оставляет письменных следов внутренней жизни человека. Поэтому вместо объективных данных придется пользоваться пристрастными оценками. Так, например, известно, что Тулин назвал Крылова экстра-идиотом и свиньей, когда тот отказался попросить извинения у

доцента. «Человек, который не может пожертвовать личным во имя большой цели, ничего не добьется в жизни», — сказал Тулин. В общей сложности он затратил на Крылова больше тридцати вечеров и имел право обижаться.

Больше всего его раздражало неожиданное упрямство Крылова, всегда покладистого, уступчивого.

Из-под Новгорода приехал отец Крылова и рассудил быстро и жестоко: не хочешь учиться, ступай работать и обеспечить сестренку, они поедут учиться в Новгород. На том и порешили.

Старшая сестра Тулина работала инженером на заводе, и она устроила Крылова контролером ОТК. Крылов хотел поблагодарить Тулина, но тот повернулся к нему спиной.

— Я с тобой даже разговаривать не желаю, — сказал он срывающимся голосом.

Крылов переселился в заводское общежитие. Первые дни его сосед по койке Витя Долинин, маленький, похожий на краба, стаскивал с Крылова одеяло и кричал: «Интеллигенция, подъем!» Потом Крылов сам привык вставать ровно в шесть тридцать. Он не стремился ни с кем сойтись, ни к кому не подлаживался, и, наверное, поэтому ребята с ним легко сдружились.

Физическая работа его утомляла. За восемь часов редко удавалось присесть: надо было бегать из конца в конец цеха, обмерять станины, поверхности, носить приборы, ворочать шестерни. К вечеру он уставал, ноги гудели. Зато голова была свободна. Наконец он мог заниматься, чем хотел. Он обдумывал сразу несколько проблем: какова природа сил тяготения, что такое бесконечность, верен ли закон сохранения энергии. Кроме того, он собирался создать общую теорию единого поля, которую не удалось создать Эйнштейну, и вскрыть противоречия квантовой механики. Это был период, когда его занимали исключительно коренные вопросы мироздания.

Читая про биотоки, он пришел к выводу, что возможности человеческого мозга безграничны. Раз так, то следовало добиться автономного мышления — работать, а в это время думать о другом. Он получил два выговора, начет, один раз его чуть не придавило краном: он учился производить нужные замеры механически, обдумывая очередную мировую проблему.

Времени не хватало. Жаль было трех лет, потраченных в институте на такие предметы, как сопромат, химия и прочие бесполезности. Однако благодаря институту он убедился в необходимости какой-то системы и в слабости своего математического аппарата. Большинство проблем, над которыми человечество билось десятки лет, он довольно легко разрешил, правда, оставалось их оформить математически и привести в научно убедительный вид.

Он купил четырехтомный курс высшей математики и шеститомный курс физики. Примерно через полгода он обнаружил, что в его решениях есть некоторые неувязки, а еще через несколько месяцев безобразные жалкие факты полностью уничтожили прекрасные гипотезы.

Шли последние дни квартала, сборщики гнали аппаратуру на сдачу, и вдруг Крылов забраковал всю серию штанг. Ни на какие уговоры он не поддавался. Пришлось на ночь вызывать слесарей; и Крылову предложили тоже остаться на ночь принимать штанги по мере их доводки. Он отказался. Мастер устроил ему разнос перед лицом бригады слесарей, пришел начальник ОТК и тоже принялся стыдить его — борьба за план, героические усилия коллектива, честь завода, подвиги комсомольцев.

Крылов внимательно слушал их, потом попросил объяснить, почему обязательно надо сдать контакторы к тридцатому числу, а с первого числа слоняться, точить байки, в чем смысл этой формальности и какой зарез государству получить контакторы на двадцать часов раньше,

чтобы при этом измучить людей и платить сверхурочные, а потом оплачивать простои.

Витя Долинин поддержал его, начался скандал, Крылова вызвали в комитет комсомола, но и там он упрямо требовал, чтобы ему доказали, какую прибыль получит государство от такой штурмовщины.

Решено было привлечь Крылова к общественной работе и навести порядок в мозгах этого мыслителя. Ему поручили провести беседу о почетном заказе новостроек — электроаппаратуры для экскаваторов.

Беседа получилась увлекательная. Крылов, добросовестно изучив описание экскаваторов, доказал слушателям, что коэффициент полезного действия этих экскаваторов ничтожен: перенося каких-нибудь десять тонн породы, экскаватор переносит при этом двадцать тонн своего веса, ничего почетного в таком заказе нет, экскаваторы устарели, их надо снимать с производства и делать машины непрерывного действия.

На заседании бюро он, простодушно округлив глаза, говорил:

— По-моему, совершенно правильные расчеты.

Двое из членов бюро стали на его сторону, и трудно сказать, чем бы все это кончилось, не случись тут другой истории.

Завод переживал неприятности с приводами новой серии специальных контакторов. При испытании чугунные каретки разбивались. Каретка скользила по дуговым направляющим, и поломка происходила, когда скорость достигала рабочей.

Проходя по цеху, Крылов наскочил на главного конструктора Гатеняна, чуть не проткнув его большим разметочным циркулем. Главный конструктор отвел душу: в течение двух минут он дал исчерпывающую характеристику Крылову, и его родителям, и мастеру цеха, который ссылался на то, что Крылов лунатик и вообще малость тронутый.

Затем Гатенян отобрал у Крылова циркуль и вместе со своими конструкторами начал что-то измерять на приводе. Крылов очнулся. Он увидел расстроенные лица вокруг привода с разбитой кареткой, новые контакторы, что выстраивались на сборочном участке, ожидая своей участи.

Некоторое время он слушал догадки конструкторов и вдруг вмешался и попросил запустить следующий образец. Мастер зашипел на него, приказал убираться. Крылов повернулся и пошел, возвращаясь в неэвклидово пространство.

Однако Гатенян остановил его и спросил, какие такие соображения имеются у этого лунатика. Ничего толком Крылов не мог объяснить, ему хотелось посмотреть, на каком участке дуги бьется каретка.

Главный конструктор прослушал этот довод, произнесенный задумчивым тоном, совершенно серьезно. Ни года, ни должность не научили его тому, что диплом может заменить голову. К удивлению инженеров, он приказал установить новую каретку, приготовить пресс к запуску, не забыв, правда, упомянуть, что каждая каретка стоит две тысячи.

Тогда Крылов отказался от нового испытания. «Так даже интереснее», — сказал он и, отобрав циркуль, ушел проверять штанги.

Смена кончилась — он появился в конструкторском бюро, заглянул в кабинет, там шло совещание. Главный пригласил его зайти, он пробрался к столу и спросил, что представляет дуга, по которой движется каретка. Круг? Он обрадовался: тогда все логично, каретка должна ломаться, поскольку имеется разрыв производной. Гатенян навел тишину, заставил Крылова

повторить сызнава. В сопряжении дуги с направляющей происходил удар, и следовательно...

Мастера, проектировщики недоверчиво поглядывали на клочок бумаги с нацарапанными значками без цифр и рисунков. Здесь привыкли иметь дело с коэффициентами, чертежами, номограммами, — отвлеченные уравнения их не убеждали.

Его спросили: в чем же вывод? Крылов пожал плечами: до сих пор его занимала лишь причина поломки — как, почему, а не что надо делать. Он присел к столу и задумался. Щелкнул тот внутренний разъединитель, которым он научился отключаться от происходящего вокруг. Затем он снова соединил контакты, увидел напряженно ожидающий взгляд Гатеняна и сообщил, что следует заменить окружность параболой.

Гатенян взял его в бюро. Первую половину дня приходилось делать всякие проектные расчеты, решать задачки, после обеда он читал физику. Подобно лакомке, он отбирал самое вкусное, не задумываясь — зачем, нужно ли это. Он читал книги по физике как романы, наслаждаясь неожиданным поворотом мысли. Сидящий рядом с ним пожилой конструктор вздрагивал от раскатов внезапного смеха. «Послушайте, — оправдываясь, говорил Крылов и читал ему, сияя от восторга: — „Экстремальное значение импульса не зависит от места образования ионов, хотя форма кривой импульса от этого и зависит“.

То были прекраснейшие дни его жизни. Случай с каретками воодушевил его. Оказывается, все эти отвлеченные формулы, соприкасаясь со станками, с железом, высекали искру, способную взорвать все вверх тормашками. Его физика, его математика фактически хозяйствовали на заводе. Полтора года бездействовал ультразвуковой дефектоскоп по проверке отливок. Крылов занялся ультразвуком и наладил установку. Гатенян дал ему полную свободу. «Выбирай, что тебе интересно. Броди и думай, — говорил он. — Будь думающей штатной единицей».

Однажды директор завода, проходя с какой-то комиссией, застал Крылова в конторке ОТК сидящим на столе. Окунув стеклянную трубку в чашку, Крылов старательно выдувал мыльный пузырь. Был разгар рабочего дня. Переливаясь радужным блеском, пузыри плыли по цеху, поднимались к застекленной крыше. Директор возмущился. Но еще больше его взбесило, что Крылов вытаращил на него глаза — ведь это крайне важно разобраться, каким образом пузырь отрывается от трубки. И вообще, известно ли директору, почему лопаются мыльные пузыри? Надо отдать должное директору, он был куда умнее того институтского доцента: он знал, что выигрывает не тот, кто отвечает на вопросы, а тот, кто задает их. Он спросил: известно ли Крылову, как погиб Архимед?

Ситуация и впрямь напоминала встречу Архимеда с римским воином. Члены комиссии многозначительно улыбнулись, а Крылов попросил у директора денег для киносъемок лопающегося пузыря.

На следующий день директор учинил главному конструктору разнос: почему лопаются мыльные пузыри — трудно придумать удачнее тему для министерских зубоскалов. Отныне на всех совещаниях нам будут поминать эти пузыри.

Гатенян пробовал доказывать, что ничего особенного не произошло. Пусть парень ходит, думает, возится, никогда не известно, что из этого может получиться. Пока что он уже окупил себя на несколько лет вперед. Грех сажать его за доску. На такой большой коллектив не мешает иметь одного думающего. Это тот тип людей, которых незачем заставлять работать, они не работают, только когда спят, нужно лишь не мешать им.

Ответная речь директора была значительно короче.

Гатенян вернулся мрачный, вызвал Крылова, предложил ему получать с утра задания,

отправляться в библиотеку и не сметь болтаться по заводу. Все свободное время сидеть и готовиться к экзаменам за университетский курс экстерном.

Экзамены казались Крылову докучной помехой. Он уступил главному только потому, что хотел сделать ему что-либо приятное. Работу с мыльными пузырями он все же закончил и послал ее в журнал технической физики. Через полгода ее напечатали, и выяснилось, что она представляет некоторый интерес для теории пограничных явлений.

Гатенян принес оттиск статьи директору и сказал: «Большую реку нельзя мерить палкой». Директор повез оттиск в главк, положил на стол начальнику — «и короли ошибаются».

Перелистав оттиск, начальник главка пожал плечами и сказал: «Подумаешь», — но на ближайшем совещании рекомендовал поощрять научные интересы производственников. Пример с мыльным пузырем выглядел у него красиво, даже несколько самокритично и, главное, удобно, поскольку никаких практических выводов не требовал.

На заводе пошли разговоры о Крылове, начальники цехов здоровались с ним за руку. Нравилось, что живет он по-прежнему в общежитии, получает в месяц восемьсот рублей, из них триста посылает сестрам в Новгород. Он отвечал на общее внимание рассеянно, без интереса, и это возбуждало любопытство. То, что раньше проходило незамеченным, сейчас бросалось в глаза, и поскольку Крылов вызвал благожелательность, то сочувственно отметили и его вельветовые брюки, и свитер, и плащ, в которых он ходил по морозу, обходясь без зимнего пальто. Было в этом некоторое неосознанное щегольство — вот, мол, я какой, потому что меня интересуют совсем другие вещи.

И это тоже нравилось. В общежитии его уже не считали «лунатиком» или «блажным», его с гордостью окрестили «главным теоретиком».

Завод имел много главных — главный технолог, главный механик, главный энергетик, — но то были должности официальные, утвержденные. Главные технологи были на всех заводах, главный же теоретик только на Октябрьском. Он становился достопримечательностью завода, такой же, как Порошин — участник штурма Зимнего дворца, Глухов — мастер спорта, альпинист. На каком еще заводе рабочий парень печатает статьи в журналах Академии наук!

Его полюбили, как любят расточительных, не приспособленных к жизни добряков. Любили, заботились и без пощады эксплуатировали: бегали со всего завода с просьбой подсчитать, решить задачку, проконсультировать.

Долинин водил его на танцевальные вечера, таскал за город; он послушно, под необидный смех плюхался с вышки в воду, плыл по-собачьи и смеялся сам, и все понимали, что он может позволить себе не уметь плавать, неуклюже танцевать, ибо не этим определяются его способности.

Так продолжалось до тех пор, пока за Крылова не взялась Ада.

За два с половиной года ему осточертели бесконечные экзамены и зачеты, и занятия по ночам, и лабораторные работы, половину из которых он считал абсолютно ненужными. На кой шут ему сдался диплом, у него уже не хватало ни сил, ни терпения, и перед самым финалом он, наверное, бросил бы все, если б не Ада. Она неопровержимо доказала, что без диплома его ожидает жалкое будущее и вообще он будет безвольной тряпкой, если отступит. На что он тратит свой талант — решать контрольные всяким лентяям! А им — не совестно эксплуатировать его простодушие? Без особых разговоров, вежливо и холодно она сумела отвадить слишком частых клиентов Крылова.

Ада считалась в КБ энергичным, серьезным инженером. Кроме того, бесспорно, была первой красавицей завода. Она была настолько красива, что никто не пытался за ней ухаживать.

Рядом с ней любой мужчина чувствовал себя недостойным. В КБ были уверены, что у Ады полно блестящих поклонников, соперничать с которыми безнадежно. Из самолюбия она делала вид, что так оно и есть, и держалась еще надменной.

Крылову и в голову не могло прийти, что он может понравиться ей. Он относился к Аде как к старшей сестре или тетке, хотя она была одних лет с ним. Властная, обладающая непререкаемой логикой, она умела подчинять себе людей. Крылов сам не заметил, как стал виновато докладывать ей о каждом шаге.

Прежде всего она убедила его, что он талантлив, не знает себе цены и преступно разбазаривает свои способности. Чего ради он занимается электрическим пробоем? Бесперспективно.

С того дня, как он нацепил университетский значок, жизнь его на ближайшие пять лет — а ему казалось, на сотню лет, — была Адой точно распланирована, и ему оставалось лишь двигаться согласно расписанию от одной станции к другой.

К тому времени Крылов и Тулин помирились, и Олег неожиданно поддержал Аду.

— При чем тут пробой, — говорил он Крылову. — Какая фигура! А волосы! Даная! Ты просто счастливчик.

Позже Тулин изменил свое мнение, но тогда его восторги льстили Крылову, было приятно идти под руку с такой красавицей, и чувствовать завистливые взгляды мужчин, и видеть, что она ни на кого не обращает внимания. Втайне он тяготился опекой Ады. В ее присутствии ему приходилось ходить на цыпочках, тянуться изо всех сил. Она не спускала ему ни малейшей оплошности. Она неустанно «приобщала» его, водила на выставки, в музеи, на концерты. Аккуратнее всего, захваченные общим тогда интересом, они посещали политкружки, где азартно обсуждали роль личности, последствия культа. А потом, в коридоре, еще долго спорили, как же это все могло произойти. На завод один за другим возвращались реабилитированные, то, что они рассказывали, было страшно и непонятно. Все чаще без опаски, с уважением произносились имена людей, которых Крылов с детства привык считать врагами народа. Тулин вдруг рассказал, как его отца в тридцать седьмом году исключили из партии и выслали, у Гатеняна брата осудили как шпиона четырех государств; выяснились затаенные обиды, трагедии, хранимые во многих семьях. Каждое такое открытие было болезненным, но вместе с тем росло чувство общего очищения. Пытались угадать, а что будет дальше, убеждали друг друга, что со старым покончено навсегда, строили планы, выдвигали проекты всевозможных реформ. Каждое новое постановление они встречали с энтузиазмом. «Я так и знал, я как раз об этом думал», — заявлял Тулин; Крылов недоумевал: «Сколько мы не замечали». Кое-кто из пожилых осторожничал. Но они смеялись — дудки, этот процесс необратим; спорили с Адой — она не видела особого смысла в разоблачении прошлого. Зачем? Зачем столько разочарований? Кому это помогает, только растравляет людям души. Крылов в одном был уверен твердо: правда никогда не может повредить. И ничто не заменяет правду.

Обсуждался семилетний план завода, дискутировали, сравнивали выгоды гидростанций и тепловых станций. Гатенян припомнил дискуссию о языкознании — миллионы людей на всех предприятиях вынуждены были месяцами изучать проблемы лингвистики, в то время когда в колхозах творилось черт знает что, за хлебом стояли очереди. Крылов со стыдом вспоминал, как он сам, тогда уже вроде бы сознательный парень, находил какую-то высшую мудрость в этой статье Сталина.

Началась модернизация оборудования.

Ада заставила Крылова заняться прибором для определения чистоты обработки.

Прибор будет называться прибором Крылова. О приборе должны появиться статьи. Ученый на производстве — вот в чем ценность и смысл его работы.

В соответствии с этим должно строиться и поведение Крылова, и внешний облик.

Заготовка, разогретая честолюбивыми проектами, послушно носилась через валки прокатного стана, постепенно принимая нужную форму.

Ада заботливо соскребла остатки окалины, придирчиво осмотрела свое произведение, осталась довольна, и Крылов отправился в завком с заявлением насчет комнаты.

На нем ловко сидел темно-серый костюм, узкий галстук, вывязанный крохотным узлом. Все свои разработки Крылов оформил, направил в бюро изобретений, получил премию и записался в плавательный бассейн.

Его словно прорвало. Пелена упала, он увидел жизнь в заманчивом разнообразии. Каждый вечер в двадцати театрах раздвигался бархат занавесей. На экранах появились новые картины, заграничные и наши. Шли литературные диспуты. Молодые художники устроили выставку. Девчата из соседнего общежития приглашали послушать кубинские пластинки. Оказывается, воскресенье было выходным днем, существовал яхт-клуб на Островах и сами Острова с белыми ночами, Стрелкой, карнавалами, и ситцевый в черно-желтых квадратах сарафан очень шел Аде.

— Если ты захочешь, ты сможешь стать начальником техотдела, — говорила она, — начальником центральной лаборатории, заместителем главного конструктора. Не ради карьеры, ради интересов дела производство надо ставить на научную основу.

«Прекрасна, как античная статуя, — думал Крылов, — но разве можно обнимать статую?»

Они поехали в Петергоф. Когда пароходик вышел в залив, погода переменилась, заморосило. Крылов накинул на Аду пиджак. Скользящая палуба накренилась, Крылов крепко обхватил Аду за талию.

— Пойдем вниз, — предложил он.

Она помотала головой.

Горизонт поднимался и падал, и море вставало серой лохматой стеной. Они были на палубе одни. Ада посмотрела на Крылова. Он виновато убрал руку, Ада слегка покраснела, и он окончательно смутился. Брызги достигали их.

Крылов не понимал, почему Ада молчит, и чувствовал себя все более виноватым.

— Тебе надо сесть за теорию регулирования. — Голос ее дрогнул. — Это основа автоматизации производства. Я тебя очень прошу. Ладно?

Она накрыла мокрой ладонью его руку.

— Обязательно, конечно, — обрадованно сказал он.

— Ты, ты... — она запнулась, — ты читал Винера? Это поразительно. Правда, он несколько преувеличивает значение кибернетики, но это поразительно.

«О господи, все-то она знает! — подумал Крылов. — А я просто темный идиот».

— А Экзюпери ты тоже не читал? На что ты тратишь время? — Она принялась ожесточенно высмеивать его невежество.

Прибор, которым она заставила заниматься, мало интересовал его. Впрочем, он понимал, что для завода это нужно. Неделю он наблюдал, как мастера, следуя своим секретам и законам, определяют точность обработки. Они не подозревали, что все их секреты подчиняются закону Никольса. Ночью, когда цех опустел, Крылов установил интерферометр и с помощью своего Никольса вскрыл все секреты, как вскрывают ножом консервную банку. Прибор получился элементарный. В сущности, Крылов приспособил известные в лабораториях приборы для цеховых условий, однако на заводе поднялся шум, Крылова фотографировали, о нем писали. «Инициатива новатора... с энтузиазмом откликнулся...» Он чувствовал себя неловко, пока Ада не доказала, что талант никогда не знает истинной ценности собственных работ, лишняя скромность так же неприятна, как и тщеславие. Как всегда, он уступил, согласился и написал под ее диктовку заявление.

Гатенян молча выслушал его условия.

— Значит, имени Крылова и перевод в старшие конструкторы? — подытожил он и как-то печально посмотрел на Крылова. — У нас в Нахичевани говорят: если бы от яйца становился хороший голос, то куриный зад заливался бы соловьем.

Больше он ничего не сказал, написал приказ и только спустя несколько дней мимоходом спросил, как идут дела с пробоем. Казалось бы, он должен был радоваться, что Крылов занят исключительно заводскими делами, но в этом вопросе Крылову почудилась тревога и укор.

Потихоньку от Ады Крылов вернулся к изучению электрического пробоя. Он сам не понимал, зачем он занимается им.

В глубине души он относил это стремление к своим порокам: бывают у людей страстишки — преферанс или водка, а у него электрический пробой.

То была первая, не замутненная никакими опасениями радость открытия. Он создал свою собственную теорию поляризации и пробоя в некоторых средах. Все выстраивалось красиво, легко, и он первый узнал, понял весь этот сложный механизм. Никто в целом мире не знал истинной картины. Он один обладал сейчас этой истиной, один из всех людей на земле.

Он возвращался из Публичной библиотеки. Ноги его почти не касались земли. Он мог взлететь и парить над Александровским садом.

А что, если он сейчас умрет? И эта тайна уйдет вместе с ним? И никогда никто не узнает? Мысль о смерти была нелепой, но она ему нравилась. Он немедленно помчался к главному конструктору домой.

Когда тот вышел к нему, в пижаме, встревоженный, Крылов сообразил, что Публичная библиотека закрывалась в половине двенадцатого и сейчас, вероятно, уже за полночь. Но тут же он забыл об этом, ему необходимо было с кем-нибудь поделиться...

Главный ничего не понимал в электростатике, зато он твердо верил в своего подопечного.

На следующий день через каких-то друзей Гатенян договорился с самим Данкевичем, и Крылову разрешили доложить о своей работе на семинаре в Институте физики Академии наук.

К докладу готовились всем конструкторским бюро. Девушки вычертили Крылову роскошные схемы и диаграммы цветной тушью. Главный дал Крылову свою роскошную папку для тезисов. Одна лишь Ада относилась к предстоящему выступлению холодно. Она не понимала, зачем это ему нужно. Впрочем, она заставила его отрепетировать несколько раз свою речь и назвать ее по-другому — не новая теория, а как-то скромнее — «К вопросу о...» Уж кто-кто, а она, дочь профессора, знала, как настораживают ученую аудиторию безвестные

открыватели новых теорий.

Она проводила Крылова до дверей института, поправила ему галстук, осмотрела с ног до головы и кивнула строго, но разрешающе.

Вечером он в общежитие не вернулся. Назавтра на завод не пришел. Никто не знал, куда он пропал. Ада позвонила в институт. Там сообщили, что Крылов выступил, его сообщение обсудили, покритиковали, он ушел и больше они ничего не знают.

Появился он через два дня, небритый, исхудалый, новый костюм был измят, в пятнах. Молча пройдя к главному, он вернул ему папку и протянул заявление об уходе. На расспросы он почти не отвечал, морщась, как от боли. На заводе решили, что к их Крылову отнеслись несправедливо. Разве способны эти затрущенные академики, оторванные от жизни, оценить заводского человека! Уж кто-кто, а их Крылов за пояс заткнет всех очкариков. Стоит ли из-за них расстраиваться, подумаешь, критиканы, наверняка завидуют...

Почему-то все считали, что его разобидели академики и это из-за них он хочет покинуть завод. С ним обращались как с больным, осторожно, стараясь не тронуть раны, говорили о футболе, он отвечал принужденной улыбкой, но глаза его оставались глухими.

Директор подписал приказ о назначении его старшим конструктором; через месяц заканчивается заводской дом, ему обещали дать комнату; Ада выхлопотала ему путевку в дом отдыха, — но он стоял на своем: он уходит с завода. Куда? В институт к Данкевичу. Кем? Кем угодно. Ада была уверена, что это просто каприз, блажь. Идти к Данкевичу, который так хамски отнесся к нему! Это же бред. И зачем он нужен Данкевичу? Лично она презирала эти академические институты с их вельможами, схоластами, вокруг самой простой вещи набормочут заумных терминов. Слава богу, она достаточно насмотрелась дома, у своего отца, на эту писанину, лишённую радости живого дела. На заводе Крылов через год может стать заместителем главного. А потом, пожалуйста, если его так тянет наука, защитит диссертацию. В науку надо въезжать на белом коне, а не стучаться нищим, не имея ничего за душой.

Слова Ады отскакивали от него: до сих пор он был послушной глиной в ее руках, и вдруг глина оказалась цементом.

— Может быть, из меня ничего не выйдет, но я хочу попробовать... — твердил он.

Здание, которое она с таким трудом выстраивала, его карьера, которая начала налаживаться, вся его репутация на заводе, работы, которые она задумала для него, — все-все затрещало, зашаталось.

Даже беспечный Долинин и тот осуждал его: «Чего ты вытрющиваешься? Лучше быть первым парнем в деревне, чем последним в городе». С той же горячностью, с какой его защищали, все возмутились его решением. Его называли неблагодарным, обвиняли в честолюбии. По-своему они были правы: он был обязан заводу слишком многим. Гатенян не захотел с ним попрощаться.

Если бы можно было объяснить им всем!

Ада поставила ему ультиматум — или он останется, или между ними все кончено. Что значит «все»? — недоумевал он. Почему они не могут остаться друзьями, как были?

— Друзьями? — Она с ненавистью посмотрела на него и вдруг заплакала. Это было так непохоже на нее, так ужасно было видеть, как по ее белому, неподвижно-мраморному, строгому лицу скатываются слезы, что он почувствовал себя свиньей.

— Ну хорошо, я останусь, — в отчаянии сказал он. — Только не плачь. Пожалуйста.

Невозможно было представить, что эта красивая девушка плачет из-за него. Он не понимал, что происходит. Ада вытерла слезы. «Не нужно жертв. Уходи. Катись. Теперь это уже не имеет значения».

— Боюсь, что из тебя никогда не получится настоящего ученого, — сказала она. — Ты слишком ненаблюдателен.

Внезапное подозрение охватило его, он пытался всмотреться — Даная — и успокоился: это было бы слишком невероятно.

Из него ничего не получится — вот что угнетало его больше всего. То же самое говорил ему Тулин. Два самых близких ему человека пришли к одному и тому же.

В сущности, никому он толком не мог объяснить, как же произошло, что талант, «главный теоретик», лопнул, подобно мыльному пузырю.

Отчего лопаются мыльные пузыри? Теперь он представлял себе, как это происходит. Чьи-то губы раздувают каплю, она растет, блестящая пленка играет всеми цветами радуги. На ее поверхности отражаются небо, искривленные дома, люди. Пузырь считает себя целой планетой. Все, что он отражает, — это и есть настоящее. Это его дома, его люди. Он несет их на себе, и как доказать ему, что это все — лишь отражение! Он считает наоборот: земля и люди — сами всего лишь уродское отражение его красоты. Он отрывается и летит, понятия не имея о ветре или какой-то конвекции воздуха.

Пузырь летит. Он уже не принадлежит никому, он сам себе хозяин. Он — Вселенная. У него свои законы. Он не подчиняется вашим Ньютонам, тяготениям, вашей механике. У него все свое, даже своя электростатика. Ах, какой он прекрасный, этот пузырь! Зря он не раздулся еще больше. Попробовать, что ли?

И вдруг — кряк! Лопнул. Не осталось ничего... Мутные брызги. Куда исчез этот сверкающий всеми красками мир с его законами, небом, землей?

Но прежде чем он лопнул, им вволю наигрались.

С отвращением он вспоминал, как, выпятив грудь, он взошел на кафедру, пижонски раскрыл кожаную папку, вытащил оттуда свои бумажки. Первые минут пять его слушали с любопытством. Потом перебили вопросом. Он только готовился приступить к выводу, а его уже спрашивали о конечной формуле, еще не написанной на доске. Откуда они узнали о ней? Пока он недоумевал и собирался с мыслями, кто-то ответил за него, тогда они спросили еще что-то у того, кто ответил, и уже тот снова отвечал, а Крылов еще переваривал его первый ответ и не мог уследить, о чем они говорят. Они спрашивали и сами отвечали, и он отставал от них все дальше и дальше. Слово вспомнив о нем, а скорее ради потехи, они попросили его объяснить механизм переноса зарядов. Он несколько опомнился, принялся рассказывать, но тут же кто-то вежливо указал неточность и доказал необходимость введения поправки. Крылов вынужден был согласиться, попробовал идти дальше, но из поправки следовала другая, его уже не отпускали, перекидывали от одного к другому, не позволяя вернуться к своему выводу. Он чувствовал, что куда-то летит в сторону, и ничего не мог поделать; там, где заряды отталкивались, там они стали притягиваться, плюс превращался в минус, и он не заметил, как пришел к полному абсурду, доказал совсем обратное тому, что у него должно было получиться. Он был игрушкой в их руках. За какие-то полчаса они распотрошили

теорию, которую он вынашивал полгода, увидели там то, чего он до сих пор не мог понять, обогнали его, вволю натешились, а он стоял и моргал глазами, даже не в силах участвовать в их споре. Невежество было бы еще с полбеды, самое унижительное заключалось в том, как медленно, тупо он соображал. Ржавые колеса, скрипя, еле поворачивались в его мозгу.

Впервые он понял, что такое настоящие таланты. Они казались ему великанами, сонмом богов. С виду они ничем не отличались от обычных людей: помятые рубашки, засученные рукава, студенческие выражения — «потрепаться», «влипнуть», «мура»; там были ребята его возраста — растрепанные, насмешливые; они курили те же болгарские сигареты, сидели верхом на стульях, но при этом перекидывались фразами, расстояние между смыслом которых Крылову потребовалось бы преодолеть часами напряженных раздумий.

Он попал на Олимп. Бессмертные боги смеялись над ним, и он не мог обижаться, — разве можно обижаться на богов? Перед ними можно лишь чувствовать собственное ничтожество.

Юпитером среди них был Данкевич, боги звали его просто Дан, и он разрешал им: вероятно, среди богов все возможно.

Отныне Крылов принадлежал им.

— Нонсенс, — сказал Данкевич. — Разве мы вам ничего не доказали?

— Доказали, — сказал Крылов.

— Что именно?

Требовалось усилие, чтобы смотреть прямо в неправдоподобно черные, блестящие глаза Данкевича.

— Что я тупица, невежда, ничего не знаю.

— Незнание и невежество — вещи разные. Незнание начинается после науки, невежество — до нее. У вас болезнь серьезней: ваш мозг заражен невежественными идеями.

— Совершенно верно, — сказал Крылов.

— Наука — это не самодеятельность.

— Да, — сказал Крылов.

— Нам некуда деваться от молодых гениев, считающих себя Эйнштейнами и Резерфордами. Все они создают новую картину Вселенной. Физика стала слишком модной наукой. В данный момент у меня нет свободного места научного сотрудника.

— Я согласен лаборантом.

— И на лаборанта нет вакансии.

— Я уже взял расчет, — сказал Крылов.

Тонкий, гибкий Данкевич выпрямился, как лезвие.

— На меня такие штучки не действуют. Возвращайтесь на завод. Там ваши идеи не опасны, а дело вы делаете.

— Я не вернусь.

На узком, нервном лице Данкевича мелькнула и мгновенно пропала насмешливая улыбка.

— Однако... Самое решительное начало ничего не значит без конца. Разумеется, вы не сомневались, что я жду не дождусь вашего прихода. Что ж вы будете делать?

— Я буду у вас работать.

Данкевич посмотрел на него с любопытством:

— Интересно, каким образом?

Однажды, приехав к Данкевичу со своим шефом профессором Чистяковым, Тулин увидел из окна кабинета Крылова. Вместе с рабочими он сгружал во дворе ящики с грузовика. Тулин попросил разрешения выйти и побежал вниз. Крылов улыбался как ни в чем не бывало — он устроился слесарем в институтскую мастерскую. Дальше будет видно. Он взвалил на спину ящик и, пригибаясь, понес к складу. Тулин шел рядом с ним.

— Хочешь, я поговорю с Чистяковым и устрою тебя к нам?

— Нет, я буду работать здесь, — сказал Крылов.

— Упорство непризнанного самородка. Ах, как красиво! Давай, давай вкалывай, получишь пятый разряд, Данкевич будет рыдать от умиления.

Крылов сбросил ящик.

— Не триви. Я тебя ни о чем не прошу. Оставь меня в покое. Чего ты меня равняешь к себе? Единственное, что у меня есть, — это желание работать здесь, и если я уйду, тогда мне хана.

— Думаешь растрогать этих прохиндеев? На меньшее, чем Данкевич, ты не согласен? Думаешь, у него ты станешь гением?

Крылов взял его за руку и повел в комнату, где по средам происходили семинары физиков, ничем не примечательную комнату, пропахшую куревом, с двумя рыжими досками и маленькой кафедрой, на которой он когда-то осрамился.

— Я должен здесь выступить, — сказал Крылов.

— А конференц-зал Академии наук тебя не устраивает?

— Нет, — совершенно серьезно сказал Крылов. — Я выступлю здесь, а они будут слушать меня.

— Мечта идиота, — сказал Тулин. — Разве так становятся ученым!

На следующий день Крылов столкнулся с Данкевичем в коридоре.

— Послушайте, как вас там, — сердито окрикнул его Данкевич. — На что вы надеетесь? Переупрямить меня? Напрасная затея.

Крылов почувствовал, как щеки становятся холодными.

— Ладно, я уйду. Мне больше нечем было доказать вам... Можете радоваться. Подумать только, кого вы одолели! — Он вдруг услышал злость и грубость своих слов и понял, что погиб. Он стоял перед Юпитером, перед самим Данкевичем, но именно потому, что он

боготворил этого человека, он обязан был сказать ему все. С каждым словом ему становилось холоднее. Когда он вернулся в мастерскую, его бил озноб.

Он подал заявление о расчете. В тот же день ему вернули заявление с резолюцией Данкевича: «Назначить старшим лаборантом в лабораторию Аникеева».

Требования Аникеева были просты и невероятны.

Экспериментатор должен:

1. Быть достаточно ленивым. Чтобы не делать лишнего, не ковыряться в мелочах.
2. Поменьше читать. Те, кто много читает, отвыкают самостоятельно мыслить.
3. Быть непоследовательным, чтобы, не упуская цели, интересоваться и замечать побочные эффекты.

И вообще поменьше фантазии и «великих идей».

Лаборатория — две комнаты, двое научных работников, третий сам Аникеев. Крылов работает у него. Лаборатория исследует процессы электризации.

За целый день произносится несколько фраз. Замеры, подсчеты, снова замеры... Так изо дня в день, недели, месяцы. Хорошо! Никто не мешает думать. Приборы, мерцающие экраны осциллографов, мерное постукивание вакуумного насоса. Чуть поглубже вакуум, теперь добавим газа. Разряд. Замерим. Введем в схему детектор. Не подходит. Надо его приспособить. Замеры, подсчеты. Сережа, выясните погрешности. Замеры, подсчеты. Готово, начинаем снова. Замеры, подсчеты. Откуда скачок? Повторите. Замеры. Снова скачок. Странно. Вероятно, где-то наводка. Все проверить, заэкранировать, компенсировать. Опять скачок. Откуда он берется? Почему такой скачок именно при этой концентрации?

Все останавливается. Больше нечего мерить, нечего подсчитывать. Слава богу, кончены проклятые измерения. Что мне делать? Отстаньте, не суйтесь, идите к черту, в столовую, в библиотеку, к дьяволу.

Откуда же этот скачок? Аникеев молчит. Неужели и боги могут чего-то не понимать? Экран не светится, стрелки лежат на нуле. Тишина. Дни, заполненные тягостным молчанием. Рядом измеряют, подсчитывают. Как хорошо, когда можно замерять и подсчитывать. А что, если тут паразитные токи? Чушь, откуда им тут... А если от поля земли? Попробуем? Мама родная, конечно, это паразитные токи. Аникеев — гений. Он самый настоящий гений, он маг, чародей, обыкновенный маг! Вот они, паразитные токи. Ну что за прелесть эти паразитики! Но как их устранить?

— Сережа, давайте повесим вот такой виток. Подсчитайте.

Ура, опять считаем, опять можно щелкнуть выключателем, и мертвая груда приборов оживает.

— Хотел бы я знать, какого черта вы загнули эту кривую вниз?

— Я экстраполировал ее по расчетам Брекли...

— Кто такой Брекли?

— Но вы же сами... Еще в прошлом году его статья была...

— Ну и что из того?

— Так ведь там написано...

— Мало ли что печатают! До каких пор вы будете верить всему, что печатают! Что у вас, голова или этажерка?

— Но Брекли — теоретик, классик!

— А вы, Крылов, классический идиот. Ваш Брекли не может отличить вольтметр от патефона. Мне нужны измерения, а не труха этой старой задницы. Классиков надо было учить в институте. Здесь у меня нет классиков. Здесь опыт, и только опыт. И собственные мозги. Ешьте больше рыбы.

— Если кривая не загибается вниз — значит, расчеты Брекли неверны?

— Ну и пусть неверны. Пусть вся теория неверна. Испугались? Придется идти к теоретикам, пусть разбираются. А пока давайте отладим электронику.

Приборы показывают черт знает что, кто во что горазд. Мистика. Ничего, электроника — всегда мистика. Почему не работает, никто не знает. И никто не горюет. Так и должно быть. Через неделю схема вдруг начинает работать, и тоже никто не удивляется. Электроника! Теперь даже непонятно, как она могла не работать. Теперь можно выделять с ней самые рискованные штуки, она все равно будет работать, ее уже не заставишь не работать...

— Отшлифуйте пластинку германия. Не умеете? Поучитесь...

— Труха. Так шлифовали в палеозойскую эру...

— Лучше, но недостаточно...

— Крылов, если вы экспериментатор, вы должны уметь делать все то, что нужно, и лучше всех. Иначе вам не сделать ничего нового.

— Но тогда не успеешь стать настоящим специалистом. Где тут думать о больших проблемах! Хочется устанавливать взаимосвязь явлений...

— Это оставьте для философов. Специалист! Я не знаю, что такое специалист. Я знаю, что такое физик. Специалист старается знать все больше о все меньшем, пока не будет знать все ни о чем. А философ узнает все меньше о все большем, пока не будет знать ничего обо всем.

Наконец через две недели он отделал пластинку не хуже любого шлифовальщика.

— Нормально, — пробурчал Аникеев.

Они установили пластинку перед излучателем. Опыт продолжался двадцать минут. В итоге — табличка из пяти цифр. А через два дня оказалось, что гипотеза не оправдалась, и таблица вместе с пластинкой отправилась в нижний ящик стола. Аникеев подмигнул Крылову:

— Такова жизнь экспериментатора.

Этот человек презирал трудности. Всякие мелкие неудачи, неприятности, ошибки, зря потраченное время — всего этого не стоило даже замечать. Достойны уважения и, следовательно, огорчения были настоящие неудачи, тупики, куда загонял их ход исследований.

Аникеев был настоящим, прирожденным экспериментатором. Достаточно было посмотреть, как движутся его руки с мягкими, гибкими, как у ребенка, пальцами, регулируя прибор или натягивая кварцевую нить.

Рассказывали, что еще до войны, как-то будучи во Франции, он шутки ради поспорил с представителем фирмы сейфов, что вскроет за полчаса любой из сейфов. И вскрыл. Полиция задержала его и попросила немедленно покинуть страну. Когда у Аникеева спрашивали, правда ли это, он только посмеивался: «Все любят разгадывать других, но никто не любит быть разгаданным».

Он действительно никогда не распространялся о себе, но имя Аникеева, одного из крупнейших физиков, было окружено легендами, тем более многочисленными, чем менее знали о нем.

После войны Аникеева назначили одним из руководителей «Проблемы» — так называлась тогда работа над атомной бомбой. Ему подчинялась группа институтов и заводов.

Он связывался непосредственно с министрами. Великолепно зная себе цену, он держался независимо и делал так, как считал нужным, не считаясь ни с чьими распоряжениями, даже с указаниями Берия. Безграмотные, порой губительные вмешательства Берия выводили Аникеева из себя. Согласно одной из легенд, выслушав очередное крикливое поучение, Аникеев не выдержал и сказал: «Я ваших трудов по физике не читал. И вы моих тоже. Однако по разным причинам». — «Я тебе покажу физику, ты у меня увидишь физику», — сказал Берия.

Аникеев тут же написал письмо в ЦК, требуя оградить проблему от невежественного хозяйничанья Берия. В те времена подобный вызов был равносителен самоубийству.

От немедленной расправы Аникеева спасло то, что он был слишком известен и нужен. Все же по приказу Берия его отстранили от проблемы и перевели на Север, в педагогический

институт. Атомники доказывали, что без Аникеева нельзя, особенно сейчас, в период пуска объектов. Все было напрасно.

Его друг Лихов, который должен был принять дела, сказал ему с горечью:

— Я же тебя предупреждал, вот тебе и вся награда за твое правдолюбие. Чего ты добился? Только делу повредил.

— Дело не пострадает, — сказал Аникеев. — Я не уеду, пока не пустим объекты.

Со своим шальным характером он остался, живя чуть ли не на нелегальном положении, продолжал руководить пусковыми работами. На этот раз он действительно рисковал головой. Начальство делало вид, что не замечает его присутствия. После того как объекты были успешно пущены, он уехал на Север.

Научной работы в те годы там не велось, оборудования не было. На свои деньги Аникеев смастерил себе кое-какую аппаратуру и занялся исследованием природы запахов. Он засовывал себе в нос специальные ампулы, иногда доводя себя этими жестокими опытами до обмороков.

Он принадлежал к редкому, счастливому типу ученых, для которых все, за что бы они ни брались, становится объектом науки.

Ему предлагали писать учебники, монографии. Он отказывался. Вместо этого время от времени в журналах появлялись маленькие статьи, вернее заметки, на две-три странички.

— Чем тщательней выполнена работа, тем меньше о ней приходится писать, — утверждал Аникеев.

Сразу после разоблачения Берия Аникеева вызвали в Москву. К тому времени Лихов уже стал академиком, получил множество наград и медал целым управлением. Он предложил Аникееву возглавить один из институтов. Аникеев отказался. Лихов пробовал его уговорить — хотя бы на должность начальника отдела.

— Не интересуюсь, — сказал Аникеев, — давай лабораторию, и то маленькую, не больше четырех сотрудников.

Лихов задумался.

— Не слишком ли ты самоуверен? — сказал он.

Аникеев пожал плечами.

— Посмотрим.

— Я бы не решился сейчас взять лабораторию, — сказал Лихов.

Аникеев оглядел роскошный, огромный кабинет.

— Жалко?

— Страшно. В лаборатории нет ни академика, ни лаборанта. Там только талантливый экспериментатор — или плохой.

— Да, здесь иной масштаб.

— Да, здесь я академик.

Прощаясь, Лихов сказал:

— Наверное, ты прав... Иногда мне самому снится зайчик гальванометра. Никак не установить его на ноль. Сны административного физика. А потом я просыпаюсь и долго убеждаю себя, что на этом месте тоже должен сидеть ученый. Что мне нужны масштабы. И еду в эту контору.

Лаборатория Аникеева была на особом положении: так он поставил дело.

Он организовал себе отдельную мастерскую, раздобыл два станка, нанял механика и раз навсегда избавился от всякой зависимости. Тертые, все перевидавшие снабженцы выполняли его заявки вне очереди. Иначе он обрушивался на них на первом же совещании, обращался в партком, дирекцию, главк, стенгазету. Для него не существовало препятствий. Он шел как танк, все подминая, беспощадный и неумолимый, грохоча и ругаясь. От своих помощников он требовал безусловной исполнительности. «Идей у меня самого девать некуда, — предупреждал он, — хватит на вас всех. Мне нужны люди, которые делают то, что мне надо».

Крылов прощал ему все, переполненный счастьем оттого, что наконец мечта исполнилась. Ослепительных открытий в ближайшие месяцы не предвиделось, угодить Аникееву было нелегко, каждый день выяснялось, что Крылов не умеет паять, печатать на машинке, ладить со стеклодувом или что-либо в этом роде. Но спустя пять минут после очередного разноса Аникеева в глазах Крылова опять проступала блаженная ухмылка. Счастье так и сочилось из него. Оттого что на него кричит сам Аникеев. Оттого что в таблицах растут столбцы чисел, добытых им, Крыловым. Оттого что винегрет в институтском буфете самый вкусный из всех винегретов...

Он купил себе шляпу со шнурком. Серый костюм с широкими плечами и широкими брюками вышел из моды, но теперь это не имело никакого значения. То, что он работал у Аникеева, подняло его даже в глазах Тулина. Они снова встречались. Тулин познакомил его со своими друзьями.

Почти все они стали уже кандидатами наук или аспирантами. Крылов — единственный среди них был лаборантом. Это были веселые, смешливые парни.

По субботам приглашали девушек в кафе «Север» или Дом ученых, щеголяли узкими брюками, пестрыми рубашками: нравилось, когда их принимали за стилияг, — ворчите, негодуйте. Девушки дразнили чинных дам из Дома ученых своими туго обтянутыми юбками со скандальными разрезами. Под мотив узаконенных фоксов сороковых годов выдавали такую «трясучку», что старички только моргали.

Из Дома ученых отправлялись к кому-нибудь, чаще всего к Тулину, который жил с матерью и тетками в большой петербургской квартире на Фонтанке, тянули вино, распевали блатные песенки, яростно обсуждали музыку будущего, живопись Пикассо. Слушали записанный на магнитофоне ультрасовременный джаз, но неизбежно к полуночи оказывалось, что они спорят о взаимоотношении микро- и макромира, радиоастрономии, кибернетике, о вещах, которые занимали тогда всех — и дилетантов и специалистов.

Для них были открытием только что переизданные рассказы Бабеля, очерки Кольцова; появились стихи Цветаевой, публиковали документы, неизвестные при Сталине. Больше всего волновали их вопросы, связанные с последствиями культа, и они горячо и самоуверенно перестраивали этот несовершенный мир. Вместе с Лангмюром, Нильсом Бором, Курчатовым и Капицей они владели важнейшей специальностью эпохи, от них, полагали они, зависит будущее человечества, они были его пророками, благодетелями, освободителями.

У всех у них были блестящие перспективы, незаурядные способности (двое были талантливыми, трое одаренными, остальные гениями), они подавали надежды, составляли «цвет» научной молодежи, служили примером и грозили «перевернуть». Они были возмутительно молоды (на каждого приходилось в среднем 0,25 жены и 0,16 детей), зато средний теннисный разряд доходил до трех с половиной, зимой они ходили на лыжах, летом говорили, что презирают футбол. Они могли стерпеть любое обвинение в невежестве, но смертельно обиделись бы, если кто-нибудь усомнился бы в их умении плавать с аквалангом. Все они печатали статьи в физических журналах, подрабатывали в реферативном журнале. Тех академиков, которых они обожали, они звали Борода, Кентавр, Шкилет, остальных считали склеротиками. Они всячески старались показать, что им нравится то, что бранят или осуждают. Яростно защищали экспрессионистов, но никто из них толком не знал, что это такое. Они нахваливали конкретную музыку и в то же время аккуратно ходили в филармонию, стояли в очереди на концерты приезжих знаменитостей и восторгались Бахом. А когда под Новосибирском начали создавать филиал Академии наук, они первые подали заявления. Тулин был в отчаянии от того, что его не пустили, и долго еще завидовал друзьям, которые писали оттуда письма о бараке в лесу с экспериментальной трубой, о новом их кумире Лаврентьеве, который мерз вместе с ними в дощатом коттедже, пока строился будущий город науки.

Крылов возвращался домой по ночным улицам, и голова его кружилась, она задевала облака, и он слышал скрежет миров, которые сталкивались и гибли в безднах космоса.

Галактика неслась сквозь бесконечность, имеющую кривизну, сжималась и вновь расширялась пульсирующая Вселенная. А на крохотной планете Земля, зачем-то разгороженной границами, обыватели копошились в сотах своих жилищ, ничего не слыша, не видя.

Он чувствовал себя Гулливером.

Когда кончался рабочий день, он, выходя из лаборатории, как будто спускался в прошлое, к странным людям, которые еще ездили в трамваях и топили печи дровами.

Он возвращался к ним из будущего, посланец далеких миров.

Эй вы, люди! Знаете ли вы, что вас ждет?

А я знаю! Я только что оттуда! Я помогал делать будущее для вас!

Мог ли его всерьез огорчать кухонный чад, проникающий в комнатку, которую он снимал у старого чудака библиофила!

Временное пристанище брэнного тела. Дух его витал в лаборатории. Что значили по сравнению с этим все житейские мелочи!

Однако стоило ему вступить в облицованный мрамором вестибюль института, он сам превращался в лилипута.

На втором этаже в большой, классного вида комнате собирались теоретики. Рядом помещалась каморка — хранилище каталогов. Крылов забирался туда и, приоткрыв низенькую дверцу, слушал, как теоретики «трепались». Свои семинары они так и называли «треп». Официальное наименование «семинар» совсем не подходило к этому шумному сборищу, где все серьезное перемежалось шутками и, пока писали формулы, рассказывали

анекдоты.

Проблемы, которые здесь обсуждались, требовали такого напряжения ума, что постоянная разрядка была необходима.

Со стороны эти сборища теоретиков выглядели беспечной, веселой болтовней отдыхающих. Впрочем, и весь их рабочий день любому постороннему показался бы более чем странным. Молодой, здоровый парень появляется в институте в десять, а то и в одиннадцать утра, слоняется по лабораториям, зайдет в библиотеку, перелистает журналы, побалагурит в коридоре с девушками. Изредка его можно увидеть за столом — что-то он пишет либо сидит, бессмысленно закатив глаза в потолок. Остальное время — болтовня с себе подобными шалопаями. И это считалось работой!

Но Крылова, который знавал всякую работу, ничто так не изматывало, как часы, проведенные в хранилище, когда он подслушивал «треп» теоретиков. Голова лопалась, и мозги трещали.

— ...Если частицы имеют структуру, значит, у них может быть квадрупольный момент...

— Томас и Швангер показали...

— К черту Швангера!

— Рассмотрим лучше случай частиц с квадрупольным моментом, равным нулю...

Стучал мел по доске. Синие лохмы дыма вылезали из дверей.

— Но Томас и Швангер дают для магнитного момента...

— К черту, десять в одиннадцатой не бывает! Это же натяжка, обман.

— Цыпочка, вернейший способ быть обманутым — считать себя хитрее других. Поэтому возьмем десять в одиннадцатой...

Он слышал, как в этой кухне из гущи фактов вываривается Истина. Отсюда она начинала долгий путь, облекаясь в формулы сперва громоздкие и неуверенные, которые следовало уточнять, проверять во всевозможных камерах, и ловушках, и умножителях, а для этого надо было придумывать аппаратуру, и разрабатывать методику, и строить эту дорогую аппаратуру, и тут вступали в действие фонды, снабженцы, друзья-приятели, телеграммы, звонки, банк, смежники, и все это ворчалось, придиралось, подписывало и не подписывало, а тем временем механики что-то вытачивали, посреди лаборатории что-то монтировалось, отлаживалось, определяли поправки приборов — и наконец ставились опыты, для того чтобы получить десятки, а то и сотни метров пленки и тысячи записей и фотографий. Потом все это надо было обработать, подсчитать, свести в таблицы, построить кривые, проанализировать, передать в институт электрикам, которые, конечно, не желали иметь дела с новой формулой и новыми идеями и которых приходилось уговаривать, и наконец они брались и начинали загроублять и упрощать, перекидывать от изоляционщиков к вакуумщикам, от них — конструкторам, постепенно воплощая все это в медь, стекло, электроды. И в результате получалась какая-нибудь крохотная лампа или усилитель. А через несколько лет уже тысячи таких ламп шли по конвейеру, отданные во власть цеховых технологов, мастеров, в быстрые руки девушек-монтажниц, из которых никто понятия не имел об этой скучного вида тесной комнате, откуда все началось, где зарождались истоки будущих рек, новые идеи и физические законы.

Когда теоретики уходили, Крылов осторожно вступал в опустевшую комнату, подходил к рыжей доске, испещренной уравнениями, вздыхал.

Кто он — экспериментатор или теоретик?

Он доказывал себе, что экспериментальная работа — самое главное. Приборы — это орудия, которыми человек впервые прикасается к тайнам природы. Важно добыть факты. Идеи сменяются, факты остаются. Факты — вечная ценность.

Он медленно спускался к себе в лабораторию, покидая этот недоступный, высший мир чистой мысли, свободный от рубильников, проводов, погрешностей гальванометра.

Постепенно он начинал испытывать угнетение от властной нетерпимости Аникеева. Сила ума Аникеева подавляла, связывала. Рядом с ним думать было невозможно. Все равно, думай не думай, он заставит всех мыслить по-своему. Он насильно вколачивал свои соображения, их убедительность исключала всякие другие поиски.

На Октябрьском прослышали, что у Аникеева получают обещающие результаты по исследованию разряда. Гатенян приехал в институт, и Крылов свел его с Аникеевым. Гатенян хотел заложить аникеевскую разработку в проект новой аппаратуры для линий передач. Крылов был счастлив, что хоть чем-то может помочь своим, но Аникеев встретил главного конструктора холодно.

— Чудеса, — сказал он, — разве на вас нажимают? Делайте, как делали. У нас еще все в тумане, кто вам наболтал? — Он подозрительно взглянул на Крылова.

— Мы весь риск берем на себя, — сказал Гатенян. — Мы верим, что у вас все получится.

Аникеев раскланялся.

— Спасибо. Но вам-то что за выгода? Вы же производственники, вы должны противиться внедрению нового, а вы хватаете из рук недопеченное. Так не бывает. Это ж беспорядок.

Главный натянуто улыбнулся.

— Конечно, если у вас сорвется, получится беда, но еще большая беда, если мы будем выпускать аппаратуру образца сороковых годов. — Он развернул перед Аникеевым схемы аппаратов, применявшихся на опытной линии.

Аникеев поморщился.

— Да, это, конечно, тухлятина. Но подождите, пока мы отработаем.

— Невозможно.

— Пообещай вам, так вы в полной надежде начнете перестраивать производство.

— Факт, — сказал главный. — Будем готовить участки для малых выключателей: отливку трубок наладим.

Аникеев поехал с ним на завод, вернулся оттуда расстроенным, набросился на Крылова.

— Это вы меня втянули, ну как им отказать? Как, я вас спрашиваю?

Было, конечно, страшновато. Результат, технически осуществимый, конструктивный, должен был получиться во что бы то ни стало, вопреки всем случайностям и к намеченному сроку.

— Все равно что обещать вернуть долг из кошелька, который я найду в подъезде через неделю, — бурчал Аникеев.

Крылов только посмеивался: он понимал, Аникеев в душе восхищается и Главным и ребятами из КБ.

И вот тут-то Крылов имел глупость указать Аникееву на масштабную поправку. Крылов предлагал определить ее не опытным путем, а расчетом — так будет быстрее и проще.

Аникеев с непроницаемым лицом выслушал его доводы, и когда наконец Крылов замолчал, Аникеев тихонько запел. Не отрываясь от окуляра прибора, он пропел «Тореадор», «Во поле березонька», «Синие ночи». Потом спросил:

— Вам известно, Крылов, кто опаснее дурака? Не знаете? Дурак с инициативой.

Сотрудник лаборатории Юрий Юрьевич, которого звали Ю-квадрат, сказал, когда Аникеев вышел:

— Сережа, никак ты разозлился? Бессмыслица. Аникеев хамит, как птица летает.

— Он хочет превратить меня в робота!

— Милый мой, еще Маяковский заметил: все мы немножко роботы.

— Посмотрим, кто кого!

Он ненавидел Аникеева. Зажимщик! Аракчеев! Солдафон! Слово «дурак» жгло его. Посмотрим, кто дурак! Втайне он вызвал Аникеева на поединок, но тут же струсил. Слишком безошибочной всегда оказывалась интуиция Аникеева. Но, раз стронувшись, лавина разрасталась. Послушно выполняя все указания, он молча спорил, выискивал слабые места, он превращался в беспощадного врага собственной работы.

Он оставался в лаборатории на вечер, приходил в шесть утра и садился за счетную машину. Но что-то ему не нравилось. Вероятно, где-то в спешке он слишком упростил условия. В решении не хватало стройности. Ему хотелось сразить Аникеева, покорить его...

Крылов свернул на набережную. Голова одурела от папирос и бесконечных цифр. Пропади все пропадом, в конце концов он кое-как доказал то, что хотел. Красота, стройность — это уже от лукавого.

У Петровского сквера перед мотоциклом сидела на корточках девушка.

— Эй! — крикнула она. — Помогите мне, пожалуйста.

Крылов подошел, помог снять покрышку.

— Не уходите, — сказала девушка, — а то мне без вас не надеть.

Крылов прислонился к парапету. Набережная была пустынна. Маленькая желтая луна затерялась среди фонарей. Девушка клеила порванную камеру. Кожаные штаны и шлем придавали мужскую размашистость ее крепкой фигуре.

— Чего бродите по ночам? — спросила она. — Вы что, лунатик или беспризорный?

— Лунатик.

— Модная специальность. Особенно в марте.

Крылов недоверчиво огляделся. Отовсюду сочилась вода. Город был мокрый. Капало с крыш, трубили водосточные трубы, сипели люки, на выщербленных парапетах блестели лунные лужицы. Лед на Неве истоньшал.

Был действительно конец марта. Женщины всегда в курсе подобных вещей.

Девушка поднялась, вытерла руки.

— Могу закинуть вас домой.

Они мчались по спящим улицам, разбрызгивая лужи. Мотоцикл стрелял оглушающе. Крылов крепко держался за скобу. Девушка пригибала голову, и тогда в лицо Крылову с размаху ударял влажный воздух. Во всю длину проспекта горели, меняясь, высокие огни светофоров. Машин не было, а огни вспыхивали — желтые, зеленые, красные. Жиденькой черноты небо поднималось все выше и выше над землей, поднимая с собою звезды и луну.

Она резко затормозила у его дома, и Крылов ткнулся лицом в ее плечо.

— Лихо? Напугались?

Он что-то промычал.

— О чем вы думаете?

Рассвело. На крепком, скуластом лице Крылов увидел блестящие, как будто тоже мокрые, развеселые глаза.

— Вычислял, сколько человек мы разбудили в городе.

— Сколько?

— Примерно семьдесят тысяч.

— Здорово! А кто вы такой?

— Физик.

Она с сомнением осмотрела его драный плащ и посинелый нос.

— Допустим. Значит, семьдесят тысяч. — Она, улыбаясь, уселась на мотоцикл. — Физик, вы мне понравились, потому что не лапали. Я не выношу, когда меня на мотоцикле начинают лапать.

Он невольно уставился на ее острые груди под курткой и покраснел.

— Спасибо за помощь!

Глаза ее беспрестанно улыбались, но как бы поверх этой неудержимой улыбки она улыбнулась ему еще одной улыбкой — для него.

Воодушевясь, Крылов сдвинул шляпу на ухо, взял девушку за плечо в соответствии с лучшими традициями тулинской компании: мадемуазель, вы прелестны. Как насчет субботы? Молодой ученый на весь вечер в вашем распоряжении. Давайте телефончик...

Словом, что-то в этом роде.

Сперва она выпучила глаза, потом прыснула, и он немедленно почувствовал себя идиотом.

— Нет, серьезно, может быть, мы встретимся? — жалким голосом повторил он.

— Ну вот, начинается, всегда одно и то же. Послушайте, милый физик, это уже неинтересно.

Она стрельнула мотоциклом и укатила в туманную тишину улиц. Единственное, что осталось от нее, — черные цифры на желтой жестянке. «52—67», — уныло повторял он, снимая забрызганные до колен брюки и укладываясь на свою узкую кушетку.

Учинив тщательную проверку своим расчетам, он показал, что поправка, которой пренебрегал Аникеев, меняет на сорок процентов результаты измерений. Он обвел эти сорок процентов роскошной рамкой, под которой нарисовал герб в виде кукиша на фоне приборов, пронзенных вечным пером. До начала работы оставался час. Подложив под голову справочник, он заснул на столе Аникеева безмятежным сном победителя.

Неизвестно почему, в это утро Аникеев явился раньше сотрудников. Как бы там ни было, Крылова разбудил его рыкающий смешок, Аникеев стоял над ним, и в руках его была тетрадь с расчетами. Крылов не вскочил, не смутился, не стал извиняться. Протерев глаза, он скромно потупился в ожидании похвал, общего ликования и сконфуженных признаний Аникеева. Следовало быть великодушным. Кто из нас не ошибался, скажет он Аникееву, не будем вспоминать прошлое... Ошибки великих людей должны быть достойны их деяний...

Дочитав тетрадь, Аникеев громко высморкался и сказал:

— Доказали.

— Кто из нас...

— Помолчите. Мне такие приткие лаборанты не нужны. Можете отправляться.

— Куда отправляться?

— А куда угодно.

Он швырнул тетрадь и ушел, не взглянув на Крылова.

— Все равно вы учтете мою поправку! — крикнул ему вдогонку Крылов.

Подобно остальным мученикам науки, он готов был взойти на костер. Собирая свои бумаги, очищая ящик, он придумывал последнюю фразу, которую следовало бы записать в лабораторный дневник. Если бы не Гоголь, его устроило бы «Чему смеетесь? Над собой смеетесь!».

Через час вернулся Аникеев. Не глядя на Крылова, пробурчал, что по распоряжению директора Крылова назначают научным сотрудником и дают самостоятельную тему.

Ошеломленный Крылов, ни слова не говоря, пошел оформляться, но с полдороги вернулся к Аникееву.

— Наверно, это вы меня рекомендовали.

— Как бы не так! — сказал Аникеев. — Нашли благодетеля.

— Конечно, вы. Спасибо, знаете, я...

— Послушайте, Крылов, подберите ваши слюни и заткнитесь.

— Я боюсь брать самостоятельную тему.

— Бойтесь, тогда двигайте в счетоводы. Но, может быть, из вас что-то получится. Почему? Хотя бы потому, что мне вас ничему не удалось научить. Для меня главное — ничему не научить. Если это выходит, значит, из человека может что-то получиться.

В связи с этим событием Крылов явился к Тулину с бутылкой коньяку. Ее хватило на пять тостов. Для шестого они, обшарив шкафчики, вылакали остатки из липких бутылок ликера и тогда со спокойной совестью отправились в ближайшую шашлычную.

Тулин заказал шашлык по-карски и соответствующим образом подмигнул обоими глазами Остапычу, после чего Остапыч принес к шашлыку две раскупоренные бутылки крюшона и тоже подмигнул. Крюшон был прекрасен, они крякали и закусывали крюшон грибами, луком, и Крылов постепенно перестал сомневаться в своей способности вести самостоятельную тему.

— Ты становишься человекоподобным, — сказал Тулин. — Я тебя давно учил: начинай высшую нервную деятельность. Теперь ты вышел на орбиту и дуй. Нельзя терять ни минуты. Давай выпьем. И чтобы поставить себе цель. У тебя есть цель? Ты чего хочешь?

— Я хочу... я хочу того, чего я хочу!

— Точно. Это формула!

— Я сам себе хозяин. Я взрослый. Кончена молодость. Но ты мне скажи, Олег, а почему меня тянет на теорию? Все-таки теоретики — они рулевые.

— Болтуны они, твои теоретики! Что они могут перед экспериментом? Может, ты Нильс Бор? Или Ландау? То-то! Или быть всем, или идти на административную работу. А в эксперименте, знаешь, можно такую птицу за хвост ухватить! Теоретиков много. Эх, Серега, мы, брат, со своим шефом накануне такого... Тьфу, тьфу, тьфу! Открыть можно такое явление! Мы люди дела. Нам подавай живое дело. Чтобы видеть глазами, руками щупать. Вот оно тут. Пусть там схоласты рассуждают.

— Ну и пусть они рассуждают. А мы чернорабочие. Мы базис.

— Мы измерим градиент. И будь здоров и не кашляй — вся теория вверх тормашками.

— Аникеев — гений. И Дан — гений.

— А Капица нет, по-твоему? Капица, брат, еще больше гений.

— А ты, Олежка, наверное, тоже будешь гением.

— Гении устарели. Гении в науке — все равно что парусники во флоте. Романтика прошлого! Сейчас навалится скопом и решают любую проблему. Коллективное творчество, вот тебе и есть гений! Мой шеф — почти гений, а что он без нас — единица. Пусть я ноль. Я согласен. По сравнению с ним я ноль. Но я тот ноль, который делает единицу десяткой.

— И я ноль!

— Я убеждаюсь, что квантовая механика зашла в тупик. Почему? Вот сидит красноносый спекулянт, пусть он нам объяснит. Де Бройль не ребенок. Если он герцог, то что же, значит,

нечего с ним считаться? Нет, Серега, пусть он герцог, но квантовая механика, она не способна...

Крылов был согласен, и они вдвоем без особого труда разгромили квантовую механику, затем навели порядок среди элементарных частиц, но, чтобы окончательно оконфузить всю школу Нильса Бора, им пришлось заказать еще бутылку, которую Остапыч доставил им уже внутрь атомного ядра. Они распили ее строго квантованными порциями, и тогда им наконец удалось раздробить электрон. К тому времени Тулин уже стал академиком и лауреатом, а Крылов защитил докторскую. Тулин выступил оппонентом. Крылов устроил банкет, они позвали всех своих знакомых девушек. Они обсуждали музыку Шостаковича, утерянные секреты фейерверков, радиоактивность крабов, женские достоинства Екатерины Второй и способы лечения рака.

Выслушав рассказ Крылова о девушке на мотоцикле, Тулин решил, что они обязаны во что бы то ни стало разыскать ее, и потащил Крылова в отделение милиции. Когда их оттуда выставили, они отправились в ГАИ, и Тулин вдохновенно описал потрясенным инспекторам, как его друга у него на глазах переехала девушка на мотоцикле «52—67». Она не просто переехала, она ездил по распластанному Крылову взад-вперед и при этом кричала, что никакая инспекция ей не страшна. Он клялся и божился, что все это святая правда, готов был подписать любые протоколы, показывал на Крылова, кроткого и беспомощного, и вконец поразил инспекторов, сообщив им о том, что они с Крыловым находятся Накануне величайшего открытия в физике.

Выпили? Да, они вынуждены были выпить, чтобы как-то прийти в себя после катастрофы. Со слезами на глазах он снова начинал описывать нападение мотоцикла «52—67», приводя ужасающие подробности.

Их провели в отделение, сняли показания, но когда дело дошло до адреса, то Тулин никак не мог вспомнить улицу, на которой он живет, он позвонил профессору Чистякову, чтобы узнать свой адрес. Потом Чистяков о чем-то говорил с дежурным инспектором, но это уже было неинтересно, так как Тулин и Крылов выяснили, что Аникеев — более великий ученый, чем Чистяков, ибо Аникеев носит подтяжки.

Следующие три часа они провели в обществе трех пьяных шоферов и одного лихого карманника, который никогда не читал Фрейда. Они отлично поговорили с ним о гипнозе и снах, но некоторые положения доказать не удалось, потому что их повели к дежурному знакомить с владелицей мотоцикла «52—67». Ее звали Лена — Елена Николаевна Бельская. Дальнейшие события заняли не больше пяти минут. Гражданин Крылов, глядя в желтые от бешенства глаза гражданки Бельской, со вздохом признался, что никаких телесных повреждений он не получил и все его показания были вызваны желанием увидеть гражданку Бельскую, к каковой никаких претензий он не имеет. Гражданка Бельская сперва потребовала передать дело на гражданина Крылова в суд, считая достаточным три года исправительно-трудовых работ, но вскоре уменьшила срок до пятнадцати суток. Гражданин Тулин и вышеуказанный Крылов были оштрафованы на 50 рублей каждый. Кроме того, учитывая состояние опьянения и отсутствие денег и документов, гражданин Крылов был задержан в дежурной камере для выяснения личности.

Утром Крылов вышел на улицу, содрогаясь от головной боли. У подъезда на мотоцикле сидела гражданка Бельская и улыбалась.

— Эй вы, задрипанный донжуан, — сказала она, — давайте я вас подвезу.

Она привезла его домой, напоила крепким чаем и при этом так улыбалась, что он полетел в институт, задевая прохожих белоснежными крыльями.

Ему дали проверить распределение объемных зарядов. Ему передали целую установку. Ему дали собственный стол, собственный шкаф. Он сидел на высоком табурете, окруженный приборами, включал, выключал, настраивал, сам себе хозяин, кум королю. Что еще нужно для счастья? Говорят, времена ученых-одиночек прошли. Ничего подобного, он работал один, не чувствуя никакого одиночества. Он обсуждал свои проблемы с Лангмюром, Нильсом Бором, Штарком и еще двумя десятками причастных к его работе стариков. Подобралась отличная компания спорщиков и советчиков, правда, чем дальше, тем чаще они разводили руками и отмалчивались.

После первых измерений ему показалось, что картина распределения получится слишком грубой. Он решил уточнить методику. Перебрал несколько сортов нитей подвески. Поставил сверхчувствительный гальванометр. Затем ему пришло в голову автоматически стабилизировать температуру прибора. Учесть искажающее влияние трансформатора...

— Почему вы не учитываете полярных сияний? Заряды кота у сторожихи? — спросил его Аникеев. — Вы больны. Болезнь называется «немогуостановиться». Научитесь себя ограничивать. Получили примерную величину и двигайте дальше. Искать истину в последней инстанции — зряшный труд. И существует ли она, эта последняя инстанция?

Не будь Аникеева, он бы совсем запутался. Чего стоила ему одна лишь битва с компенсатором! Они не ладили с первой минуты — Крылов и компенсатор. Издеваясь над всеми законами, компенсатор показывал что ему вздумается. Крылов наклонял его, менял лампы, свирепея, тыкал карандашом в подвеску, пока компенсатор не взбесился. Они возненавидели друг друга. Теперь компенсатор назло показывал все наоборот. Крылов разобрал его до винтика, снова собрал; тогда компенсатор пустился на подлость, он прикидывался исправным, но в разгар измерений показывал невесть что, путая все данные.

Пришел Аникеев, ни слова не говоря, примерился и хрястнул панель своим кулачищем так, что компенсатор сразу присмирел и заработал, как будто ничего не было.

Аникеев одолжил импульсный генератор. Аникеев помог найти одну из сорока возможных причин погрешностей. Словно вынюхивая, Аникеев водил по шкалам висячим носом, и его лицо с большой обезьяньей челюстью казалось Крылову воплощением доброты и братства.

Крылов завидовал ему мучительно, стыдно. Чтобы стать мало-мальски приличным экспериментатором, ему не хватало терпения возиться с приборами, характера для войны с механизмом, умения хитрить с начальством, ладить со стеклодувом, недоверия к справочникам, юмора, фантазии, мягкости, твердости, смелости, осторожности... Постепенно выяснялось, что он не умеет работать с вакуумом, ругаться, переводить с итальянского, составлять библиографию. Хуже всего было то, что в институте все от него чего-то ждали.

Его стычки с Аникеевым, назначение были приняты как свидетельство необычного характера. Его робость считали скромностью, замкнутость — сосредоточенностью и даже неумелость оценивали как свежесть ума.

Он чувствовал себя авантюристом, шарлатаном, обманщиком, которого в любую минуту могут разоблачить. Особенно страшен был для него Данкевич. Он старался не попадаться ему на глаза и семинары, на которых выступал Данкевич, подслушивал из хранилища.

Те, кто хотел работать у Данкевича, должны были сдать минимум. Так называемый Дан-минимум, или дань-минимум: комплекс задач и вопросов, придуманных самим Данкевичем. Никаких официальных званий или дипломов за сдачу минимума не полагалось, не выставлялось отметок, ничего нигде не отмечалось, и тем не менее каждый электрофизик считал честью выдержать этот добровольный экзамен.

Данкевичу было все равно, кто перед ним — доктор наук или молодой инженер, — никому никаких льгот. Такое отношение многим маститым не нравилось, но Данкевич не обращал на это внимания.

Молодежь обожала его. Вечно за ним таскался хвост поклонников, подхватывая на лету его замечания, изречения. На семинарах ему принадлежало решающее слово. Не по старшинству, а в силу его редчайшей способности предельно упрощать любую запутанную проблему. И так как эта простейшая модель или идея возникала перед ним раньше, чем перед другими, то если посреди доклада он говорил: «Мура!» — все знали, что ничего не получится.

В чем секрет таланта Данкевича? Были математики способнее его, были физики, которые знали больше, чем он... Аникеев отвечал на это с улыбочкой:

— Очень просто, Дан видит все немножко иначе, чем мы, вот и вся хитрость.

Город, как все большие города, не был оборудован для любви. Повсюду ходили люди, повсюду дул холодный ветер. Сады стояли закрытыми. На мягких от сырости бульварных скамейках сидели старики и няньки. В комнату Крылова сквозь фанерную перегородку доносилось каждое слово, каждый шорох.

Из века в век он и она искали уединения и приюта и не находили. Им приходилось удаляться на луну, на самые дальние созвездия или, когда удавалось купить билеты, в кино. Там темнота укрывала их от всего мира. Там не было ни лиц, ни глаз, только сплетенные пальцы.

Потертая беличья шубка почти не грела. Лена выглядела грустной, усталой, совсем не похожей на ту, с которой он познакомился. Она была ниже его на полголовы, ему хотелось согреть ее, взять на руки.

Они садились в последний ряд, грызли вафли и болтали всякую ерунду. Не будь между ними глупого подлокотника, они чувствовали бы себя совершенно отлично. Не надо было стараться умничать, он говорил что вздумается и мог вести себя свободно, и все же он не решался взять ее маленькую шершавую руку, прижать к щеке, и эта робость была особенно приятна. На экране страдали, произносили какие-то красивые слова, вздыхали. Лена тихонько посмеивалась: дребедень, — и сразу картина превращалась в пародию. Но бывало и так, что Лена усаживала его на место героя в автомобиль, и они неслись по горным дорогам к морю, не обращая внимания на злодея-помещика, оставались вдвоем в охотничьем домике, уписывая огромные окорока перед камином...

— Хочу есть, — заявляла Лена.

Крылов предлагал пойти в ресторан.

— Послушайте, физик, — говорила она. — Не пижоньте. Вам это не идет.

Они покупали горячие пирожки и съедали их тут же, в «Гастрономе», запивая томатным соком.

Крылов провожал ее домой. Небо было полно звезд. Ему пришла в голову странная мысль. Он преподнес ее Лене, как преподносят цветок. Никогда раньше он не раздумывал о подобных вещах.

— Не правда ли, интересно, что мы видим Вселенную не такой, какая она есть, а молодой,

какой она была много лет назад? Может быть, и этих звезд уже давно нет. Нас окружает прошлое, настоящее — это только мы... А если с дальних планет смотрят на нас, то и они нас не видят. Они могут видеть Октябрьскую революцию. Или как Пушкин едет на дуэль. Какое-нибудь утро стрелецкой казни.

Лена остановилась, поднялась на цыпочки, притянула его голову и поцеловала. Он невольно оглянулся на прохожих, но тотчас устыдился этого движения и сам поцеловал ее в солоноватые, пахнущие томатным соком губы.

— Я бы пригласила тебя к себе, — сказала она, спокойно перейдя на «ты». — Но понимаешь, мамаша, сестренки — не та обстановочка.

Быстрая теплая весна помогала им изо всех сил. Когда темнело, они перелезали через решетку Летнего сада и, прячась от сторожа, носились по хрустким, исчерканным тенями аллеям.

Зеленый свет стекал с мраморных плеч богинь. Их белые обнаженные руки слегка просвечивали. Богини были прекрасны. Лена замирала, в восторге задрыв голову, зубы ее блестели, а Крылов думал, что самое великое искусство бессильно перед теплом ее жесткой руки, что эта курносая скуластая девушка куда большее чудо, чем все мраморные красавицы.

Лена работала на кинофабрике помощником оператора. Она знала художников, композиторов, запросто командовала знаменитыми артистами, — таинственный, незнакомый мир, перед которым Крылов чувствовал себя вахлаком, бесцветным и скучным.

Как ни странно, она словно не замечала своего превосходства, тяготилась его расспросами, но и его дела нисколько ее не занимали, ей доставляло удовольствие болтаться по городу, носиться на мотоцикле, встречать в уличные происшествия, грустить, озорничать. Она словно вырывалась на волю и затевала шумную, неутомимую игру, умея извлекать отовсюду удовольствие.

— Сегодня самый счастливый день в моей жизни, — заявляла она.

— Позавчера ты говорила то же самое.

— Позавчера уже нету. И завтра нету. Есть сегодня. И надо прожить его так, чтобы оно было самым счастливым.

Она никак не покушалась на его время. Когда он однажды задумался и начал заносить в блокнот какую-то схемку, Лена незаметно исчезла. Без всякой обиды. С тех пор она только предупреждала: «Если тебе надо заниматься, ты не стесняйся. Хуже нет, когда парень таскается по обязанности». Его это устраивало и тревожило. С такой же легкостью она вообще могла вдруг исчезнуть.

Чем-то она напоминала ему Тулина. Легкостью? Жизнелюбием? Непонятно, почему она относилась к Тулину равнодушно.

— Наверно, мы слишком одинаковы. Это всегда скучно, — ответила она и, прищурясь, оглядела его новый галстук, разрисованный пальмами. — Чего ты стилияешь? Лучше бы купил себе ботинки.

Он было огорчился, но Лена обняла его за шею.

— Чудик! Ты мне понравился таким, и нечего пыжиться. Все равно Тулина тебе не переплюнуть. Ты из породы лопухов.

Она твердо установила товарищеский порядок — когда у него не было денег, платила она, и никаких церемоний. Откровенная наотмашь, она презирала условности. Вначале это коробило его.

— ...Таскался за мной один парень. Ужасный интеллигент. Однажды гуляли мы долго, я смотрю, чего-то он жмется, потеет. «Может, тебе в уборную надо?» — спрашиваю его. Так он на меня обиделся. Стыдить начал и все жует какую-то резину насчет сюрреалистов. Наконец вижу — заговаривается. Отпустила я его. А он как дунет в первую подворотню! Вот тебе и сюрреалисты! У меня, значит, грубость, низменное восприятие, а то, что он три часа ходит со мной и только думает про подворотню, — это поэзия, рыцарство.

В ее веселом вызове условностям было и нечто серьезное. Как-то она призналась:

— От красивых слов у меня оскомина. Представляешь, целый день репетируем всякие фразы. Сперва режиссер, за ним помощник, затем звукооператор, потом артисты — все повторяют, добиваются естественности. Слышать не могу! Выругаешься — и вроде горло прочистила. Такие правильные слова, как уже кем-то обсосанные карамельки в рот кладут. А ведь когда-то они были чистые и хорошие, эти слова, и, наверное, волновали.

В тот год весна двигалась с юга со скоростью семидесяти километров в сутки. Ее стремительный шаг подгонял Крылова. Работа вдруг покатила быстро и легко, как со склона. На столе появились пачки фотографий для отчета. В журнале «Техническая физика» опубликовали его статью. Крылов подарил оттиск Лене.

Запинаясь на каждом слове, она попробовала читать: «Релаксация... флуктуация... Конфигурационное пространство». Кошмар какой-то, неужто он все это знает? Она посмотрела на него с восхищением, словно впервые увидев. Так, значит, он настоящий физик? Признаться, она подозревала, что он заливает ей, в лучшем случае лаборант или механик.

Она потащила его на вечер в Дом кино и гордо представляла своим знакомым: физик! Бойкие, языкастые красавцы разговаривали с Леной о каких-то павильонах, сценариях, вырезанных кадрах, весело ругали какого-то режиссера, называя его «подлецом запаса», и Крылов глухо ревновал Лену, уверенный, что каждый из этих пажонов должен казаться Лене куда интереснее его, и не понимал, зачем же она возится с ним, зачем он ей.

Внезапно издали, поверх толпы, гуляющей по фойе, он увидел взлохмаченную, тронутую сединой шевелюру.

— Смотрите, смотрите, Данкевич! — восторженно зашептал он.

Кто-то обернулся, кто-то протянул:

— А-а-а!

Молодой режиссер спросил:

— Это что за птица?

— Как, вы не знаете Данкевича? — изумился Крылов.

Выяснилось, что никто понятия не имел о Данкевиче. Молодой режиссер, блистая эрудицией, составил дикую окрошку из Эйнштейна, Ферми, Денисова, атомной бомбы, античастиц и Тунгусского метеорита.

Крылов был потрясен. При чем тут античастицы? При чем тут Денисов? Знать Денисова и не знать Данкевича! Почему никто не видит сияющего нимба вокруг головы Дана? Люди должны

расступаться и кланяться. Среди нас идет гений, человечество получило от него куда больше, чем от всех этих кинодеятелей, вместе взятых.

— По-твоему, мы должны носить его портреты на демонстрациях? — сказала Лена.

— Может быть. Это справедливей, чем продавать фотографии киноартистов у каждого газетчика.

— Что он сделал, ваш Дан? — спросил режиссер.

— О, Дан! — восторженно воскликнул Крылов. — О! Дан! — Он перечислил несколько работ. Маленькие статьи по пять-десять страниц.

— И только! Но это же вроде твоей, — сказала Лена.

Крылов рассвирепел:

— У меня тоже два уха, ну и что же с того? Он гений, а я ничто. — И он закатил им такую речь про Дана, что все притихли.

По дороге в зал Лена шепнула:

— Ты был великолепен! Но все же у твоего Дана шея как у ошипанного гуся.

Они чуть не разругались. Вышучивать великих людей легко, но от этого сам не становишься выше. Зато некоторые восхваляют великих людей, чтобы просиять в их свете. Зато другие... Вообще непонятно, зачем этим другим другие. Разумеется, другие не пишут научных статей... Через десять минут они договорились до полного разрыва и потом никак не могли вспомнить, с чего это началось.

В конце вечера Лена сказала:

— А знаешь, в твоём гусе есть что-то такое...

Крылов был счастлив. Однако «ошипанная шея»... Как это он не замечал, что у Дана действительно длиннющая шея в пупырышках?

Последний год Дан занимался исследованием электрической плазмы. Задача вызвала противоречивые толки. Связь с электрическим полем Земли? А кому это нужно? Слишком абстрактно, вероятность успеха мала, практический эффект неясен.

Самого Дана соображения о риске или удаче нисколько не волновали. Как-то на семинаре он сказал фразу, которая поразила Крылова:

— Надо делать то, что необходимо тебе самому, тогда не страшны никакие ошибки или неудачи.

Этот человек жил где-то на сияющей вечным снегом вершине, куда не доходили обычные людские страсти и тревоги. Вероятно, тогда на Крылова действовало идущее от Лены хмельное ощущение легкости и возможности самого невероятного. Конечно, то была самая идиотская, нелепейшая просьба, но таков был Крылов. Обдумывать свои поступки?.. Для этого он соображал слишком медленно. Он сказал Дану:

— Я бы хотел работать с вами.

Неизвестно почему, но Дан согласился.

— Ну что ж, давайте.

Он сказал это спокойно, как будто речь шла о прогулке, и Крылов поднялся в воздух, не успев уловить мгновения, когда отделился от земли. Собственная дерзость удивила его много позже, в разговоре с Тулиным. Выслушав скептические доводы Тулина (пропала твоя молодость, первые результаты получите через много лет, и то в лучшем случае), он спросил всего лишь:

— Почему ж ты не поспоришь с Даном?

Тулин засмеялся:

— Когда я неправ, я могу любому доказать, что я прав, но будь я трижды прав, Дан убедит меня, что я неправ.

Аникеева огорчила измена физике радиоактивных частиц. При всем уважении к Дану, то, чем занимался Аникеев, было, как всегда, единственно стоящей, самой обещающей, самой увлекательной из возможных тем, и только чудак мог уходить из его лаборатории, да еще накануне пуска новой аппаратуры. Крылов беспечно помахал ему рукой. Самолет набирал высоту. Оставайтесь на земле с вашим здравым смыслом, заботами о результатах и прочими благоразумиями.

Он улетал в страну своего будущего, пронизанную электрическими бурями и вихрями, навстречу полярным сияниям, грозам, шаровым молниям, в непознанный хаос, окружающий Землю. Все эти годы он просто путешествовал среди созвездий, и вдруг он обрел свой собственный Млечный Путь. Выбор казался ему почти необъяснимым, как любовь; из тысяч возможностей его пленила единственная, и надолго, может быть навсегда.

Он умел разгонять поток ионов, собирать объемные заряды, сводить электроны в тончайший пучок, заставлять их двигаться по любой кривой. Частицы, из которых состоял он сам, Дан, любой человек, Вселенная, — эти частицы подчинялись ему, он измерял их заряды, массы, скорость, он делал с ними все, что хотел.

Но эта власть никак не помогала ему в отношениях с Леной. Лена могла исчезнуть в любую минуту, и он понимал, что ему нечем ее удержать. Она жила в другом измерении, на другой планете, там не действовали обычные скрепы. Он мог работать с Даном, он мог сделать любое открытие, стать почетным членом Французской академии наук. «Потрясающе, — сказала бы Лена, — поехали на концерт Рихтера». Мир его увлечений был каменистой пустыней, в которой она не могла пустить корней.

Тайком от Лены он пробовал читать журнал «Искусство кино»; овладев звучными терминами, он пустился в рассуждения. Вроде получалось, однако Лена прищурилась:

— Прошу тебя, не нужно. Дай мне хоть здесь отдохнуть от этой болтовни. Лучше рассказывай про свои заряды. Послушай, я выучила песенку — закачаешься.

— Ты не любишь свою специальность?

— И да и нет. — Она задумалась. — Вернее люблю, только от меня одной мало что зависит. Мы ведь связаны веревочкой. Как бы я ни тянула, хорошей съемкой картину не спасешь. Вот наш художник, талантливый парень, лихие макеты сделал. Ну и что? Картина все равно дрянь. Дрянь сценарий, слабый режиссер. И пропали все старания художника. Все в распыл, в песок, впустую... Ты мне как-то толковал про всеобщий закон сохранения энергии. Почему у нас этот закон не действует? Какой же он всеобщий? Куда девается наша работа, когда

картина паршивая? Может, в пробирках твой закон действует, а для жизни он не подходит.

Никогда он не видел ее такой серьезной и грустной.

— Зато когда у вас картина хорошая, то все затраты окупаются. Люди смеются и плачут, вы заставляете миллионы думать над жизнью...

— И что меняется? В школе мне казалось, что если люди прочли «Дон-Кихота», Чехова, Толстого, то никто больше не может делать гадости...

Провал своей картины она воспринимала всем сердцем, так что и прошлое и будущее, все человечество обрекались на безысходную печаль. Он обнял ее и сказал решительно и быстро:

— Я тебя люблю. Ты слышишь?

Она серьезно кивнула.

— Лена, давай будем вместе. Почему ты не хочешь, чтобы мы были вместе?

Еще не кончив, он почувствовал, как что-то произошло, словно она выскользнула из-под его руки и очутилась далеко-далеко. С разгона он еще мечтал что-то насчет комнаты, как они поселятся, купят... а она уже ласково смотрела на него с другой планеты.

— Зачем торопиться? Не связывай себя. Все это тебе только помешает. У тебя сейчас самая трудная пора, ты сам говорил, как тебе нелегко тянуться за Даном. Подожди. Разве нам плохо сейчас?

— Плохо. Мне плохо. Я не могу без тебя.

— Так я с тобой. Считаю, что я твоя жена. Сережечка, ты любишь компот? Твоя Леночка, твоя кошечка, сварит своему пупсику компотик. — Она прыснула, вскочила, побежала на кухню, и опять все стало игрой.

Вскоре ему дали комнату. Лена приходила, нацепляла передник, мыла, чистила, без конца переставляла кушетку и книжный шкаф, иногда оставалась на несколько дней, но переезжать отказывалась.

Зыбкость их отношений все сильнее мучила Крылова. С ней было весело, неожиданно и пугающе непрочно. Никогда нельзя было быть уверенным, вернется она завтра, через месяц или через много лет. Реальностью оставался только ее уход. Казалось, она была уверена, что и для него это в конце концов только веселая игра, с поцелуями, объятиями, сумасшедшей ездой на мотоцикле. Игра, которая могла зайти как угодно далеко и все равно осталась бы лишь игрой.

Однажды, выведенная из себя его настойчивостью, она вскочила с постели и ушла. Было два часа ночи. Крылов оделся, схватил ее подарок — керамиковую вазу с цветами, швырнул в мусоропровод и отправился гулять.

К рассвету он твердо установил для себя, что любовь — слабость, недостойная мужчины, радость работы выше и чище любых сердечных страданий, Земля электризуется от внеземных источников, у Лены толстые ноги, отношения полов сводятся к физиологии, он ничтожество, никому не интересен, она абсолютно права, он уедет, и она поймет, кого

потеряла, женщин надо презирать.

Все, что было до сих пор, было цветочками. Только теперь он начинал постигать, что значит настоящая работа, какие изнуряющие поиски скрыты за вроде бы беспечным трепом теоретиков. Группа работала с Даном уже несколько месяцев, Крылову пришлось догонять. Поспеть за ходом мысли Дана было невозможно. Крылов то и дело застревал, спотыкаясь о сжатые до предела формулировки, Дан двигался огромными прыжками, и Крылов изнемогал, пытаясь восстановить связь в его рассуждениях, и со стыдом чувствовал, как Дан терпеливо поджидает отстающих.

Время от времени они собирались в кабинете Дана обсудить состояние работ. Полтавский, молодой расчетчик, страшный формалист и при этом любящий щегольнуть цинизмом, неистовствовал: Крылов заставил его трижды пересчитывать результаты, оказалось, что расхождение получается из-за плохой экранизации.

— А откуда я знал? — огрызнулся Крылов. — От твоих уравнений можно ждать чего угодно.

Полтавский горестно обратился к Дану:

— Посмотрите на этого параноика. Он не признает математики. Она для него не существует. Если на то пошло, то я докажу, что он сам не существует.

— Когда вы с этим справитесь, подсчитайте тепловой баланс нового режима, — спокойно сказал Дан.

Нового режима! Это значит, придется перемонтировать всю установку. С высоты его Олимпа все старания Крылова над тем, чтобы впаять какую-нибудь медную трубку, не охлаждая стекла, — жалкая возня.

— Сколько можно возиться с этой мурой? — искренне недоумевал Дан. — Неужели с самого начала нельзя было как следует заэкранировать приборы?

Новые экраны не помогли. Пришлось поставить безыскровые моторы. Но затем стало неясно, допустимо ли моделировать явления в таких масштабах. Дан подсчитал условия, при которых модель правомерна. Модель потребовала исследования на устойчивость процесса. Усилитель не справлялся с малыми сигналами. Заказали специальный усилитель радиоинституту, там попросили подробных технических условий, разрешения министра и право в любую минуту вызывать Дана на консультацию в течение ближайших десяти лет.

И вот наконец, когда все было переделано, отлажено, измерено, то обработка результатов показала, что для переноса одного иона требуется усилие примерно семидесяти пяти паровозов, что электрон занимает объем не меньше двухэтажного особняка и все живое на земле должно чувствовать себя как человек, сунувший пальцы в электрический штепсель.

И снова они сидят в кабинете у Дана, устало издеваясь над итогами двухмесячной горячки. Исходные предпосылки неверны. Формулы нелепы. Теория абсурдна. Налаженная аппаратура — хлам. Все выбросить. Все сначала. Где начало? Нет ничего, голое место. Закон сохранения энергии... Тупик... Боги... А где гарантия?..

Дан невозмутимо рылся в таблицах, расспрашивал, как будто ничего особенного не произошло. Удрученные, они побрели обедать, оставив его одного, обсуждая дорогой, почему Маяковский застрелился.

Крылова вызвали из столовой к Дану.

— Вас к телефону, — сказал Дан.

Крылов взял трубку.

— Сережа, ты что, болен? — услышал он голос Лены.

— Н-нет.

— Почему ж ты вторую неделю не звонишь? Не стыдно?

Невинность ее возмущения не вызывала сомнений. Крылов вспомнил, как она уходила, треск яростно натягиваемых чулок, голое плечо, блеснувшее у окна, и вздохнул.

— Я думал...

— Ты слишком много думаешь. И все о себе. Все твои слова — вранье.

— Понимаешь, сейчас...

— Я хочу тебя видеть.

— Я тоже.

— Пошли сегодня в филармонию.

— Хорошо.

— Где встретимся?

Он беспомощно посмотрел на Дана.

— У входа.

Дан рассеянно сморщил переносицу, поднялся и пошел из кабинета.

— Ты что, с ума сошла! — закричал Крылов. — Ты знаешь, куда ты позвонила?

— Мне сказали, что ты у Дана. Я ему все объяснила, по-моему, он понял.

Дан стоял в коридоре и грыз карандаш. Крылов, опустив голову, хотел проскочить мимо, но Дан остановил его:

— Поздравляю!

— Простите меня...

— Нет, нет, это же прелестно! Абсурд — вот чего нам не хватало! Самое ценное в исследованиях — это найти абсурд. И мы нашли! Абсурд таит всегда принципиально новые вещи.

Приставив к груди Крылова мокрый конец карандаша, он принялся развивать способ «ущучивания» истины. В хаосе полученных нелепостей из тысяч, миллионов возможностей он учил искать тот единственный, решающий вопрос, который следовало поставить природе. Следить за его мыслью было удовольствием, но изнурительное.

Ничто не могло отвлечь его, заставить считаться с усталостью, неудачами, людские слабости проходили словно насквозь, не затрагивая его сущности. Он скорее удивлялся им, чем

сочувствовал.

Чего бы не дал Крылов, чтобы стать таким же.

И все же тайное разочарование, крохотное пятнышко ржавчины появилось в его душе.

Бесспорно, Данкевич гений, и гению разрешено многое, даже заблуждения, но в итоге-то у него все должно получаться красиво, эффектно и быстрее, чем это можно было бы ожидать.

Савушкин грозился бросить все к чертовой бабушке. Он не может позволить себе роскошь мучиться два-три года, чтобы получить отрицательные результаты. Ему нужно защитить диссертацию. У него семья, дети. Ему нужна тема-верняк. Крылов не возражал ему.

Требовательность Дана не знала предела. Поставить более тонкий эксперимент. Еще тоньше. Отделить влияние магнитного поля, влияние фотоэффекта, рентгеновского излучения...

По прошествии двух недель стало ясно, что подготовка методики займет не месяц, а полгода, затем Дан подбросит дополнительные условия, и тогда срок отодвинется лет на полтора. После чего, окончательно установив ошибку, Дан преподнесет следующий гениальный вариант.

Полтавский меланхолично смотрел в окно; на улице бушевало пыльное городское лето, с мороженым, газированной водой, стуком женских каблучков. Люди уезжали на дачи, лежали на пляже, покупали цветы, целовались, женились, рожали, и никому не было дела до того, что пять человек пропадали в лаборатории, не видя света белого.

— Неблагодарные скоты, — взывал к прохожим Полтавский с высоты третьего этажа. — Неужто вас не волнует природа электрического поля Земли? Мы же стараемся для вас, а вы, вместо того чтобы стоять толпами у подъезда и ждать результатов, отправляетесь ловить рыбу!

В конце июля газеты напечатали сообщения о работах академика Денисова по уничтожению грозы. Приводилось описание, как с помощью радиоактивных излучений управляли грозой.

Крылов с восторгом прочел заметку вслух.

— Денисов? — переспросил Полтавский. — Ну-ну.

— Что значит «ну-ну»?

— Междометие.

Крылов обеспокоенно подумал о Тулине, который занимается вопросами активного воздействия на грозу. Но тут же подумал, что тревожиться о Тулине нечего. Дела Тулина шли блестяще, и иначе они идти не могли. Тулин защитил диссертацию. Профессор Чистяков болел, и Тулин в своем НИИ фактически руководил работами отдела. Тулин публиковал научные работы (слишком часто, по мнению Дана); Тулин состоял членом какой-то комиссии. Тулина любили, хвалили, упоминали, сам Дан считал его одним из интереснейших молодых.

Посреди июля Дан объявил вместо отпуска неделю благородной праздности, и всем скопом они махнули на Рижское взморье. Крылов уговорил поехать с ними Лену. Они валялись на песке, купались и говорили о чем угодно, кроме физики. Дан оказался великолепным

резчиком по дереву; из старых корней, валявшихся на пляже, он вырезал фантастических животных. Лене он подарил взлетающую по ветке лисицу. Вообще они с удивлением обнаружили, что Дан уважает гуманитарные науки и никак не разделяет их пренебрежения ко всяким эстетикам, этикам и прочим бесполезностям. Наоборот, он даже считал, им оставлено слишком малое место в жизни. Происходит то же, что с лесами: человечество бездумно вырубает леса, начинается эрозия почвы, остаются бесплодные камни, и никто не задумывается над пагубными последствиями насилия над природой только лишь потому, что последствия эти не оборачиваются против самих нарушителей, страдают потомки.

— Но я могу быть ученым и порядочным человеком, не слушая музыки, — возражал Полтавский.

— Вы да, а общество нет, — говорил Дан. — Что, по-вашему, отличает людей от животных? Атомная энергия? Телефон? А по-моему, нравственность, фантазия, идеалы. От того, что мы с вами изучим электрическое поле Земли, души людей не улучшатся. Подумаешь, циклотрон! Ах, открыли еще элементарную частицу. Еще десять. Мир не может состоять из чисел. Не путайте бесполезное и ненужное. Бесполезные вещи часто самые нужные. Слышите, как заливаются эти птахи?

С ним не боялись спорить, он побивал умом, логикой, а не властью и авторитетом.

На третий день в центральной газете они прочли интервью Денисова. Академик заявлял, что вопросы управления грозой теоретически решены, первые же испытания прошли успешно, остается довести технические детали.

— Еще один блеф, — сказал Дан. Он заметно расстроился и в тот же день собрался в Ленинград; за ним уехали остальные.

— Я свое догуляю, — сказал Крылов. — Шут с ним, с Денисовым, нас-то это не касается. Чего вы заполошились?

— Ну-ну, — сказал Полтавский. — Жил-был у бабушки серенький козлик.

Проводив ребят, они с Леной махнули автобусом в Эстонию. Утром на какой-то остановке Лена вдруг сказала: «Сойдем, а?» Они выпрыгнули из автобуса и очутились в спящем чистеньком игрушечном городке с башнями, крепостными стенами, поросшими акацией. На древней ратуше лениво били часы, по сырой, выложенной красными плитками мостовой ехали к рынку женщины на велосипедах.

Навсегда запомнилось нежное тепло этого утра, базар, полный цветов, скользкие голубоватые пласты холодной простокваши, которую они пили прямо из горшка, зеленый холм, откуда открылись островерхие, красной черепицы крыши городка и дальние мызы, сложенные из дикого камня, и озеро с вышкой, где на упругой доске высоко подпрыгивала загорелая девушка.

Для Лены незнакомый город был начинен неожиданностями. Волнуясь, загадывала она, что сейчас откроется за углом. Вдруг они выходили на площадь, и перед ними взметались в небо сталагмиты огромного костела из багрового кирпича. Внутри костела было холодно, светили цветные витражи высоких окон, гремел орган так, что вибрировало в груди.

Поздно вечером они, спохватясь, помчались в гостиницу. Там, конечно, все было занято. Тогда, не раздумывая, они забрались в городской парк и подле памятника какому-то местному ботанику составили скамейки. Они лежали, подложив друг другу руки под головы, и Лена, глядя на звезды, говорила о том, что лучше, чем сейчас, не будет, а если будет, то тоже не страшно, что вот это и есть счастье и не к чему отодвигать его в будущее.

Имя Денисова Крылов слышал давно, в связи со многими проблемами, но на все расспросы о том, что же сделано Денисовым, никто не мог ответить ничего внятного.

Шум нарастал, одна за другой появлялись статьи, восторженные, деловые, сенсационные: «Власть над молнией», «Укрощенная стихия», «Подвиг ученого».

В университете Денисов читал лекцию. Крылов поехал послушать. На кафедру поднялся маленький широкоплечий крепыш, составленный из частей, принадлежащих разным людям. У него был голый желтоватый череп, рыбий рот и нежно-розовый толстый подбородок. Несмотря на излишне крикливый голос, театральные жесты, он быстро завоевал аудиторию веселой уверенностью. Крылов слушал его с удовольствием. У Денисова все получалось заманчиво просто, дешево, быстро, и Крылов с тоской подумал о мучительно нудной, бесконечной требовательности Дана, лишенной скорых надежд и ясных обещаний.

Несомненно, Денисов умел убеждать окружающих, можно было понять появление очерка известного писателя: «Товарищ небо». Писатель взволнованно делился своим восхищением перед всепроникающим могуществом человеческого разума, дарующим людям власть над грозой. Существо научных работ его не занимало, зато он мастерски нарисовал картины бедствий — ревущие смерчи огня на нефтяных озерах, зажженных молниями, гибнущие в грозе самолеты. Он приводил древние гимны Риг Веды, где Индра своей громовой стрелой рассекает тучи, низводит на землю живительные потоки дождя и людям открывается солнечный свет.

«Извечный источник религиозного дурмана, унижительных страхов, крепость суеверий, символ человеческой беспомощности — все рухнуло, от бывшего могущества останутся развалины — безобидное учебное пособие школьников десятых классов. Гроза демонстрируется по заявкам районо».

Работу Денисова он образно связывал с мечтой народов о мире, о чистом и добром небе над нашей планетой.

Очерк возмутил Дана:

— Это особенно вредно, потому что талантливо.

Он решил выступить на совещании, созываемом Главным управлением совместно с министерствами специально по работам Денисова.

Накануне совещания в институт приехал Тулин. Впервые Крылов видел его таким мрачным и встревоженным. На все расспросы о Денисове Тулин цедил сквозь зубы:

— Подонок!

Тулин провел в кабинете Дана час и выскочил оттуда красный. Молча он сбежал вниз, Крылов еле поспевал за ним. Они неслись по улице, расталкивая прохожих, словно куда-то опаздывая. Вдруг Тулин остановился между трамвайными путями.

— Я ведь о нем же заботился, и он меня еще упрекает! Лезет на ветряную мельницу! Да какой там, лезет на пушку со своим копьем!

— Чего ты боишься? — осторожно сказал Крылов. — Пусть они поспорят. Истина рождается в споре.

— Еще ты меня будешь учить! — со злостью выкрикнул Тулин. — Форменный детский сад! Неужто вы не понимаете, что Денисову сейчас нужен именно такой противник, как Дан? Чтобы утвердиться.

Они очутились в красном грохочущем железном коридоре встречных трамваев. Тулин что-то говорил. По бледному, злому лицу его мелькали тени.

— ...так их распротак. Истина! Истина в споре чаще всего погибает!

— Ты уверен, что Денисов не прав?

— Твой Денисов — авантюрист! Ну и что из этого?

Они вышли на тротуар.

— Почему ты сам тогда не выступишь? — спросил Крылов.

— Поссорилось яйцо с камнем... Кто я такой? Денисов — академик, а я кто?

— Раз Денисов заблуждается, надо ему разъяснить.

— Кроме того, я занимаюсь той же темой. Подумают, что я из-за конкуренции.

— Выяснится, что кто-то из вас неправ, вот и все.

— Даже Голицын, член-корр, патриарх и прочая, прочая, не лезет на рожон. Он тоже говорил Дану, что спор ненаучный и тратить силы на эту галиматью просто неприлично. Все равно что опровергать мордовскую знахарку.

Они остановились у витрины охотничьего магазина и молча разглядывали ружья, блестящие ремни ягдташей, ножи, высокие сапоги.

— Конечно, будь я на месте Дана, я бы вмешался, — сказал Тулин.

— Хм!

— А Дану нельзя. За пределами науки он не боец. Вы должны отговорить его. Денисову известно, что мы связаны с Даном. И все это отзовется на нашей работе.

— Поедем на охоту. Меня Аникеев звал.

— Я Дану высказал все. Пусть он считает меня перестраховщиком, пусть, потом сам поблагодарит. А впрочем, не нужно мне его благодарности.

— Не понимаю. Ты считаешь Денисова прожектором и хочешь, чтобы никто с ним не спорил. Где ж тут принципиальность? И вообще, что же получается? Что ты помогаешь Денисову?

— Да, помогаю. Никто не разоблачит Денисова быстрее, чем он сам. Чем хуже, тем лучше.

Тулин фактами доказывал, как Денисов выдавал желаемое за действительное. На один-единственный удачный опыт уничтожения грозы приходилось четыре неудачных. О них не упоминалось. Много делалось вслепую, эффект мог получиться любой — и уничтожение грозы и ускорение ее, беда была в том, что никакой научной основы у Денисова не существовало. Удачные работы по борьбе с градобитием, которые шли на Кавказе, он беззастенчиво заимствовал, переносил на грозу. Процессы в грозовых облаках, механизм развития грозы, то, над чем бился Тулин, нисколько не интересовали Денисова.

— Почему же твой Чистяков не выступит и другие?

— Ты понятия не имеешь о нашей публике, — сказал Тулин. — Кому охота ссориться с Денисовым! Все равно он одолеет.

— Это еще почему?

— Беби! Культа нет, но служители еще остались.

Трудно было, конечно, разобраться в хитро сплетенных интересах множества людей, хорошо известных Тулину, связанных между собой давними отношениями, построенными на соревновании, заботе об учениках, заботе о собственном здоровье, интересами совместной работы, служебной зависимости и т.п. Но и Крылов понимал, что ребятам, сидящим где-то на высокогорных станциях, нет ни возможности, ни времени бороться с Денисовым. Было ясно, что денисовская затея помешает многолетним серьезным работам разрозненных лабораторий и станций.

В конце дня Дан вызвал Крылова и попросил срочно подобрать материалы об активных воздействиях для своего выступления.

Крылов замялся, он поверил Тулину и понимал Дана, и разрывался между ними.

У Дана сидел Голицын, седой, величественный; Крылов видел его впервые. Голицын вертел между ног палку с костяным набалдашником и заинтересованно разглядывал Крылова.

— Что вас смущает? — нервно допытывался Дан.

Крылов сослался на завтрашние испытания в камере. Кроме того, он не понимал, как это в ущерб собственной работе можно заниматься денисовскими делами, конечно, работы Дана связаны с атмосферным электричеством, с теорией грозы и затея Денисова нереальна, но все же это, так сказать, смежная область...

Под пронзительным взглядом Дана он начал путаться, однако Голицын выручил его.

— Слыхали? — обратился он к Дану, видимо продолжая старый спор. — Молодые и те норовят не связываться с Денисовым. Каверзнейшая личность. А вы, с вашим сердцем... Что он вам, конкурент? Будьте выше этого, разве в такой ситуации можно вести научный спор, тут не наука...

Дан сцепил тонкие пальцы.

— Бог ты мой, поймите, это ж не случай, это как инфекция: если не противиться, она расползется по всему организму, доберется и до нас, и тогда будет поздно. Денисов вводит в заблуждение, мы обязаны сказать правду. Чего бояться? Все еще живем памятью прежних страхов... — Он вдруг замолчал и затем сказал: — Эх, вы... — с печальным гневом и сопровождая это взглядом, который Крылов впоследствии часто вспоминал, как будто Дан смотрел сквозь них, куда-то далеко, в их будущее.

Предсказания Тулина сбывались со зловещей точностью.

Дан выступил и, не снисходя к уровню слушателей, на том строго научном языке, каким он дискутировал на своих семинарах, произвел беспристрастный анализ и сообщил свой приговор. Кроме двух-трех специалистов, никто толком его не понял. Но что Дану до этого, разве Истина меняется от того, что люди не различают ее?

Слушателей раздражало высокомерие этого аристократа науки, пытающегося опорочить Денисова, убедить своими формулами, что все они невежды и болваны.

Ни до кого не доходила его ирония: «Наконец-то мы услышали доклад, где ясно сформулированы научные основы, опубликованные за последние двадцать лет в разных учебниках», его разоблачения: «Раз пси равно шестнадцати, то любой найдет, что релаксация гаммы на два порядка выше», его выводы: «Следовательно, тяжелые ионы будут вести себя, как диполи!»

В ответ Денисов благодушно улыбался.

— Жаль, дорогой коллега, — сказал он. — Оторвались вы от жизни. Вот рядовые инженеры все оценили, а вы не смогли. А почему? Да потому, что они люди дела, с практическим складом ума. С диполями успеем разобраться, а вот сельскому хозяйству надо помогать немедленно. Какие убытки приносит градобитие! А гроза? Вы про нефтяников подумали? Нужды народные нельзя забывать. Немедленная эффективность — вот что решает.

Председатель вежливо спросил Данкевича, что реально он предлагает народному хозяйству.

— Пока ничего, — вызывающе сказал Данкевич. — Во-первых, необходимо закончить исследование по методике нахождения центров грозы, вероятно, тут могут встретиться...

Его «если», «возможно», «надо проверить» произвели тягостное впечатление.

— Вот видите, — с облегчением подытожил председатель, — конца и края не видно. А академик Денисов предлагает немедленные результаты. Как же мы можем отказаться от такой возможности?

Совещание приняло четкий план обширных работ по исследованиям академика Денисова, одобрило его начинание, рекомендовало сосредоточить в его распоряжении отпущенные средства.

Механика дальнейших событий была Тулину ясна, как падение камня.

С мстительным удовлетворением он показал Крылову статью про своего шефа Чистякова, появившуюся в журнале, куда Денисова назначили главным редактором. Статья брала под сомнение правомерность направления, избранного Чистяковым. Денисов энергично очищал решающие участки от людей, мешающих ему; ученики его и приверженцы получали назначения на кафедры, в НИИ, в ученые советы. Доцент Лагунов был прислан к Данкевичу заместителем директора.

Тулин кружил по комнате, раздражительно высмеивал старенькую, облупленную этажерку, репродукцию Ренуара, он придирался ко всему, что попадало ему на глаза, его злило то, как Крылов сидит, как он встает, то, что нет водки, и то, что есть колбаса, злило молчание Крылова и его вопросы.

Встречаясь со взглядом Тулина, Крылов поспешно отводил глаза, как будто прикасаясь к высокому напряжению.

Тулин остановился перед зеркалом, поправил волосы и, глядя себе в глаза, сказал:

— Летел гусь в голове, а стал в хвосте. Не сегодня-завтра мою тему прикроют.

— Кто прикроет?

Тулин с силой провел по щекам.

— Денисов? — спросил Крылов.

— Найдутся и без него.

— Что же делать?

Тулин обернулся, сунул руки в карманы.

— Что делать? Кто виноват? Любимые вопросы русской интеллигенции. — Он пружинисто прошелся, отшвырнул ногой стул. — Как идет работа у Дана?

Крылов рассказал. Неудача следовала за неудачей. Открылись новые сложности. Начальные предпосылки не оправдались. Кое-что удалось смоделировать, но в общем пока одни развалины. Правда, получены важные данные для понимания природы атмосферного электричества и разрядов в облаках, и если бы не Дан... Он не позволяет отвлекаться в сторону, гонит и гонит вперед.

Тулин сел на кушетку.

— Итак, в ближайшее время вы результатов не получите?

Крылов пожал плечами.

— Где там! Обследователи навалились, Дана треплют, не дают покоя. И, как назло, у меня тоже ни черта не клеится. Меня все сносит на атмосферное электричество, я хотел с тобой посоветоваться, понимаешь, есть возможность и к механизму грозы подойти совсем с иного боку, чем вы, увязать в общую теорию, энергетически...

— Погоди, значит, обследуют? Ну что ж, логично. Еще не то будет. Денисов его не оставит. Не оставит, пока не подомнет.

— Ты преувеличиваешь, — сказал Крылов. — Ведь Дан прав. А если и не прав... Нет, нет. В наше время так не бывает. Может быть, надо пойти куда-то рассказать, я пойду.

— Уже ходили и говорили. Не такие, как ты, ходили. А им — пожалуйста, вот решение совещания. Так сказать, в открытом бою побит ваш Данкевич. А то, что критикуют его, ну что ж, нормально, науке нужна критика. И будь здоров. Приветик. Такая чертовщина, обалдеть можно.

Лицо его зябко съежилось, и Крылову стало не по себе не от слов Тулина, а от того, что Тулин, его Тулин, может перед чем-то отступить.

— Твой Дан во всем виноват, — со злобой сказал Тулин. — Он все испортил. Зачем было их дразнить? Им только этого и надо было. Они провоцируют, а он донкихотствует, губит нас, мостит им дорогу.

— Как ты можешь про Дана...

— Он глуп, глуп, — с каким-то исступленным злорадством повторял Тулин. — Краеугольный камень. Олимпиец. Кристаллическая решетка, а не человек.

Крылов страдальчески сморщился.

— Ну, это зря... Разве можно требовать от Дана какой-то дипломатии? Он мыслит другими категориями. А ты знаешь, как он мыслит. Это молния. Ему все можно простить.

— Кому нужна сейчас эта молния? Молнией задницы не согреешь. Все горит, пожар, а Дан наблюдает в телескоп...

— Не смей говорить о нем плохо! — закричал Крылов. Впервые он осмеливался кричать на Тулина, впервые он взбунтовался. — Как ты смеешь? Дан — святой человек, гений.

Тулин закинул ногу на ногу, успокоенно-холодно улыбнулся.

— Да?

Крылов оторопел.

— Что «да»?

— Барашек ты мой. Гении нынче получают после смерти, а мы его при жизни сделали гением. Он возомнил и решил, что все может.

— Ничего подобного. Все это вздор. Вздор! — бормотал Крылов.

— Мой совет — оставь его, пока не поздно. Ты сам говорил, что успех и не брезжит. Дан занесся и взялся за непосильную задачу, из-за него ухлопаешь лучшие годы впустую. И кроме того, помани мое слово: вам нормально работать не дадут.

Крылов мучительно потирал лоб.

— Нет, ты нарочно пугаешь меня. Только это все вздор.

— Зачем же мне пугать тебя? Ты уже убедился, что я прав.

— Если бы Дан позволил, — сказал Крылов, — я бы... Понимаешь, пользуясь дановской теорией поля, можно рассмотреть природу грозы...

Тулин скучливо отмахнулся — непрактично, уязвимо с точки зрения результатов.

— Такой темой можно заняться и лет через пять, — сказал он. — Держись-ка ты лучше за землю, парень.

И он так выразительно оглядел круглую, курносую физиономию Крылова, что тот покраснел.

— Я и не рассчитываю... Ну не получится, зато как интересно! Кто-то ведь должен начать. — Крылов помолчал. — Тебе-то хорошо рассуждать.

— Мне хорошо, — сказал Тулин. — Между прочим, мой шеф решил сдать Денисову на милость.

Крылов поднял голову. Глаза Тулина были стеклянны.

— И я с ним, — сказал Тулин. — Бухнемся в ноженки. Владейте нами. Мы перебежчики. Ему сейчас перебежчики нужны. Самый момент.

— Не юродствуй.

— Денисов, конечно, облобызает нас.

— Зачем вам это?

— Работу спасти надо. Работу, понятно? Мой шеф здраво рассуждает, — хоть черту душу заложить, лишь бы дело делать. По-твоему, лучше слезы точить, жалобы писать? Нет, голубок, перед такими, как Денисов, нечего стесняться. С ними надо бороться их же методами. Нечего брезговать. Притвориться? Пожалуйста! Врать? Готов! На все готов. Потом успею руки помыть.

— Что ж это тебе даст?

— Поставлю условия. Дорогой владыка, я ничем вам мешать не буду, перекую мечи на орала, только не трогайте мою тему. Дайте мне доковыряться. Он, конечно, тоже поставит условия. Приму. От всего отрекись. Чего кривишься? — Он вскочил, стиснул кулаки, глаза его словно разбились, сверкая острыми осколками. — Медуза ты интеллигентская! Всех бы вас, чистоплюев... Невинность! Благодородство! А внутри-то — трусливый импотент!

— Ну-ну, — ошеломленный его гневом, пробормотал Крылов.

Тулин схватил с вешалки свой темно-серый плащ.

— А ты, вместо того чтобы поддержать меня... Думаешь, очень приятно залезать в это дерьмо? А я лезу... Разумеется, куда как красиво взойти на плаху! Но от этого, милый, работа над грозой не продвинется ни у тебя, ни у меня. Ведь Денисов-то сам ничего не сделает. У него все это афера. Пшик! Дан прав.

— Ага! Вот видишь. И я знаю, Дан — настоящий ученый. Он никогда не пойдет против своих убеждений. Он, как Галилей, будет твердить: а все-таки она вертится! Настоящий ученый иначе не может. Что бы ни было!

Они стояли друг против друга, взъерошенно-непреклонные, пряча сомнения и растерянность.

Первым заговорил Тулин. Нервная усмешка дергала его губы.

— Эх ты, грамотей грамотеевич! Известно тебе, что, несмотря на эту фразу, Галилей все-таки отрекся. Ради того, чтобы иметь возможность работать дальше. Он был деловой товарищ. И, как известно, история его оправдала. История! А ты кто такой? Может, она, история, мне тоже памятник поставит. И тебе. Не волнуйся. Если уйдешь от Дана, обязательно памятник схлопочешь. Только мне на коне. А тебе, — он подмигнул, — тебе на мотоцикле.

Он снова был старшим. Как бы они ни ссорились, что бы Олег ни делал, в их дружбе, наверное уж навсегда, он останется старшим.

С внезапной детской нежностью Крылов взял Тулина за руку.

— Не ходи к Денисову. Я не верю, что ты к нему пойдешь.

Тулин милостиво поинтересовался:

— Это почему?

— Если бы ты решил пойти, то зачем бы ты мне рассказывал. Ты бы сперва к нему отправился. А тебя совесть мучает. — Приободренный молчанием Тулина, он сказал убежденно: — Есть все же вещи сильнее всякой науки и логики.

Тулин молчал, улыбался, и Крылов сконфузился.

— Передо мной тоже проблема, все же мне охота...

Тулин посмотрел на часы.

— Мне б твои проблемы, я был бы счастливым человеком.

Крылов вернулся в комнату, включил чайник, открыл окно, нарезал хлеб, намазал бутерброды, выпил чай. Из всех людей на земле ему нужна была сейчас Лена, одна она. Чтобы она пришла, села на подоконник, и он, не торопясь, поговорил бы с ней, рассказал бы ей все.

Всегда ему доставалась роль слушателя. Даже тогда, когда ему необходимо было посоветоваться, все равно как-то получалось так, что его перебивали и заставляли слушать. То, что говорили другие, всякий раз оказывалось важнее его личных забот. Никому почему-то не приходило в голову расспрашивать его. И ни у кого не находилось времени выслушать его.

Он сидел за столом и мысленно звал Лену. Он внушал ей: ты должна прийти. В конце концов существует же какое-то действие на расстоянии, какие-то биотоки или телепатия, или еще какая-нибудь чертовщина. Нужно сильно захотеть — и Лена почувствует. Должен быть хоть один человек на свете, которому ты нужен.

В раскрытое окно вливался шум улицы. На фоне пунцово-закатного неба возникла фигура Лены. Она быстро скользнула по острым железным волнам крыш. Рама окна была рамой картины. Лена, запыхавшись, уселась на подоконник, отодвинула горшочек с кактусом и разгладила юбку.

— У меня масса времени, — сказала она. — Мы никуда не пойдём. Не удивляйся, можешь сидеть, рассказывать сколько влезет. Мне страшно хочется узнать, что у тебя происходит.

— Нужно, чтобы был хоть один человек в мире, кто хочет тебя слушать, — сказал он. — Ты знаешь, раньше люди исповедовались, и им становилось легче. Иногда нужно просто, чтобы тебя кто-то слушал. Просто слушал бы и кивал головой. Человеку надо иногда открывать свою душу.

— Давай ближе к делу.

— Вот видишь...

— Ну не буду, не буду.

— Я бы построил специальные дворцы, посадил туда мудрых людей, чтобы к ним можно было прийти и поговорить. Никакой власти им не надо. Только бы они умели слушать.

— Районные исповедальни.

— Не смейся, это очень нужно. Бывает, ни с родным, ни с товарищем не хочется делиться. Олегу сейчас не до меня. Ему трудно. Но и мне тоже трудно. Я все больше чувствую себя тупицей, а Дан выходит из себя. Не знаю, как помочь ему. Боюсь, что не под силу нам... Забежали лет на десять. Но разве его переспоришь?

— Это тебя Олег убедил?

— А что, Олег прав. Олег всегда оказывается прав. Если он вынужден отступить, то где уж мне!

— Не прибедняйся. Тебе не по душе все его доводы.

— Криво, косо, но он идет к своей цели. Во всяком случае, не мне судить его.

— Короче, ты разочаровался в Дане?

— Нет, как ты не понимаешь! Уж на что Эйнштейн двадцать с лишним лет бился над единой

теорией поля, и все напрасно. Так и умер, ничего не добившись. Теперь-то ясно, что это была безнадежная, несвоевременная затея. Даже Эйнштейн мог так ошибаться.

— Что ж ты мучаешься? Уходи. Савушкин-то ушел.

— Не ушел, а сбежал. Запахло жареным, он и сбежал. Ты хочешь, чтоб меня считали трусом?

— Савушкин — трус потому, что он думал только о себе. А у тебя совсем другое. Поговори начистоту с Даном, он поймет.

— Я — говорил ему, что хочу заняться атмосферным электричеством. Куда там! И слушать не стал. «После, после, сейчас рано». А чего ждать? Полтора года чикаемся, и даже не светит.

— Ему виднее.

— Что я такое для него — козявка. Какие у меня могут быть страсти? Не имею права. Я должен жить лишь его идеей. Он и знать не желает, что у меня появилось свое. День и ночь меня грызет это, надо сесть, продумать, просчитать, посоветоваться с ним, а я ничего не в состоянии: он захватил мой мозг, выжимает все, до последней клетки, ни опомниться, ни передохнуть, тащит и тащит. Ведь мы выяснили потрясающую вещь: чтобы восстановить электричество в грозном облаке, нужно в тысячу раз больше зарядов, чем уходит в молнию. Скучный паек прежних теорий оказался недостаточным. В чем там дело? Что же там происходит? У меня десятки всяких соображений. Мелькнут — и пропали. Разобраться бы... Мимо, мимо! А я не хочу мимо! Я уже не могу без этого, как без тебя. Мне нужно заняться ими, иначе я засохну. Да я понимаю, что я всем обязан Дану, даже своими мыслями, замыслами... Я люблю его, он был для меня всем, а ему никакой любви не нужно, ему ничего не нужно, кроме своей работы. Что мы для него?

— Гении жестоки.

— Может, ему так легче? Быть еще и человеком — значит что-то прощать, признавать чьи-то слабости. Он не может себе этого позволить. Вероятно, он вполне искренне не понимает, что какой-то там Крылов смеет чем-то увлекаться. С его высоты все мои проблемы — ерундистика.

— А как же остальные?

— Ребята, те просто пожертвовали собой. Они отказались от всего ради Дана, вернее, ради работы. Но у меня-то есть своя идея, свой детеныш, какой бы он ни был, я не могу отречься от него. У Дана нет ни снисхождения, ни жалости. Он фанатик. Возможно, иначе ничего великого в науке не создашь, но ведь это ужасно... Подожди, не уходи, мне еще нужно столько рассказать. Относительно процесса образования зарядов еще Френкель выдвинул любопытную гипотезу...

Небо быстро темнело, фигура Лены таяла в темноте, оставалось ее лицо со вспыхивающими глазами.

— Я тебе завидую, — сказала она. — Как бы тебе ни было плохо, это все же счастье.

— Счастье?.. Может, оно у каждого свое. Помнишь, я тебе передавал мой разговор с Савушкиным?

— Нет, не помню.

— Он сказал: «Творчество? Счастье? Мура! Какое может быть счастье и творчество на

двенадцати квадратных метрах жилплощади с женой и ребенком? Счастье — это квартира из трех комнат. Даже двухкомнатная — уже счастье».

— Да, да, ты тогда расстроился, тебе казалось, что, может быть, он в чем-то прав.

— Значит, ты запомнила?

— Нет, нет, я была ужасно невнимательна. Прости меня.

— Хорошо, что ты здесь.

— Я буду всегда с тобой, как только ты захочешь.

Голос ее доносился все глуше.

— Ты все-таки уходишь, — сказал Крылов. — Это — безобразие. Я не желаю иметь дело с призраками.

— Толковый призрак — это тоже вещь. Пожалуйста, не швыряйся призраками. Чем я тебя не устраиваю?

— Тебя нельзя обнять.

Он услышал ее смех.

— И только?

— Я хочу, чтобы ты живая была такой же.

— Живая, — повторила она задумчиво. — Может быть, это тоже призрак.

Она поставила кактус на место, фигура ее слилась с дымной синевой вечера, растворилась среди бледных фонарей.

На следующий день он поехал после работы на кинофабрику и долго ждал у проходной.

Из ворот с грохотом выкатила пулеметная тачанка, где, обнявшись, сидели махновцы и красноармейцы в буденновских шлемах.

Лена спрыгнула с тачанки и, подбежав к Крылову, расцеловала его в обе щеки.

Не спуская глаз с ее лица, он стиснул ее маленькую жесткую руку.

— Что с тобой? — удивилась Лена.

На ее круглом крепком лице не было никаких следов тоски ожидания, ни вчерашней готовности слушать.

— Чего ты делала вечером вчера?

Она перечисляла: стирка, разучивала гимнастику йогов — хочешь, покажу?

— Ты думала обо мне?

— Сереженька, ты совсем как девушка.

— Скажи, зачем я тебе нужен?

— Начинается. Что у тебя за страсть — выяснять отношения.

— Хоть иногда ты скучаешь по мне?

— Так мы же часто видимся. Вот если бы мы надолго расстались. Ох, и зануда! Ты сам не понимаешь: ты меня любишь потому, что тебе не хватает меня. Давай лучше поедем к итальянцам — чудные ребята.

Они поехали в гостиницу к итальянским артистам. Лена расспрашивала их про неореализм и маслины, и агитировала за колхозы, и читала стихи Заболоцкого. Потом они пошли гулять. Лена шепнула Крылову:

— Тихо-тихо умощаем, они мне надоели.

Они юркнули в магазинчик.

Конфузясь под взглядами продавщиц, Крылов купил стеклянные бусы. Лена тут же нацепила их и очень обрадовалась.

— Честное слово, индейцы были гораздо умнее белых, когда меняли золото на такие бусы! — заявила она.

Он с тоской подумал, как, в сущности, мало ей нужно. Ей ничего не было нужно. Ни от него, ни от кого другого. Ее устраивало вот это ситцевое платьице, бусы, вечерние прогулки, смешливая милая игра без прошлого и будущего.

Он с трудом удерживал накопленные упреки. Всякий раз он давал себе слово объясниться, предъявить ультиматум и всякий раз откладывал, чувствуя, что это ни к чему не приведет. Существовала какая-то невидимая граница, которую он не мог переступить. Может быть, следовало выждать, запастись терпением, но у него уже не хватало сил.

На ученом совете при обсуждении хода работ группы Данкевича присутствовали члены комиссии, молоденький журналист, какие-то представители и прочие любопытные. Заседание было обставлено весьма демократично, несмотря на то, что Дан возмущался и требовал удалить посторонних: «У нас здесь не цирк». Это прозвучало оскорбительно. Своей излишней резкостью он восстанавливал против себя даже нейтральных.

Он не скрывал неутешительных результатов, принимая все удары на себя. На вопрос о хотя бы примерных сроках работ Дан сперва отказался отвечать, потом стал язвительно высмеивать спрашивающих: через десятки лет или завтра, а может быть, он вообще при жизни не успеет, что не вызывает у него никакого беспокойства, ибо он уверен, что к тому времени и члены комиссии уразумеют, что работать только на сегодняшний день, избегать рискованных работ, рассчитанных, может быть, на десятки лет, — типичное браконьерство. При таком подходе Циолковских не получится. Мы достаточно сильны, чтобы думать о будущем.

На вопросы о практическом значении исследований он заявил, что никаких полезных применений тема не имеет. Это была неправда. Можно было связать их исследования с радиотехникой, навигацией; сохраняя максимальную щепетильность, можно было раскрыть ценность теории, допустим, для того же атмосферного электричества. Но Данкевич шел напролом, не замечая расставленных ловушек, а может, он и замечал, но не желал снисходить до участия ватой схватке.

— Какой же смысл имеет ваше исследование? — спросил журналист и занес над блокнотом шикарное белое вечное перо.

— Мы добиваемся научных результатов.

— Что это даст нашей технике?

— Ничего не даст, ничего, — сказал Данкевич. — Вам нужно, чтобы мы увеличили выплавку чугуна, так мы этого не делаем. Просто интересная проблема. Интересная, и больше ничего.

За последнее время он еще больше исхудал, остался только профиль. «Не телосложение, а теловычитание», — как говорил Полтавский. Часто схватывало сердце, он злился не из-за неудач, а оттого, что его отрывают от дела. Вскинув огромную голову с седеющей шевелюрой, он нетерпеливо и презрительно пофыркивал, напоминая загнанного оленя, сильный и в то же время беспомощный, как рыцарь в латах перед пулеметом.

Журналист весело строчил в огромном блокноте.

— Вы отрицаете необходимость тесного переплетения науки с техникой? Вы за отвлеченную чистую науку? Что же вы хотите получить?

— Не знаю, — сказал Данкевич. — Если бы всякий раз исследователь точно знал, что он хочет получить, мы бы никогда не открыли ничего нового.

Тут Крылов не выдержал и крикнул «Правильно!» и зааплодировал, за что его чуть не удалили с совета.

Председательствовал Лагунов. Он спросил:

— До сих пор вы получали одни отрицательные результаты?

— Они тоже имеют ценность.

— На одних отрицательных результатах наука не может двигаться.

К сожалению, даже друзей Данкевича ход работ не устраивал. Подсчитать можно что угодно, но опыты, опыты не подтверждают. Да и сама установка, без мощных конденсаторов, вызывающе простенькая, не внушала доверия. Выступали теоретики из смежного института, чувствовалось, что им неприятно обличать неудачу Дана, не хочется играть на руку Денисову и прочим, но добросовестность брала свое: осторожно и мягко они склоняли Дана переключиться на какие-либо побочные результаты исследования, заняться частной задачей. «Если бы атмосферным электричеством, если бы они вразумили его...» — молитвенно шептал про себя Крылов.

Пользуясь ситуацией, — наконец-то! — Дана наперебой принялись поучать те, кого он называл посредственностями, импотентами, кто всегда чувствовал себя под угрозой, чьи работы он высмеивал, — начальники отделов и лабораторий, которые годами занимались пустяками, но зато никогда не рисковали и не ошибались. В свое время Дан пытался избавиться от них институт и не смог. «При нашей заботе о человеке, — говорил он, — легче не принять хорошего работника, чем уволить плохого».

Мазин, пятый год ходивший в аспирантах, «дедушка русской аспирантуры», намекнул на последствия культа личности: плохо, когда окружают себя ослепленными почитателями, вот, например, Крылов, вспомните, как он рвался к Данкевичу, дошло до того, что Крылов чуть ли не обожествлял Данкевича.

Не возлагая особых надежд на успех дановских работ, Аникеев тем не менее защищал его, яростно нападая на проклятую привычку жить в науке сегодняшними заботами. Он свирепел оттого, что приходится доказывать элементарную истину — никогда нельзя предугадать результатов поиска. Выразительно оглядев Лагунова, он сказал:

— Сам господь бог не предвидел последствий, сотворив человека.

Дан отрешенно взирал на спорящих со своей снежной вершины. Казалось, его нисколько не огорчает ход обсуждения.

— Голосованием в науке нельзя решать, — сказал он. — При чем тут большинство? Бездарей всегда больше, так уж устроена природа.

— Вы что же, считаете, что в институте большинство бездарей, или как? — багровея, спросил Лагунов.

— Да, да, поясните, пожалуйста, — сказал журналист.

— А мне все равно, что вы там напишете, — сказал Дан.

Крылов наклонился к Аникееву.

— Надо что-то делать. Он идет вразнос. Они съедят его.

— Подавятся, — сказал Аникеев. — Не те времена.

Казалось, что Данкевича вскоре снимут, и с треском, но ничего не происходило.

Аникеев знал, что говорит: несмотря на все старания Денисова, работы Дана даже зажать не удалось. За него вступились отраслевые институты и президиум Академии. То ли они еще надеялись на успех, то ли вообще считали неправильной политику запретов; приезжал вице-президент и полностью поддержал принцип свободного поиска в подобных темах.

Но, с другой стороны, и Денисов по-прежнему продолжал раздувать свои проекты воздействия на грозу зенитными снарядами, и видно было, что выступления Дана ни к чему не привели.

Создалось странное равновесие. «Д минус Д равно нулю, — провозгласил Полтавский. — Может быть, сие и есть благо — каждый должен иметь возможность доказать свою правоту». Но Крылов предпочел бы, чтобы их работу закрыли. Обсуждение на совете подкрепило его сомнения. Он не желал видеть Дана, зашедшего в тупик, когда придется признаваться в полном провале.

Вскоре Дан отказался от руководства институтом, ссылаясь на здоровье. Его действительно одолевали сердечные приступы.

— Он хочет сосредоточиться на нашей работе, — утверждал Полтавский. — Если бы он не был уверен в ней, он не решился бы на такое.

Крылов недоверчиво хмыкал. Савушкин заикнулся было, что Дана вынудили уйти, но его подняли на смех, и неожиданно для всех стало ясно, что у Денисова-то силенок не хватает! Пророки осрамились, оказалось, что Денисова можно критиковать, и он уже не в состоянии преследовать за это так, как прежде. И нечего его бояться. Д минус Д равно не нулю, а прогрессу!

Тулин пробовал охладить их восторги:

— Так то Данкевич, то, что разрешено Юпитеру, не дозволено младшим научным сотрудникам.

Но и он был смущен. В общем-то его страхи не оправдались.

В конце зимы Дан слег. Немедленно последовали неприятности: урезали деньги, сократили

часы работы на вычислительных машинах; заказы в мастерских — будьте любезны, в порядке очереди.

Прикованный к постели, Дан нервничал, болезненно переживая малейшие помехи. Он был уязвим как слон, громадный, неповоротливый. Тулин видел в нем нечто старомодное, но для Крылова он был скорее откуда-то из будущего. Теперь масштабы замыслов Дана пришли прямо-таки в трагическое несоответствие с возможностями и средствами лаборатории, и самое ужасное, что Дан по-прежнему не желал ни с чем считаться.

Внезапно решившись, Крылов отправился к Лагунову, исполняющему обязанности директора.

— Как вам не стыдно! — сказал Крылов. — Вы-то понимаете, что так нельзя.

Большую часть розового лица Лагунова занимали огромные очки в роговой оправе. Некоторое время он с любопытством разглядывал Крылова откуда-то из-за линз, словно какую-то букашку в микроскоп.

Лагунова в институте побаивались, и для Крылова подобная дерзость могла кончиться плохо. Но Лагунов вдруг сказал:

— А что? Мне импонирует, когда так, по-простому, по-русски... Вы мне давно нравитесь, Крылов.

Выяснилось, что он знает работы Крылова, ценит его талант, считает достойным научной самостоятельности. Крылов покраснел: впервые в жизни его хвалили так откровенно, категорично, что называется, в лоб. Больше того, оказалось, что и Данкевича Лагунов весьма уважает и ценит.

— Войдите в мое положение, войдите, — сказал Лагунов и сделал волнистое движение рукой. — Масса факторов. Невероятная сложность. Спасать Дана от него же самого. Попробуйте. Плюс окаянный характер Дана. — Он понизил голос: — А тут еще Денисов. Давление. Я вам доверяю. Скажите, Сергей Ильич, вас устраивает то, что делает Данкевич? Откровенно.

Вероятно, следовало уклониться, смолчать, но он ничего не мог поделать с собой.

— В ближайшее время на результаты рассчитывать не приходится.

Глаза Лагунова понимающе прикрылись.

Польщенный вниманием, Крылов принялся развивать свои взгляды:

— Он имеет право на ошибку... Я часто думал. У нас слишком много людей, которые хотят успеть все при жизни. Но, с другой стороны, даже ему не всегда видно... Еще не было гения, который не хотел бы сделать больше того, что в состоянии. Он принимает ход напряженности по высоте...

— Эх, вы... не любите вы своего учителя! — сказал Лагунов.

Крылов остался с открытым ртом.

— Не верите вы в него, — сказал Лагунов. — А я верю. Вы, молодежь, вообще не верите. Ни во что. Надо ему, бедняге, отдохнуть. Годик. К тому времени страсти утихнут. Он соберется с мыслями, и все будет хорошо.

— Пожалуй, это идея, — неожиданно для себя согласился Крылов.

— Уж вы положитесь на меня. — Лагунов мягко провел по своим вьющимся желтым волосам. Говорили, что он завивается и подкрашивает волосы хной. Чистенький, блестящий, словно отлакированный, он производил приятное впечатление, пока не улыбался. Стальные зубы делали его улыбку жесткой.

— Так будет лучше, — сказал Лагунов со значением. — А лично вам не стоит этот год терять. Мыкаться. В науке создают до тридцати лет. Потом обрабатывают полученное. Развивают.

Заботы и доверие Лагунова покоряли. Крылов удивлялся и радовался тому, как совпадают их мнения, и тому, что Лагунов никакой не злодей, а простяга, попавший в сложный переплет, но готовый все сделать, что можно, для Дана. По-деловому и заботливо он предложил Крылову провести этот год в кругосветной экспедиции на геофизическом корабле.

— Вы мне дороже, чем Данкевич, — грубовато признался Лагунов. — За вами будущее. О Данкевиче позаботятся без вас. Многие хлопочут. Вам надо больше думать о себе. Советую. Не мешает.

Лена, та запрыгала от восторга. Шутка ли, объехать мир! Ямайка, ямайский ром. Азорские острова. Какие могут быть разговоры! Счастливчик. Соглашаться не раздумывая. Ради чего еще жить на этом шарике? Так и жизнь пройдет, как Азорские острова. Хоть бы Азорские, а то Васильевский остров — вот и вся романтика. Поехали покупать значки и сувениры. Она радовалась за него так, что стыдно было ее в чем-то упрекнуть или подозревать.

Несмотря на все старания, поле между пластинами искажалось. Не должно было искажаться, а искажалось. Струя распыляемой воды должна была создавать нужные заряды, а не создавала. Крылов в отчаянии отшвырнул пробник. После разговора с Лагуновым он перестал понимать затеи Дана, и все пошло кувырком. Никакого сочувствия у Полтавского он не находил. Полтавский принял роль бессловесного исполнителя. «Мне поздно отступить, — доказывал он, — я пойду до конца». Он разыгрывал из себя солдата-служаку и не желал обсуждать действия Дана. Верить так верить. Дан — антенна, принимающая сигналы из будущего. Дан мыслит категориями, недоступными обыкновенным смертным. Правда, тут же он высмеивал и самого себя, и Крылова, цинично восхищаясь денисовцами. Эти дельцы многого достигнут. Переметнуться бы к ним, да совесть мешает. А хочется, ох как хочется. Крылову тоже небось хочется.

— Мне надоело верить! — негодовал Крылов. — Почему я должен верить? Во что я должен верить?

— В светлое будущее. И вообще старшим надо верить.

— Слыхали. Не желаю. Хватит.

И в ярости выпрямил руками сердечник, который накануне тщетно выпрямляли всей лабораторией.

В коридоре он столкнулся с Лагуновым. Тот осведомился насчет поездки. Крылов мысленно перебрал самых дальних предков Лагунова по женской линии и закончил вслух, что, к сожалению, Данкевича покинуть он не может и от поездки отказывается.

Лагунов попросил подумать, не торопиться, желающих ехать много, но он все же придержит место для Крылова.

Болезнь повлияла на Дана. В нем появилось какое-то лихорадочное нетерпение. Он спешил,

ни с чем не желая считаться, ничего не объяснял, гнал и гнал, нарушая прописанный врачами режим, словно боясь не успеть. Из-за горячки пороли глупости, участились неудачи. Крылов перестал понимать ход работ, никто не поспевал за мыслью Дана. Крылов с тоской убеждался в тщетности их усилий. Кому нужно то, что они делают? Да и что они делают? Все это впустую, впустую.

Началось, как всегда бывает, с пустяка. Обнаружили, что трансформатор не годится, придется мотать новый на повышенное напряжение.

— Неужели нельзя было раньше догадаться? Тут семилетки достаточно!.. — поразился Дан.

Уничижительный тон его звучал непереносимо: снизить и доказать, что только круглый идиот, вроде Крылова, мог довольствоваться этим напряжением, — на это Дан не желал тратить времени.

— По-вашему, я ничего не соображаю? Но вы сами еще недавно принимали напряжение стандартным.

— Надо было вам подсчитать. Для нового режима оно не годится.

— Я не успеваю за вашими вариантами. У нас что ни день, то новая идея.

— Мне некогда с вами спорить.

— Но так нельзя работать. Сколько можно!

— Столько, сколько нужно.

Тут он решился выложить Дану начистоту, образумить его, уговорить переждать, отказаться от этой безумной гонки, но вместо этого он выпалил:

— А я не могу делать то, что не понимаю! Я для вас тугодум. К вашему сведению, у меня тоже есть свое мнение... я не могу так... впустую...

Если бы Дан хоть одним словом утешил его, пожалел, но огромные черные глаза по-прежнему бесстрастно, неумолимо взирали откуда-то сверху, с той ледяной вершины, куда не доносились никакие крики о снисхождении.

— Не знал, что вас интересует быстрый успех, — сказал Дан. — Что ж, раз так, то вы станете доктором. Вы будете писать толстые учебники. Вы будете читать лекции. Возможно, вы станете директором института.

— Да, я предпочитаю реальное дело. Я предлагал заняться атмосферным электричеством. То, что мы делаем, никому не нужно. Есть люди, для которых я не тупица. Вот увидите!.. Вы не считаетесь с нами... Все равно у нас ничего не выйдет.

Небожитель спустился на землю, и Крылова ослепил лик разъяренного божества.

— Значит, вы не верите?

— Но ведь вы не можете поручиться, вы сами видите... — заглушая свой страх, воскликнул Крылов.

— Раз вы не верите в нашу работу, тогда все понятно, — сказал Данкевич.

— Что понятно, что понятно?.. — Крылов лихорадочно отключал один рубильник за другим.

— Очень рад, что понятно...

Через два дня Дан сказал ему, что подписал характеристику на поездку в экспедицию. Крылов начал было извиняться, но огромные черные глаза Дана смотрели куда-то вдаль, и Крылов мог поклясться, что Дан уже не слышал его.

Снаряжение, инструктаж, тарировка приборов, сувениры, выпрашивание всяких справочников, предотъездная горячка... Он опомнился уже на борту парохода. Приехал Тулин из Москвы, и они стояли у причальной стенки — Лена и Тулин — и махали ему руками. Лена плакала. Она улыбалась, махала рукой, и твердые загорелые щеки ее блестели от слез. И хотя у Крылова сжималось сердце, ему радостно было видеть эти слезы. Накануне в последний раз они поехали на мотоцикле, Лена неслась как сумасшедшая по мокрому, в желтом крапе осенних листьев шоссе, обгоняя машины. Деревья вдоль обочины сливались в оранжевый ветер. Крылов наклонялся вперед и спрашивал: «Ты будешь скучать?» Плечи ее вздрагивали, и он был счастлив.

Правда, порой становилось тревожно и хотелось бросить все, отказаться, остаться здесь.

Но он знал, что через несколько дней все началось бы сначала, опять он сидел бы долгими вечерами и ждал ее.

Да и не мог он теперь отказаться от поездки.

Сейчас он ни о чем уже не вспоминал и ни о чем не жалел. Он держался за поручни, охваченный горделивым чувством уезжающего, снисходительным сочувствием к тем, кто остается на этой безопасной, благоустроенной земле.

В лязге якорных цепей, в гудках буксиров, в последних словах команды ему слышался шум знойного сирокко, холодная свежесть океана и далекие чужие порты на зеленых берегах Африки.

Тулин жестикулировал, изображая охоту на тигров или еще каких-то хищников, пляски с туземцами. Тулин был весел. У него вдруг в последнюю минуту как-то все благополучно обошлось. Денисов никаких условий не поставил, принял милостиво, но в общем-то безразлично. Гроза его больше не занимала.

Крылов ничего не понимал: после всех шумных обещаний Денисов, казалось бы, должен торопиться изо всех сил, срок-то обещаний надвигается. Наслаждаясь его недоумением, Тулин сообщил, что Денисов скоро выступит с новым предложением долгосрочных грозовых прогнозов. Опять готовится шум, статьи, заседания. А после прогнозов будет еще что-нибудь, например промышленное использование атмосферного электричества. И всякий раз обещание скорых выгод, связь науки с практикой, избиение противников, новые должности и новая слава. Крылов не верил, настолько это казалось нелепым, бессмысленным. Как же Денисова слушают, ведь раз он не выполнил одного обещания, так и новым не должны были доверять? Но Тулин приводил факты, одни факты, без особых комментариев, и Крылов убеждался, что почти вся история возвышения Денисова построена на подобных посулах, почти никогда не оправдываемых. Так, Денисов, в свое время спекулируя на Мичурине, выдвинул идею искусственного климата, затем электризации почвы для повышения урожайности, искусственных испарителей. В итоге — миллионы, угробленные впустую, книжки, статьи, новые подхалимы и одураченные молодые энтузиасты.

— На чем же он держится? Что же он сделал? Почему все слепые?

— О! Денисов — великий ученый! — торжествующе ответил Тулин. — Он открыл закон,

который стоит всех наших работ. Закон гласит следующее: люди любят, чтобы их обманывали надеждами. Люди хотят верить тому ученому, кто обещает скорые блага, а не тому, кто обещает долгие трудности. При этом люди стараются забыть прошлые неудачи, у них короткая память на плохое, они предпочитают будущее прошлому. Новые обещания куда важнее старых разочарований. Пока суд да дело, пока разберутся, пока там кто-то вспомнит прежние сроки, Денисов уже далеко, он уже манит новой синей птичкой.

Тулин говорил и говорил без конца, в восторге оттого, что ему не пришлось совершить ничего некрасивого, и был рад тому, что Крылов послушался его, развязался с Даном и едет, — он даже не скрывал своей зависти, что было совсем удивительно.

Покидая лабораторию, Крылов передал установку, свои расчеты Полтавскому, отдал ему и недописанную статью, выложил всевозможные идеи. Ему ничего не было жаль, он старался загладить чувство вины перед Даном.

Вина состояла в том, что он не сумел убедить их отказаться от этой безнадежной работы. Вот и вся его вина. Бедняга Полтавский затыкал уши, спасаясь от его доводов. Цеплялся как одержимый за свою веру в Дана, ничем другим защититься он не мог. Он, как фанатик, твердил, что если сам Дан не может увидеть ошибку, то как же мы можем... В конце концов Полтавский признался, что тоже не понимает Дана, и не может понять, и не надеется понять, потому что Дан мыслит на другом уровне, может быть, тут интуиция; идеи Фридмана тоже начинают только сейчас осмыслять и всякое такое... Крылов высмеял его. Слепая вера — это для религии. А оправдывать то, чего не понимаешь, да еще служить этому — дудки! Известно, к чему это приводит! Полтавский спросил: что же, недоверие дает право на неверность? На что Крылов удачно ответил, что, конечно, фанатику всякая свобода кажется неверностью, но фанатики — это рабы, а не хозяева мысли.

Дан стоял у стенда, посасывая кончик карандаша. Крылов хотел попроситься, но Дан смотрел насквозь, не отличая его от мебели, и Крылов убедился, что он уже начисто не существует для Дана, и если сейчас попроситься, то Дан удивится и будет соображать, откуда взялся этот парень. Было непостижимо и обидно, как мог Дан так легко вычеркнуть его из памяти, забыть все, что сделано, и после этого они еще смеют упрекать Крылова... Но он никак не мог вспомнить, кто были эти они.

Отъезд должен был удобно, просто и мужественно разрешить эту канитель, и Крылов испытывал сейчас сладостное ощущение свободы от Дана, от его беспокойной требовательности, от необходимости делать то, во что не веришь.

В синем пушистом свитере, с непокрытой головой, Крылов стоял, широко расставив ноги, сжимая холодные поручни; дул осенний ветер, пахнувший паровым дымом и свежестью черной воды. Все было прекрасно, и было непонятно, чего же не хватает.

Неотрывно глядя в глаза Лене, он кричал о каких-то пустяках, и все это было не то, как будто он забыл что-то крайне нужное и никак не мог вспомнить.

Пароход медленно, толчками отваливал, и вскоре город с его трубами, шпилями отдалился, развертываясь по горизонту, а Крылов все еще видел ту точку на берегу, откуда смотрели на него блестящие глаза Лены.

Вернулся он через восемь месяцев.

В чемодане его лежала толстая папка с таблицами измерений. Ему удалось установить

некоторые любопытные аномалии напряженности электрического поля. Замеры производились круглые сутки. В Бискайском заливе во время шторма он работал, привязавшись канатом к мачте. Вблизи Мадагаскара он заболел малярией, и его так колотило, что он не мог записывать. Он лежал на палубе и умолял океанологов оторваться от своих камер и помочь ему переставить приборы. Два дня провели они на островах. В саду у храма прыгали обезьяны. Ночью бил бубен, бешено крутилась неоновая реклама бара, и голый индус-писец сидел на улице и стучал на пишущей машинке прошения.

В светящейся воде залива покачивались разноцветные фелюги с фонариками на тоненьких ряях. Крылов сидел на веранде портового кабачка под шумным и холодным ветром эр-кондишн и думал о том, как запомнить все это и привезти Лене.

На Азорских островах диковинные кактусы росли на обочинах дорог так же, как в Боровичах лопух и репейник. Бетонная полоса аэродрома сбегала прямо в море. В магазинчике продавали дутые браслеты с эмалированными каравеллами. Пахло китовым жиром, и белые, выжженные солнцем скелеты китов лежали на берегу подобно каркасам диковинных построек.

Собирались у рации, ловили последние известия. Кубанцы хорошо провели сев. Заканчивается новая очередь ленинградского метро. Пустили Иркутскую ГЭС.

На обратном пути, в Гавре, была встреча с французскими геофизиками. Узнав, что Крылов работал у Данкевича, французы прокричали «виват». Профессор Дюра с пафосом провозгласил тост за страну, которая имеет такого ученого, как Данкевич.

От них Крылов услышал, что месяц назад на международном конгрессе Полтавский зачитал доклад Дана о новой теории электрического поля. Последние полеты советских спутников дали богатый материал, гипотезы Дана полностью оправдались, теория поля блестяще выстраивалась. Пользуясь ею, можно было конструировать новую аппаратуру для космической навигации. Неожиданно открылись новые возможности для борьбы с радиопомехами, новые методы расчетов в радиоастрономии...

Ночью Крылов стоял на корме. Масляно-гладкая волна неотступно лепилась к борту.

Не поверил. Не поверил, а они добились своего. Тот, кто не верит, ничего не добьется. Надо уметь верить. Надо... сметь верить.

Что из него получится? Доктор наук? Предисловие? Но ведь кто знал? А разве надо делать, что знаешь? Надо делать то, чего не знаешь.

На свете слишком много «надо» и «должен».

Ошибка не предостерегает от новых глупостей.

Можно ли было предположить? Он вспоминал, и теперь ему казалось, что даже ошибки Дана были мудрыми и неизбежными и наиболее экономными из возможных. Очевидно, в науке только ошибка индивидуальна, истина безлично-одинакова для всех.

Надвинулся влажный, душный туман. Пароход шел, подавая короткие, тоскливые гудки. Невнятно-тяжелое чувство душило Крылова. Он чувствовал себя обманутым, и винить в этом обмане было некого. Не различить было ни моря, ни палубы. Со всех сторон облепило серое, плотное. Он все хотел глубоко взглянуть — и не мог.

Серенькое ленинградское небо стряхивало последний мокрый снежок. Буксир хлопотливо, долго подтаскивал корабль к пирсу. И все время, пока пришвартовывались, Крылов искал в толпе встречающих Лену и не находил.

Сойдя на берег, он несколько раз прочел вслух надпись на пакгаузе: «Курить воспрещается», засмеялся. Было удивительно и радостно, что все кругом говорят по-русски и надписи русские.

Тут же из порта он позвонил Лене на работу. Пока за ней ходили, Крылов стоял, закрыв глаза, и все гадал, какое первое слово она скажет, услышав его голос.

— Ты откуда? — спросила Лена.

— Из порта.

— А-аа!

Она замолчала, и он оцепенел, не в силах нарушить этого быстро растущего молчания. Они словно настороженно прислушивались друг к другу, ухо к уху.

— Сереженька, у тебя все в порядке? — наконец спросила Лена и, не дожидаясь, быстро заговорила: — Я очень рада. Я тебе написала, у тебя дома лежит письмо. Я выхожу замуж. Ты его не знаешь. Это так внезапно все получилось. Я даже не могу ничего объяснить. — Ее неловкость уже исчезла. Доверчиво и восторженно она шепнула: — Сереженька, я его ужасно люблю!

Крылов повесил трубку, взял чемодан и зашагал к автобусу. Ему полагался двухнедельный отпуск. Он никуда не поехал. Утром он спускался, покупал кефир, батон и затем целый день валялся на кушетке.

Таким его и застал Тулин.

Он прилетел из Москвы на похороны Дана. Крылов ничего не знал о смерти Дана.

Три дня назад Дан умер от инфаркта.

Тулин вдруг заплакал. Он стоял в своем щеголеватом, стального блеска реглане и плакал, ростно вытирая кулаками слезы.

— Такого, как Дан, не будет. Справедливость! Где она, так ее перетак, — сказал он. — Кретины живут. Мразь всякая живет, таскает свое брюхо с места на место. Неужто нельзя было его мозг спасти?! Пересадить, что ли, сохранить? Любой ценой. Я стоял и смотрел, как закапывают в землю такой мозг. Из-за какого-то сердца! Сразу пусто стало на земле.

Крылов прислушался к своему сердцу, оно билось ровно, как будто ничего не произошло. Открывались клапаны, и закрывались клапаны, из правого желудочка в левое предсердие, без всяких пороков и аритмии, никому не нужное здоровенное сердце еще одного здорового туловища. Тулин что-то говорил, потом Крылов поехал его провожать, пил с ним на вокзале и все время потирал лицо, пытаясь размять одеревеневшие мускулы.

Тулин спросил мимоходом как, что. И так же мимоходом Крылов сказал о Лене.

— От женщин одно лекарство — женщина, — вяло бросил Тулин и принялся рассказывать,

как последние месяцы Дан работал по шестнадцать часов в сутки, не щадя себя, привел в порядок все материалы, как будто точно знал дату своей смерти. Он ни на что не отвлекался, не обращал внимания на наскоки Лагунова, на фельетон. Он был выше этого.

— Какой фельетон? — спросил Крылов.

— Ах да, ты не знаешь... — Тулин покачал головой.

Фельетон «Вдали от науки» появился сразу после отъезда Крылова. С восторгом разоблачителя журналист — тот самый, спокойно сообразил Крылов, который сидел на ученом совете, — описывал, как лаборатория Данкевича переливает из пустого в порожнее, растрачивая государственные средства. При этом проповедуются старомодные взгляды о чистой науке, да еще выступают против Денисова, работающего на наше народное хозяйство. Не удивительно, что даже ученики Данкевича, разочарованные в его работе, уходят. Так, например, Савушкин. Молодой ученый Крылов вынужден был уехать в экспедицию на корабле «Богатырь», после того как выступил с критикой Данкевича...

— Но ты же знаешь, что все было не так, — в страхе сказал Крылов.

Тулин рассеянно отмахнулся.

— Я уверен, что Дан и не читал этого фельетона.

— Да что из того! — закричал Крылов. — При чем тут — читал он или не читал...

Назавтра Крылов пошел в библиотеку, взял подшивку и внимательно перечел фельетон. Из библиотеки он отправился в редакцию газеты, дождался журналиста и попросил поместить в газете опровержение.

Журналист не сразу сообразил, о чем идет речь.

— Позвольте, но ведь прошло полгода, — поразился он. И, улыбаясь, похлопал Крылова по плечу. — Выспались, да и профессор-то ваш помер.

— Это не имеет значения, — сказал Крылов. — Я-то жив. Разве я отказывался от него? У меня были совсем другие мотивы.

Журналист посмотрел на часы.

— Не морочьте мне голову. Говорили вы Данкевичу, что не согласны? Поругались? После этого умотали? И вообще о вас-то ничего плохого я не написал. Наоборот. Чего ж вы шумите?

— При чем тут я! Ваш фельетон оболгал Данкевича. Вам известно, что его работа полностью оправдалась?

Он, словно очнувшись, рассказывал про французов, про аппаратуру для спутников. Журналист играл роговыми очками, и светлые, плоские глаза его смотрели нагло и весело.

— Все? — спросил он. — А вы — штука! Ежели такое значение, такая работа, так чего вы-то уехали? Вы ж уехали? Нет, товарищ Крылов, требуя принципиальности от других, будь принципиален сам. Если вы не знали, что так все повернется, откуда я мог знать? Да и кому поможет теперь это опровержение?.. — Он завистливо посмотрел на галстук Крылова. — Парижский?

«В том-то и дело, — подумал Крылов. — В том-то и дело, что этот сукин сын прав, мне уже ничего не поможет. Вот она, расплата, даже перед такими подонками не оправдаться...»

В институте никто не припоминал ему случившегося. Полтавский не торжествовал, ни о чем не расспрашивал, словно потеряв всякий интерес к нему. Что это было? Великодушие? Снисходительность? Безразличие? А может, они презирали его? Все, все могло быть, потому что он падло, ничтожество, шлепнулся в дерьмо мордой. Он казнил себя и сторонился друзей, не желая ни с кем разговаривать. Иногда за целый день он перекидывался только двумя-тремя фразами с официанткой или с кем-то из планового отдела. Он сидел в пустынном читальном зале и оформлял отчет по экспедиции. Ровно в шесть складывал бумаги и вместе со служащими спускался в гардероб. До позднего вечера бродил по улицам, ужинал в молодежном кафе, стараясь прийти домой позднее, чтобы сразу завалиться спать. Он избегал оставаться наедине с собой. Впервые он постигал ужас настоящего одиночества.

После смерти Данкевича институт лихорадило. Аникеев и Полтавский резко выступали против Лагунова, но Лагунов и его сторонники всячески превозносили Данкевича, и получалось так, что они защищали Данкевича от Аникеева.

И те и другие словно забыли о существовании Крылова.

Однажды, встретив Лагунова в коридоре, Крылов попробовал с ним объясниться; это ни к чему не привело. Лагунов ничего не помнил, никакого разговора, никаких советов. Он сказал громко и укоризненно:

— Предупреждал я вас. Недооценили.

Одиночество окружило его безвыходным кольцом. Он сразу лишился всего: не было ни друзей, ни Лены, ни настоящей работы, ни будущего.

О Лене он думать себе запретил. Категорически. Не сметь касаться. Ничего не было. Ни ее рук, ни ее смеха. Ее вообще не существовало. Она не приходила в эту комнату, не лежала на этой кушетке... Надо прочитать посмертную статью Дана. Лена нравилась Дану. Она всем нравилась... Защитить диссертацию, тогда посмотрим, она еще пожалеет. Но в том-то и дело — стань ты хоть академиком, ей наплевать. Ее надо забыть. Вычеркнуть. Уехать из этой комнаты. Спать...

...А сон был веселый, шумный. Снилось КБ, общежитие, Вася Долинин и Ада, они куда-то ехали, и Крылов был с ними, в коротком пиджачке с цветком, и тут же был цех, и красные бачки выключателей. Все смеялись и за что-то качали Крылова, он летал все выше и выше...

Проснувшись, он долго лежал, вспоминая, как хорошо было ему, когда он работал в КБ, наверное, там-то и было его настоящее место.

В тот же день он поехал на завод к главному конструктору и попросил принять его на работу.

— У тебя скверный вид, — сказал Гатенян.

По его глазам Крылов вдруг понял, насколько плохи его, Крылова, дела.

— Мальчик, мальчик, — сказал Гатенян. — Желудь не может вернуться обратно на ветку. Надо быть самим собой, человек должен быть самим собой, чего бы это ни стоило. Хочешь, я поеду в институт? Скажи, что тебе надо, мы поможем. Но на завод я тебя не пущу.

В приемной сидела Ада.

— Что случилось? — спросила она. — Зачем ты приехал?

— Дела, дела...

— Как у тебя?

— Чудесно.

Она проводила его до проходной, и он рассказывал ей про свою поездку.

Полтавский верил в Данкевича, а ты не верил, ты верил только себе — и провалился. Значит, нельзя доверять себе? Но если не верить себе, то как же можно оставаться самим собой? Нет, погоди, а почему ты не поверил? Вспомни, как все было, с самого начала. Это произошло тогда, когда возникла идея об атмосферном электричестве. И Дан не разрешил тебе заняться ею. С тех пор тебе стало нетерпиться, тебе казалось, что вы делаете не то, что все затягивается на годы. Ты заболел своей идеей, и все остальное тебе только мешало.

Полтавский — солдат, которому нужен генерал; пока у меня не было своего, я тоже был солдатом. Я могу верить только в свою собственную идею. Может быть, это плохо, но иначе я не могу.

Ах, какой же ты красавчик, какой ты пай-мальчик! Ловко ты вывернулся. Получается, что ты ни в чем не виноват? Сука ты, вот ты кто, а может быть, хуже. Что стоит твоя идея по сравнению с работой Дана? Она выросла из работ Дана. Он прокладывал тебе дорогу, а ты бросил его. Кто же тебе теперь поверит? Дана нет, и все погибло. Ты сам погубил все.

Взяв себя в руки, он построил логическую схему, которая привела его к тому, что жизнь потеряла всякий смысл, и он принялся писать предсмертное письмо. На десятой странице он обнаружил, что рассматривает природу шаровой молнии и составляет примерные расчеты. Глупо было появляться на этот свет, и еще глупее умирать, ничего не сделав.

На институтском активе Полтавский обрушился на Крылова, приводя его как печальный пример морального банкротства в науке.

Неожиданно для всех Лагунов в своей речи заступился за Крылова. Совсем затравили парня, так нельзя, товарищу в беде надо помогать. Крылов из рабочих. Данкевич никогда бы такое не позволил, Полтавский находится в плену групповых интересов. И пошел, и пошел!

Его выступление понравилось. После актива Савушкин нагнал Крылова на улице и сказал:

— Лагунов — это сила! Держись за него. Он тебя сделает теперь проходной пешкой. Это редчайший случай, когда ему выгодно быть хорошим. Ты небось сейчас презираешь меня. Конъюнктурщик? Точно. Видишь, если бы у меня в отделе был такой порядок, чтобы выгодно было быть хорошим, я был бы самым принципиальным, распрекрасным. Но поскольку обстоятельства иные, приходится быть прохвостом. Тяжело. Хорошим быть куда приятней, но что поделаешь. Поехали ко мне, а?

Савушкин недавно получил квартиру, он уже защитил диссертацию и стал завлабом.

Они смастерили отличный коктейль, пили через соломинку, Крылов улыбался: было забавно, как уютно уживались в характере Савушкина беспечность, веселый цинизм и доброта.

Сейчас он получал вдвое больше, но по-прежнему сидел без денег, жена его ругала. «Что поделаешь, подкаблучник», — признавался он.

Крылов спросил:

— Ну, а теперь ты счастлив?

Савушкин неожиданно помрачнел.

— Не лезь... Счастлив... а что мне еще остается?

Его ответ поразил Крылова. Что ж еще остается!

— Мы с тобой прошляпили успех Дана, — сказал Савушкин. — Слишком у нас прямые извилины. Будем мужественны. Пороха нам не выдумать, и зря его выдумали. Нечего пыжиться. Лагунов хорош тем, что мы его устраиваем такими, какие мы есть.

На заседании совета Лагунов посадил Крылова рядом с собой.

При обсуждении плана он предложил Крылову защитить диссертацию по материалам экспедиции.

Приехав из Москвы, он сообщил, что выдвигает Крылова представителем в какой-то международный комитет.

Он дал Крылову отпуск и посоветовал проветриться на лоне природы.

Крылов поехал к сестре в Старую Руссу.

С утра он брал лодку и греб далеко вверх по реке, пока руки не сводило от усталости. Навстречу неторопливо спускались плоты. По скользким бревнам перебежали гонщики с длинными баграми. На плотках белели фанерные шалашики, приносило дымок, обрывки слов. Измучившись, Крылов ложился на корму. Над водой плясали мошки, рой поднимался, опадал и снова, звеня, взлетал.

Он колот дрова, починил забор, вечерами ремонтировал школьные реостаты и вольтметры. Сестра не понимала, что это за отдых, ей было неловко перед соседями — он, столичный ученый, в переднике красит забор.

Приходил молоденький ветеринар, ее ухажер, пили чай с клюквой, сестра расспрашивала про Азорские острова. «Какой ты счастливый», — вздыхала она. Он был ее гордостью, его ожидало великолепное будущее, он поедет на всякие международные конгрессы, у него будет квартира в Москве, и она будет приезжать в гости. Непонятно, почему он хандрит, ведь нет ничего прекраснее призвания ученого, занятого вдохновенным трудом.

Подумать только, что он сам когда-то пробавлялся подобной чушью. Поди докажи им, что он, оказывается, никогда и не был настоящим ученым, а теперь и вовсе для него наука — служба, лямка.

Бульжные улицы выводили к белому собору. Городок рано засыпал. Крылов бродил в теплых сумерках и думал, что хорошо бы остаться здесь учительствовать. Он спускался к ночной реке, там все так же плыли плоты с горящими кострами, клубился туман, перекликались гонщики. И вся его жизнь и жизнь окружающих представлялась ему рекой, по которой, хочешь не хочешь, они должны плыть все вместе, связанные своим временем, из которого никуда не выпрыгнуть, хорошее оно или плохое, плыть до конца со своим поколением. А откуда-то сверху надвигаются новые плоты, следующие звенья в бесконечной цепи времени.

Он слышал, как соседский мальчик спросил мать: «А кто такой Сталин?», — и поразился, как быстро все уходит. Неужели когда-нибудь люди будут с трудом вспоминать, в каком веке все это было, так же как он сейчас пугается насчет какой-нибудь Пунической войны или

Фемистокла: до нашей эры или после?

Стоит ли всерьез чему-нибудь огорчаться в этой жизни? Все пройдет, пройдет и это.

Дудки, сказал он себе, твой номер не пройдет, эти штучки тебе не помогут. Это не для тебя... А в чем я виноват? — в десятый раз спросил он. Значит, виноват, человек всегда достоин того, что с ним случается. И все же это слишком много: Лена, и Дан, и работа — у меня ничего не осталось... Лагунов у тебя остался, разлюбезный Лагунов с металлической пастью. А чем ты лучше его? Какое право ты имеешь осуждать его? Ты заслужил еще не такое. Выкинь из головы всякие надежды, никакой ты не ученый.

Ночь скрыла собор и город, деревья ушли с бульвара, из садов, деревья уходили куда-то. Оставались река, костры, плывущие сквозь туман.

На заседаниях обсуждали всевозможные планы, составляли отличные решения, бились за формулировки, произносили речи резкие, смелые и речи осторожные, в перерывах поздравляли друг друга с удачными выступлениями, и Крылов обнаруживал, что важно не то, что делается в лабораториях, а то, как выглядит институт на этих заседаниях, упомянут ли институт и на каком месте.

Лагунов возил его с одного совещания на другое, и все совещания были важные, и всюду были солидные люди, которым его представляли как ученика Данкевича. Крылов пожимал руки, с ним советовались, спрашивали его мнение о перспективах науки, он научился мило объяснять, существует ли антимир, исподтишка курить на совещаниях и складывать из бумаги пепельницу. В институте он бывал редко. Лагунов посоветовал ему посадить кого-нибудь из лаборантов обрабатывать отчет.

— Неудобно, это же мой отчет, для моей диссертации.

— Вы заняты более ответственными делами, — сказал Лагунов, и Крылов согласился.

Лагунов терпеть не мог встреч с иностранцами, по его убеждению, ни к чему хорошему эта мода не могла привести, поэтому он сваливал все приемы на Крылова, тот ходил с ними по лабораториям, показывал Ленинград.

К концу дня он чувствовал себя вымотанным, хотя не мог бы толком объяснить, что же он делал. В лаборатории, сидя за приборами, он никогда так не уставал.

Он жил в какой-то дремоте, ни о чем не думал, со странным ощущением нереальности происходящего. Действовал кто-то другой, а он наблюдал и ждал, чем все это кончится.

Перед Новым годом из Москвы приехал Голицын, позвонил и пригласил к себе в «Асторию». Голицын ничего не объяснял, и Крылов дорогой почему-то волновался.

Встретились в ресторане. Голицын был, как всегда, величествен: узкое породистое лицо аристократа, большие белые руки на старинной палке, зажатой между колен. Говорил бесстрастным голосом, но во взгляде сквозила какая-то подозрительность.

— Незадолго до кончины мне звонил Данкевич. Он сказал, что вы интересовались атмосферным электричеством.

— Да, — сказал Крылов.

— Он просил, чтобы я пригласил вас к себе, в Москву.

Голицын рассказал о работах, которые проводятся в его лаборатории.

Вот тебе и роскошный рождественский Дед Мороз. С подарками бедному мальчику. А Лёну вы тоже можете мне вернуть?

— К сожалению, поздно, — сказал Крылов. — У меня диссертация на другую тему.

Голицын вынул из кармана пухлый пакет. Крылов издали узнал каракули Дана, и сердце его сжалось. Письмо Дана — наброски плана работ, заметки о механизме грозы, о природе шаровой молнии, о центре грозы. Голицын читал, не обращая внимания на Крылова, словно выполняя свой долг.

— Почему он вам послал это? — спросил Крылов.

Голицын посмотрел на него, немного смягчился.

— Мне кажется, он предчувствовал. У него было два инфаркта подряд.

— Что он говорил обо мне?

— Теперь это неважно, — сказал Голицын. — К сожалению, он ошибся.

— Пожалуйста, прошу вас. Мы с ним расстались...

— Я знаю. Прочел я вам, поскольку он просил меня. Он был уверен, что вы ничем другим, кроме этой темы, заниматься не станете. — Голицын пожевал губами. — Иллюзии, иллюзии... — сердито забормотал он. — Однако не смею задерживать, — и постучал палкой, подзывая официанта.

Высокая елка сверкала дутыми стекляшками. С потолка свисали бумажные фонарики. Крылов смотрел в невыпитую чашку кофе.

— Простите, ежели я вас расстроил, — сказал Голицын. — Может, раньше следовало, да не выходило в Ленинград вырваться, закрутился. По спутнику были работы. Признаться, и не шибко надеялся, нынче редко кому охота обречь себя на многолетнюю... Правда, он меня уверял, что вы обрадуетесь.

Крылов молча кивнул и выбежал.

Морозный воздух празднично пахнул хвоей. Над воротами монтеры крепили большие цифры «1959». Крылов сунул кепку в карман. Голова его горела. Он шел и улыбался, улыбался... Он вдруг почувствовал себя самим собой, он ощущал свои глаза, свою улыбку, красные уши, скрипучую мерзлую крепость земли; люди шли с работы, спешили в магазины, парни топтались у остановки, и он был вместе со всеми ними, как патрон, вскочивший в свою обойму. Иногда у него перехватывало горло, хотелось плакать, и это тоже было счастье.

Значит, Дан помнил о нем, помнил все время, несмотря ни на что, Дан был выше обид, он думал прежде всего про дело, нет, он думал про тебя, он был прежде всего человек, настоящий человек. И Гатенян настоящий человек. Они все настоящие люди. Ты понимаешь теперь, что значит быть настоящим человеком, прежде всего человеком...

В комнате теоретиков давно не собирались. Еще держался застарелый запах курева. Блестели рыжие грифельные доски. Он уселся верхом на стул, лицом к маленькой кафедре и председательскому столику, за которым обычно, запустив руки в свою шевелюру, сидел Дан.

При виде этой кафедры Крылов всегда вспоминал свой первый провал.

А что, если у Голицына ты ничего не сумеешь? — спросил он себя. Способен ли ты поднять такую тему? Господи, наконец-то ты можешь заняться ею! И нечего больше рассуждать, ты слишком много рассуждаешь. А как же быть с диссертацией? Такая легкая, удобненькая диссертация. А как быть с твоей карьерой, и с обещанным тебе комитетом, и с этими бесподобными заседаниями? Порассуждай, тебе полезно, вспомни, как ты просился к Дану хотя бы лаборантом, каким ты был шибко храбрым. Какого черта ты боишься, разве ты все знаешь о себе? Разве ты дошел до предела? Да и есть ли предел, человек сам себе ставит предел, предел в самом человеке, предел — это мужество. К чертовой матери Лагунова, и его расположение к тебе, и твои страхи! Что такое центр грозы — вот что важно. И что такое гроза, и как это все происходит.

Лагунов и Савушкин решили, что он спятил. Зачем к Голицыну? Там же полная неизвестность. Там придется начинать с нуля. «Лагунов тебе этого не простит», — предупреждал Савушкин. Но Крылов блаженно улыбался: «А что представляет собой центр грозы?»

Жаль, что вот так и не пришлось выступить с этой кафедры. Он встал и ласково похлопал ее фанерную стенку.

Молодость кончилась. Только и осталось от нее давнее, немного поостывшее желание выступить с этой кафедры. Когда-то ему уже казалось, что молодость кончилась, но теперь-то он знал наверняка, что прощается с ней.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

1

Окна самолета были залеплены густым серым месивом. Мелкие капли косо ползли по стеклу. Иногда серое тоньшало, процеженное тусклым светом, и тотчас снова подступало сгущенной мглой. Тени клубились, проносились стремительно, тревожно, моторы начинали реветь, и Женя всем телом ощущала напряженную дрожь самолета.

Она вспомнила, как на аэродроме синоптик, крючконосый, зловещего вида старик, сказал ей: — Не советую, Женечка. Помяните меня, нечего вам там... Оставайтесь.

Синоптик питал к ней нежные чувства. Она хотела расспросить подробнее, но к синоптику подошел Агатов, и они зашептались. И это показалось ей неприятным.

Самолет тряхнуло. Женя оглянулась на Агатова. Он сидел сзади, сбоку. За полторы недели он, единственный, нисколько не загорел, сохранял московскую белизну, которая здесь

казалась неестественной. Агатов исподлобья следил за Тулиным.

Розоватые отсветы обегали кабину. Женя прильнула к стеклу. Клубы светлели, наливались бегучей прозрачностью. Тонкие клочья неслись все быстрее, легкими дымными хлопьями. И вдруг в какой-то неуловимый миг истоньшавшая пелена порвалась, и вся кабина самолета озарилась солнцем.

Женя вскрикнула от восторга. Перед ней открылась слепяще-белая долина, с фантастическими замками, башнями, зубчатыми стенами, головами диковинных животных. Тень самолета бежала по холмам и уступам, сделанным из того же белоснежного, чуть подвижного материала. Хотелось выпрыгнуть из кабины и зашагать по блистающей, упругой поверхности этой волнистой страны.

На земле дождала пасмурная хмарь, и не верилось, что где-то может быть солнце. А тут оно сияло неизвестно для кого, в тишине этой снежной равнины, и было непонятно, как может быть на земле пасмурно и дождливо.

На колени упала скомканная бумажка. Женя обернулась. Катя, сидящая через проход, показывала на мигающую сигнальную лампочку. Женя схватила карандаш, записала показания. Приближалась зона повышенной напряженности.

Замечает ли кто-нибудь, что творится за окнами? Нет, все работали, уткнувшись в свои пульта. Катя рассеянно улыбнулась ей и снова наклонилась к счетчику, прыгающему на резиновых оттяжках.

Сквозь открытую дверь в летную кабину было видно, как Тулин что-то показывал пилоту. Солнце высветило резкий профиль Тулина, угол глаза с длинными ресницами.

На второй день после приезда Женя столкнулась с ним. Он не допускал ее и Катю к полетам. В разгар перепалки Тулин вдруг улыбнулся и сказал:

— А ведь мы с вами знакомы. Помните: Москва, парк, гроза, беседка.

— Что ж из этого? — произнесла она ледяным тоном.

Здорово она осадил его, и он не нашелся что ответить. С тех пор он изо всех сил выказывал ей свое безразличие.

Светлые волосы упали Тулину на лоб, и солнце вызолотило их. Вдруг он обернулся, сразу поймал взгляд Жени и сердито захлопнул дверь. Женя довольно усмехнулась. Она с силой уставилась на взъерошенный затылок Крылова. Прошла по меньшей мере минута, пока Крылов забеспокоился, начал оглядываться. Они встретились глазами, Крылов недоуменно пожал плечами и снова обратился к приборам.

Щеголеватый штурман Поздышев, раскачиваясь, шел по проходу. Латунные застёжки его франтоватого комбинезона сияли от солнца. Он посмотрел на Женю и подмигнул ей, она тотчас приняла строгий вид. Забавно, что мужчины чувствуют ее присутствие. Последнее время это случалось все чаще — в метро, на лекциях, в автобусах она замечала устремленные на нее взгляды, и даже если на нее не смотрели, она считала, что это нарочно.

Пристально, повелительно посмотрела она на Ричарда. Он оторвался от прибора, завертелся, поймал ее взгляд и покраснел. Ей нравилось, когда Ричард краснел. У него разом жарко вспыхивали шея, лицо, и Жене в такую минуту хотелось погладить его по горячим щекам.

Единственный, кто сейчас не поддавался ее гипнозу, был Агатов, — сколько она ни смотрела

на него, он не реагировал. Его белое лицо, склоненное над приборами, оставалось недоступно деловитым. Он водил головой от приборов к тетради, от тетради к приборам, как мерно работающая машина.

Жене стало скучно. Выключив счетчик, она подошла к Ричарду.

— Я загадал, подойдешь ты или нет, — сказал он.

Ее охватила внезапная досада.

— Подумаешь, гипнотизер! Дай мне бланк.

Он послушно протянул бланк, задержал ее руку и принялся рассказывать про какие-то заряды.

— Голову даю на отсечение, что Тулин абсолютно прав...

— Мне надоел твой Тулин, — сказала она. — По-моему, он самоуверенный пижон. Тулин, Тулин... Неужели тебе больше не о чем со мной...

Он смущенно стиснул ее руку.

— Есть вещи совершенно ненужные и невозможные для роботов, например юмор. Им юмор ни к чему. И стихи, и сны, и любовь. Они возьмут от человека такие вещи, как память, точность, логику. А всякие штучки, придуманные людьми ради украшения их тусклой жизни, для роботов — хлам! Здорово? Могу о птицах...

— Болтун!

— Я, когда смотрю на тебя, несу всякую чушь. А на самом деле...

— Что на самом деле?

— Ты же знаешь!

— Ничего я не знаю!

Она протянула руку.

— Пусти!

— Подожди!

— Пусти! — сердито повторила она, и он опечаленно сник. Его послушность, которая всегда нравилась ей, сейчас злила.

— Хочешь, я тебя поцелую при всех? — пробуя улыбнуться, сказал он тихо, и в глазах у него стояла такая обожающая робость, что ей самой захотелось поцеловать его. Она расхохоталась.

— Об этом не спрашивают. Герой!

Фыркнув, она отправилась в хвост, на свободное кресло.

Однажды она не удержалась, погладила его по щеке, он чуть не задохнулся и расцеловал ее. Это было еще зимой. С тех пор, когда она разрешала ему поцеловать себя, он шалел от счастья. Собственная власть удивляла ее, стоило нахмуриться — и он уже ходил встревоженный, а когда у нее было плохое настроение, то он вообще становился

несчастливым.

Весной они пошли на выставку польской живописи. Возле картин абстракционистов шумели спорщики. Разумеется, Ричард немедленно вмешался, доказывая, что реализм устарел, передвижники устарели. Конечно, «правоверные» накинулись на него, потребовали объяснить, что изображают эти круги и кляксы, и он, конечно, отвечал, что ничего не означают, надо дорасти до понимания современного искусства, невозможно передать словами музыку, попробуйте объяснить слепому, что такое цвет. Эта живопись отражает новую физику — для атома нет разницы между стулом и табуреткой, мир стал богаче, сложнее. Ему кричали: «А Репин?» И он кричал: «Ваш Репин — это примус!»

Когда вышли из музея, Женя робко призналась, что она ничего не поняла в абстрактной сумятице кругов и размытых линий.

— Я тоже, — сказал Ричард. — Бред!

— Чего ж ты защищал их?

— Бунт! А зачем их зажимают? Дайте мне самому разобраться.

Она с облегчением расхохоталась и сказала:

— Ты мне нравишься.

Лучше бы она этого не говорила: он взбежал на лестницу библиотеки Ленина, обнял колонну и стал тихо смеяться, как псих. Больше от него слова нельзя было добиться, он ничего не слышал, он лишь смотрел на Женю, и идиотски улыбался, и держал ее руку, как будто она была хрустальная.

В глубине души Женя испугалась и обрадовалась — все сразу. До сих пор такое проходило легко и весело. Она влюблялась в учителей, в артистов, на первом курсе влюбилась в молодого профессора и уговорила Катю тоже влюбиться в него, потому что одной было скучно. Целовалась со старшекурсниками, на целине чуть не выскочила замуж за комбайнера, но сама знала, что все это несерьезно. С удовольствием рассуждала с подругами: «Настоящей любви нет, мы дети атомного века, мы свободны от иллюзий». Однако подруги одна за другой влюблялись на всю катушку, плакали, страдали, несмотря на атомный век, и она втайне им завидовала. И вот Ричард. Она почувствовала, что у него это очень серьезно. Обрадовалась — наконец-то по-настоящему, может, даже интереснее, чем у других. Он был трогательно нежный, страшно умный, он был аспирант; Голицын считал его талантливым. Он держался дерзко, вечно спорил и только перед ней терялся. Такая покорность льстила и в то же время немножко пугала. Иногда хотелось, чтобы он не был таким послушным и не обращал внимания на ее рассуждения о том, что она терпеть не может нахалов.

В самолете по-прежнему работали. Агатов и Лисицкий совали в трубу промокашку, меряли заряды капель по своей программе; Крылов что-то обдумывал; все были заняты, у всех были какие-то цели, задачи, планы. Все знали, чего хотят. Ричард жаждет стать великим ученым, Катя — скорее столкнуть диплом и выйти замуж. Поздышев — покорять девиц. Одна она не знает, чего ей добиваться. Она тоже защитит диплом и станет чьей-нибудь женой, может, того же Ричарда, будет работать, растить детей, и будет считаться, что у нее порядок. Быть не хуже других — это мама называет счастьем. Может, сама она тоже покажется себе счастливой. Но когда-нибудь она тоже вспомнит этот день, солнце в самолете, зачарованную страну из облаков, куда она хотела сойти, зашагать, взбираясь на белые горы.

Прижав нос к стеклу, она увидела вдали ярко-белую, точно раскаленную, вершину с утолщением, похожим на гриб. «Типичное Кабе», — подумала она, вспоминая лекции

Голицына: «Облака, очевидно типа Кабе, в старину уподобляли мозгу. О, фантазия древнего человека, необыкновенно смелая и образная! Теперь никто не разглядывает облака, теперь слушают сводку погоды...»

Быстро потемнело. Самолет нырнул в облако. В проходе, гремя, покатила жестяная коробка. Пол накренился. Женя схватилась за ручки кресла. Из кабины летчиков вышел Тулин. Держась за раму дверей, он обежал глазами работающих. Женя поднялась, торопясь вернуться на свое место. В это время самолет швырнуло вниз, потом вбок, Женя упала, и тотчас же ее потащило между креслами, бросило вверх почти до плафонов, она снова упала и вцепилась обеими руками в лежащие на полу шланги. Громяющаяся кассета подкатилась к голове и полетела обратно. Раздался испуганный вскрик Кати.

«А что, если смерть? — подумала Женя. — Что скажут обо мне? Двадцать лет. Ничего не успела. Только бы не больно. Никогда не думала, как я умру. Если кричать, будет легче!»

Она закусила губу, чтобы не закричать. Самолет снова бросило вниз, моторы взвыли. Женя лежала, судорожно схватившись за шланги. Ноги ее болтались где-то в воздухе.

Кто-то обхватил ее за пояс, оторвал от пола, кинул в кресло. Она увидела над собой Тулина. Одной рукой он держался за подлокотник, другой шарил по ее груди. «Затягивайте ремень!» — крикнул он. Но в эту минуту она заметила, что юбка ее задралась, и, вместо того чтобы схватить ремень, принялась одергивать юбку. Ладонь Тулина легла на ее оголенную ногу, прижимая к креслу. Женя возмущенно посмотрела на него, вдруг ощутила его пальцы и увидела: он тоже ощутил ее голую ногу, и в глазах его засмешилось что-то дерзко-любопытное. Женя ударила его по руке. Он что-то сказал. Слов не было слышно, только движение губ снисходительно-обидное. Ловко затянув ремень, он быстро наклонился и, нагло следя за ее глазами, чмокнул в щеку и тотчас отошел, цепко хватаясь на ходу за кресла, балансируя, потому что самолет по-прежнему швыряло из стороны в сторону.

Первым ее движением было оглядеться — все оставались на своих местах, никто ничего не заметил, один Ричард смотрел на нее. Она натянула юбку, он пристыженно отвернулся, и она мысленно изругала его.

Рядом охала Катя. Глаза ее были закрыты, голова моталась.

Женя стиснула ладонями щеки. «Дуреха, — вдруг сообразила она, — дура — вот что сказал Тулин, дуреха!»

Сразу пропала тошнота, исчез страх, она забыла про ушибленные колени и ссадины, рванулась, готовая бежать к Тулину и сказать ему такое... такое... и еще больше возмущалась от того, что продолжала вспоминать прикосновение его руки, словно отпечатанное на бедре.

Четвертое облако было как раз то, что нужно. Оно начинало бурно развиваться, из «цветной капусты» выростала массивная наковальня. Оно было начинено молниями, ливнями, громами. Не так-то просто было разыскать такое облако. Чтобы оно было молодым и перспективным, и активным, и изолированным, и мощным. Притом его еще надо застигнуть вовремя, поскольку оно живет минут тридцать-сорок, не больше, и затем превращается в совершенно бесполезное, ненужное, безнадежное облако, которыми полным-полно небо и которые только мешают работать. Особенно противны слоистые облака, мертвые, неподвижные, от них ничего интересного не дождешься.

Синоптик был прав: над Морозовской был отличный выбор грозовых облаков. Но если бы не Хоботнев, то все же этого четвертого облака Тулин бы не нашел. Хоботнев высмотрел его справа от курса, показал Тулину, они перемигнулись, и Хоботнев пошел на разворот. Затем они вышли на прямую и стали приближаться к облаку номер четыре.

Да, это был великолепный экземпляр. Ярко-серебряная вершина его, вся в клубках, опиралась на темнеющий книзу могучий массив. Издали, как всегда, это выглядело легкой, красивой постройкой, — что-то вроде взбитых сливок. Но по мере приближения облако росло, и нависало, и угрожающе чернело, и самолет становился все меньше, крохотный мотылек, несущийся на скалу. Руки Хоботнева, сжимавшие штурвал, напряглись. Тулин стал за его спиной, дал команду: «Приготовься. Режим», — расставил ноги, ухватился за стойку, зажал локтем журнал, подался вперед, напрягся, и весь самолет напрягся, готовясь к встрече. К этому нельзя было привыкнуть. Всякий раз возникало безотчетное чувство напряженного ожидания, как будто самолет ударится об эту мрачно-сизую твердь.

Хоботнев вел машину так, чтобы срезать самую верхушку, войти чуть-чуть под кромку. По правилам это строго запрещалось. Они могли проходить над облаком, сбоку, но ни в коем случае не лезть в него. Никто не знал, скольких трудов стоило Тулину уговорить Хоботнева. И так и этак он обхаживал Хоботнева, поил коньяком, помогал изучать английский, все было напрасно, пока однажды, после разбора полета, Хоботнев не спросил его:

— Значит, ни-ни, Олег Николаевич, выходит, никаких результатов не получаете, зря летаем?

И Тулин почувствовал, что вот это ощущение малых результатов работы больше всего задевало Хоботнева. Назавтра Хоботнев, подлетев к облаку, не скользнул над ним, не свернул, а пошел прямо на край. Тулин видел, как радист и второй пилот посмотрели на Хоботнева, но ничего не сказали, и Хоботнев тоже молчал, как будто произошла случайность. Но затем он развернул самолет, и они снова прошли край облака в другом направлении; так они обследовали его края со всех сторон, пока оно не распалось, и потом перешли к другому облаку, и все это время второй пилот молчал и хмурился. Тулин понимал, что он не желает участвовать в этих нарушениях и нести ответственность, потому что за такие штучки могли снять с работы. Они ворчали на Хоботнева и спрашивали, на кой ляд ему соваться куда не следует, им за это не платят лишнего, и машину мучают, и вообще, чем черт не шутит, гроза есть гроза. Но хорошо хоть, что они пока никому не жаловались: они любили Хоботнева и не хотели подводить его.

Сегодня обследовали уже три облака, малость потрясло, но то были просто мощные кучевые, а это четвертое обещало быть самым интересным, и Хоботнев вошел в него чуть глубже, всего на несколько метров поглубже, и это сразу почувствовалось, как будто по самолету застучало огромным молотом. Тулин взглянул на секундомер: «13 ч. 49 м. 05 сек». Начали! Режим! Найти зоны наибольшей заряженности. Все подготовились? Как там Лисицкий, ему лишь бы налетать часы. Дурацкая система оплаты. «Кузьменко Женя! — это в ларингофон. — Переключите чувствительность!» Невозможно даже обернуться. Ага, молния! Чудно! Километрах в двух. Как струится по стеклам вода! Откуда на такой высоте вода, если за бортом минус тридцать? Температурные зависимости... Черт подери, сколько тут путаницы! При такой вибрации скажется микрофонный эффект. Только бы предусилители не забарахлили. Он всегда был готов к тому, что где-то что-то забарахлит. Было чудом, когда эти десятки приборов работали. В каждом из них были сотни деталей, каждая могла в любую минуту отказаться, тысячи паек, которые могли отойти, контакты, которые могли окислиться, изоляция, которая могла пробиться, — и когда вся эта махина все же действовала вопреки всем законам вероятностей, Тулин испытывал тайное, детское изумление. Он не уставал восхищаться этим чудом. Капли касались колец, установленных над фюзеляжем, и заряды проходили через предусилители и усилители, через лампы, пока наконец не всплескивались пиком на пленке осциллограммы. И это тоже было чудом. Самолет прыгал, как будто катился по пикам этой наибольшей напряженности. Ох, не забыть на обратном заходе выяснить, как изменяется картина во времени. Посадка будет в Ростове. Поздышев обещал достать в универмаге чешские сандалеты. За неделю обработаем замеры, и сразу писать статью. Надо скорее опубликовать, застолбить...

Хорошо, что Тулин предупредил, сам бы Крылов не подготовился и проворонил молнию. Доля секунды, лиловый вспых, разряд — и хаос разрозненных капель обретает единство. Не обращая внимания на приборы, он задумался, каким образом молния успевает собрать с миллиардов капель накопленные заряды. Молния пронизывает облако, как мысль, думал Крылов, она как озарение, итог, казалось бы, нелепейших страстей, оправдание, и все выстраивается в ее слепящем свете, обретает смысл прошлое и будущее, но если бы понять, как это все происходит... Мысль, мысль, а вот когда мысль еще не выражена словами, когда она формируется, в самом истоке, где клубятся смутные ощущения...

Самолет выскочил в синеву. «13 ч. 49 м. 45 сек.» Тулин помахал затекшей рукой. Как много можно успеть, обдумать, сделать за сорок секунд! Жить бы всегда так полно, всеми чувствами сразу, как эти сорок секунд, до чего огромной стала бы жизнь! Он крикнул в ларингофон: «Конец режима!» — и засмеялся. Хоботнев откинулся на спинку и тоже скупно улыбнулся. Тулин кивнул ему, благодарно показал глазами, что это было здорово и что Хоботнев великолепно провел машину, строго по горизонту, теперь надо было разворачиваться и заходить снова в это облако, с другой стороны, пока оно не развалилось.

Скинув наушники, Тулин вошел в салон, навстречу ему от щитов, от стендов поднимались разгоряченные лица с той же неостывшей улыбкой азарта, какую он чувствовал на своем лице. Мигали цветные лампочки, стрелки неохотно опадали, возвращаясь к нулям, жужжали моторчики.

— Ну как, здорово? Хороша кучевочка? — счастливо спрашивал Тулин, как будто он сам сделал это облако и преподнес им.

Разумеется, что-то сорвалось. Заело бумагу на самописце, куда-то пропал ноль, Алеша поносил флюксметр на чем свет стоит и не понимал, почему Тулин так спокоен. Тулину было обидно: те, кто не нянчился с этими приборами, не видели никакого чуда, они считали само собой разумеющимся нормальную работу приборов, никто не знал, чего это стоило и как это все делалось.

Он помог Вере Матвеевне заправить катушку и заодно подтянул фиксатор, иначе бы Вера Матвеевна возилась еще полчаса. Удивительно, как люди не замечают самых простых вещей! Сказал Кате, чтобы она пользовалась карандашом, а не ручкой, которая, разумеется, потекла и замазала журнал, и посмотрел записи Крылова — эх ты, мечтатель, прозевал, это ж было чудесное облако, приборы отметили три молнии, ну ничего, увидим, что получится на втором заходе.

Машину несколько раз крепко трянуло, очевидно Хоботнев разворачивался вблизи облака. Тулин заспешил в кабину, но, как назло, пришлось помочь Жене Кузьменко привязаться, наверное, эта дуреха вообразила, что он не без умысла прижал ее. Улыбаясь, он вошел в штурманскую кабину и тут, встретив Агатова, сам не зная почему, смутился.

Крепко держась обеими руками за скобу, Агатов всматривался в трубу локатора, потом отстранился, вытер бледный лоб, закрыл глаза.

Облако заметно разбухло, заслоняя солнце, оно быстро нависало сизыми закраинами над самолетом. Тулин взял ларингофоны, в это время Агатов тронул его за плечо, бескровные губы зашевелились; не разбирая слов, Тулин тем не менее сразу понял: Агатов запрещал входить в облако.

— Что с вами, Яков Иванович? — крикнул Тулин. — Никак вас укачало? — Он постарался изобразить заботливость и сочувствие. — Примите таблетки. Ничего опасного нет, уверяю вас.

Он почувствовал, что Хоботнев обернулся к ним обеспокоенно-выжидающе. Заслонив Агатова спиной, Тулин теснил его назад в штурманскую.

Надо было выиграть всего одну-две минуты, чтобы Агатов ничего не заметил. Если бы Хоботнев догадался швырнуть машину так, чтобы Агатова отбросило или чтобы он начал травить. Он и так еле стоял — бледный, потный.

— Яков Иванович, если мы сейчас не замерим, то прошлые замеры пропадут.

Агатов с трудом повел головой.

— Нельзя. Запрещено.

Тулин почувствовал тяжесть своих кулаков.

— Яков Иванович, прошу вас, я отвечаю за все...

— Нет, не могу, — сказал Агатов. Крупные капли выступили на его висках. — В ваших же интересах!

О, эта иезуитская формула — «в ваших интересах»! Кто лучше его знает «наши интересы». Он полон заботы и внимания. Он наступит на Хоботнева, он закроет полеты, но, поверьте, Олег Николаевич, все лишь ради вас, в ваших интересах...

Где-то за плечами Агатова нетерпеливо ожидающие глаза Хоботнева. Ничего не стоило отодвинуть Агатова, крикнуть, дать команду. Но вместо этого Тулин, униженно улыбаясь, начал снова просить Агатова.

— Нельзя, — обессиленно, еле слышно повторил Агатов.

Потный, страдающий от болтанки, он поднял глаза на Тулина, и в них слабо колыхнулось торжество. Придется выполнять, потому что он ответственный, власть у него, а вы, сильные, рослые, такие свеженькие, лихие, не замечающие болтанки, такие талантливые, с вашей выдающейся программой измерений, вы должны подчиниться.

Перед самым облаком самолет круто пошел вверх.

Тулин вышел в салон, щуря глаза в упругой улыбке.

— В чем дело? Почему уходим? — К нему обращались нетерпеливо, обеспокоенно, разочарованно, а он вынужден делать вид, что ничего не случилось и что он по-прежнему руководитель группы, тот, кто все знает и все может.

После посадки он задержался в машине. Из окна было видно, как по полю ровно шагает Агатов. Рядом с ним шли Катя, Алеша Микулин и Вера Матвеевна, и все они мирно разговаривали. Агатов любезно взял у Веры Матвеевны ее чемоданчик.

Внизу у самолета Тулин столкнулся с Женей.

— Что ж вы испугались подойти к грозе? — мстительно сказала она.

Он посмотрел на нее устало, словно не слыша.

Бесконечное разнообразие жизни восхищало Ричарда и приводило в отчаяние.

Повсюду возникали проблемы одна заманчивее другой.

Винер утверждал, что будущее принадлежит кибернетике. Иоффе утверждал, что будущее принадлежит полупроводникам; затем выяснилось, что будущее принадлежит биотокам, термоядерной энергетике, теории наследственности.

Полгода он по вечерам помогал приятелю налаживать прибор для фотосинтеза.

— Почему я не занялся фотосинтезом? — жаловался он Жене. — Вот где фантастика: все трудности сельского хозяйства будут решены фотосинтезом.

Друзьям из архитектурного он выкладывал свои идеи о городах, вписанных в пейзаж.

Он был уверен, что если займется перелетными птицами, то откроет тайну их навигационного устройства, и тогда можно будет снабдить авиацию поразительными приборами.

Он завидовал журналистам, разъезжающим по стране (эти парни видят жизнь, а мы что?), историкам, которые копаются в архивах (нужно наново переосмыслить всю историю!), медикам (нет ничего важнее средства против рака!). Он считал себя способным стать выдающимся шахматистом, авиаконструктором, может быть, даже писателем.

А радиоастрономия? Разве это не ужасно, что он не стал радиоастрономом? Он доказывал Жене:

— Они сейчас готовят передачу сигналов другим мирам! Через десять, пятнадцать лет мы получим ответ из космоса! Мы свяжемся с мыслящими существами. Человечество перестанет быть одиноким. Пойми, это же самое главное!

— А рак?

Он досадливо отмахивался.

— Подумаешь, рак! Наладить связь с другими планетами — и откроются такие возможности, такие законы!

Будь у него время, он изучал бы биофизику — клетка, хромосомы — бесспорно, это главная проблема жизни.

В детстве он был убежден, что от него ничего не уйдет. Жизнь не имела предела. Прошлого еще не было, а емкость будущего была безгранична.

Сначала он поступил на геологический факультет, но вскоре решил, что геология — наука описательная, и перевелся в электротехнический, а потом на инженерно-физический. Друзья упрекали его за непостоянство, но его тянуло к основам основ. Лишь в аспирантуре он наконец понял, что уже не успеет стать ни классным баскетболистом, ни музыкантом, что не удастся доказать теорему Ферма и вообще сила и время — величины конечные.

Слово

никогда звучало трагически. Никогда? Но ведь другой жизни у него не будет. Что же делать с этим миром, полным манящих вещей, достойных страстной любви? Неужели, выбрав одно, приходится навсегда отказаться от всего остального?

Голицын утешил его всеобщностью подобной драмы. Всем хочется больше, чем они могут. Каждый год открываются новые и новые мучительные загадки, надо все больше времени,

чтобы разобраться в накопленном материале, исследования требуют все более сложной аппаратуры и огромного времени, а жизнь остается такой же короткой.

На него напало смирение — «буду как все», «науке нужны солдаты не меньше, чем генералы».

— Конечно, я тебя не устраиваю, — кротко говорил он Жене. — Я скромный труженик, звезд с неба хватать не буду.

— И очень хорошо, — говорила Женя. — Если каждый будет хватать звезды, — представляешь, что получится? Достань мне лучше темные очки, впрочем, ты, вероятно, и вправду ограничен.

— Это почему?

— Потому что талантливые люди знают себе цену. Вот такие очки, как у этой фирмы, можешь достать? Не можешь, ну и иди тихо.

Она обращалась с ним бесцеремонно, ни капельки не считаясь с тем, что он аспирант, а она всего-навсего дипломантка.

Ничего особенного она собою вроде не представляла: капризная, избалованная вниманием, училась посредственно, без увлечения. Но он чувствовал: это не вся Женя. Было в ней что-то нераскрытое, как обещание, что-то виделось в ее слегка раскосых, без блеска глазах, куда можно было входить, как в ущелье, и путешествовать, забираясь все дальше в их коричневую мглу.

Временами Ричард сомневался: имеет ли право настоящий ученый тратить себя на любовь, особенно на несчастную, — в том, что у него несчастная любовь, он не сомневался, хотя все обстояло прекрасно, а когда ему удалось устроить так, чтобы он вместе с Женей поехал на практику к Тулину, то он был и вовсе счастлив.

Он надеялся, что здесь, в полетах, рядом с Тулиным и Крыловым, у Жени пробудится настоящий интерес к ее специальности. Во всем другом не смея ей противоречить, боясь поссориться, в этом он не поддавался. Она не имеет права жить без призвания, без страсти. Он стойко переносил ее гнев и несколько раз бесстрашно нарушал запрет говорить на эту тему.

Тулина она терпеть не могла, поэтому Ричард боялся рассказать ей про свою диссертацию. Дело в том, что, посмотрев у Крылова материалы, он решил связать диссертацию с возможностями воздействия на грозу по методу Тулина. Сделать это надо было втайне от Голицына, придется многое перекроить, наверное, в срок не уложиться, но он шел на все. С Крыловым договорились пока что Тулину ничего не сообщать, чтобы не взваливать на него лишнюю ответственность.

В воскресенье с утра Женя уговорила отправиться в горы. Карабкались по заброшенной, усеянной камнями дороге. Раскаленный щебень жег подошвы. Внизу, в зарослях ивняка, шумела Аянка, а дальше, на плоскогорье, открылись желтенькие коттеджи поселка, бетонные полосы аэродрома, блестящие крестики самолетов и за коробочкой аэровокзала продолговатый кирпичный сарай тулинской лаборатории.

Ричард сказал:

— Студенты, запомните: изображение этой скромной постройки войдет во все хрестоматии.

Катя фыркнула:

— Тоже мне лаборатория — конюшня!

— Слушай сюда, — сказал Ричард, — все великие открытия происходят в подобных сараях. Когда лаборатория получает хорошее помещение, она начинает плохо работать. Чем велик Тулин? Первое...

— Сколько можно! — сказала Женя. — У нас отрывка от твоего Тулина.

Он никак не мог понять ее раздражения; словно назло, она принялась нахваливать Бочкарева, как будто каждый настоящий ученый должен быть горбатым.

— Не помогаем мы ему, — сказала она.

— А чего ему помогать? — спросил Алеша Микулин.

— Так он же прикреплен к нашей группе. С него спрашивают за воспитательную работу.

Ричард поддержал ее.

— Он жаловался, что понятия не имеет, чем вы живете. Хоть бы обращались к нему, раскрыли разок-другой свои души.

— Почему преподавателям так хочется знать, чем мы живем? — сказала Катя.

— Чтобы искоренять ваши пережитки и взгляды.

— Старики хотят знать, чем мы отличаемся от них, — сказала Женя.

— Ничего подобного, — сказал Алеша, — они хотят, чтобы мы без конца занимались. Все сводится к этому.

— Все равно будут говорить, что их поколение было в нашем возрасте идейнее, — сказала Женя.

— А какие у меня взгляды? — спросил Алеша. — Понятия не имею.

— День прошел — и ладно, вот твои взгляды, — сказала Катя.

— Симпомпончик ты мой!

— Убери лапы.

— А ты не упрощай, — сказал Алеша. — Я стилига. Я не хочу на периферию. Я люблю бары. Я циник, и ты должна меня терпеливо воспитывать.

И, схватив Женю за руки, принялся победно отплясывать рок. По приезде сюда он первым делом раздобыл летнюю фуражку, надел самодельные шорты и стал разыгрывать небесного бродягу. Ему нравилось, что его считали способным, но ленивым, нравилось изображать циника, скептика, и обижало, когда в группе к нему переставали относиться всерьез.

Разделись. Со стоном опускались в ледяную воду, выскакивали, прижимались к горячим валунам.

Женя закидывала руки, вода скатывалась по смуглой спине, блестели капли, был виден

темный треугольник под мышкой. Ричард отворачивался. Он мучительно завидовал Алеше, который мог шлепать Женю по спине, подмигивать — чинная деваха? — и Ричард глупо смеялся и никак не мог решиться обнять ее голые плечи. Вместо этого он сердился, доказывая, что надо как-то помочь Тулину, ругал Агатова, ему хотелось сказать что-то умное, едкое, необычное, и все время получалось не то.

Никто из студентов не видел в Агатове ничего плохого. Агатов их вполне устраивал. Дает списывать материалы чужих замеров, не мешает, выхлопотал деньги за полеты.

— А насчет грозы он правильно запрещает, — сказала Катя. — Кому охота грохнуться? Страшно вспомнить, как нас мотало.

Женя повела глазами на Ричарда.

— Тебе-то и вовсе нечего выступать против Агатова.

Ричард заметно смутился и замолчал.

— Кто их разберет, — примирительно сказал Алеша. — Голицын больше нашего знает.

— Почему ты не желаешь вникнуть? Ты же способный парень! — сказал Ричард.

Алеша повернулся лицом к солнцу, похлопал себя по животу.

— Плевал я на свои способности. С ними одно мучение. Ты вот талантливый, вникаешь, и что? Приходится бороться. Кому-то помогать. Расстраиваешься. Нет, это не для меня.

Он включил карманный приемник Ричарда, поймал музыку.

— Станцуем?

Женя покачала головой.

— Жарко.

Она пошла к реке, забралась на косо торчащую корягу, легла лицом к воде, свесив руки в бурливый поток.

Судорожная музыка джаза странно звучала среди отрогов, заросших алыми кустами шиповника. Шумела каменисто река, задумчиво смотрели черно-сизые горы с белыми обливами ледников.

Незнакомая красота этого края вызвала у Жени тревогу. Горы непрестанно менялись, синие, голубые, лиловые, иногда они куда-то исчезали, становились плоскими, как нарисованные, или старыми, морщинистыми, как складки слоновьей кожи, молочные туманы стекали по их расщелинам, там, наверху, шла какая-то жизнь, полная значения, мудрая и справедливая.

Фигуры Алеши и Кати дергались и сплетались, подхлестываемые ритмом джаза. Что-то нелепое, стыдное показалось Жене в этих движениях перед бесстрастным лицом гор.

— Бросьте вы, — крикнула она, — нашли место где разлагаться!

Ричард выключил приемник. Он всегда слушался, когда она говорила таким тоном.

— Я тебя понимаю, — сказал Алеша. — Первобытные условия. Сюда бы горный бар, коктейль «Блед-Мэри».

Женя смотрелась в воду. Зеленые космы реки разрывали, уносили отражение, из глубины на нее смотрело, то исчезая, то появляясь, зыбкое, смутно похожее, а еще ниже, между обросшими камнями, чуть вздрагивая плавниками, застыли рыбы.

— Послушайте, согласился бы кто из вас увидеть свою смерть? — не поднимая головы, неожиданно спросила она.

— Фу, я бы ни за что! — сказала Катя. — После этого нет смысла жить.

— Жизнь и так не имеет смысла, — небрежно изрек Алеша.

— А смерть тем более, — сказал Ричард. — Не знаю ничего глупее смерти.

— Я думаю, что если бы люди могли видеть свою смерть, — сказала Женя, — они бы ничего не боялись. Они стали бы лучше. Они говорили бы правду.

Алеша растянулся на камнях, шумно зевнул.

— Кому нужна твоя правда? От нее одни неприятности.

— Надо и без этого сметь говорить правду, — сказал Ричард.

Катя засмеялась.

— Попробуй.

И Алеша тоже засмеялся.

— В самом деле, почему б тебе не попробовать?

— Начни с Тулина, — сказала Женя. — Скажи ему, что он трус. Струсил перед Агатовым, когда мы попали в грозу.

— Оставь Тулина в покое, — сказал Ричард.

— Ага, видишь, ты даже слушать правду не хочешь! — сказала Женя. — Ты влюблен в Тулина. Ребята, посмотрите, он стал причесываться под Тулина.

— Давай клади его, Жека, на лопатки.

Несмотря на дружбу, они относились друг к другу безжалостно, презирая сантименты, нежности и прочие пережитки далекого детства. Таков был стиль. Так было принято. Лучше злиться, чем страдать, лучше высмеивать, чем злиться.

В лаборатории Ричард сам был таким, но с ними он невольно становился в позу старшего. Его раздражал их дешевый цинизм, дешевый потому, что зубоскалить было легче легкого, он умел это получше их, однако жизнь, он убедился, гораздо более сложный процесс; сначала ее воспринимаешь по законам арифметики, а потом...

Они быстро усвоили, что от правды одни неприятности. Но есть другой счет, другая система измерений, и там правда — высшее удовольствие. И необходимость. И так уже накопилось слишком много брехни. Придет время, когда правда станет для человека необходимостью, а не огорчением. Который раз он клялся себе, что отныне и во веки веков он будет врезать правду всем и каждому. Не уклоняться, не молчать, а пользоваться каждым случаем, чтобы выложить всю правду. Пусть обижаются. Пусть неприятности — он готов на все.

— Ну, чего ты изгиляешься? — сказал он Алеше. — Старо. Хотя бы свое что-нибудь придумал.

— Лень. Жира!

Жиирра! — блаженно пропел Алеша.

— А вообще чего ты добиваешься!

— Понятия не имею.

— Эх ты, пищеварительный тракт! Какая твоя позитивная программа? По субботам, выпросив у отца трешку, стоять в очереди в кафе-мороженое? Девочки. Стиль. Шпаргалки. Волейбол. Кино. Анекдоты. Липси... Ничего не забыл?

Алеша сплюнул.

— Напиши статью в «Юность»: прав ли Алеша Микулин? А как думаете вы, дорогие друзья? И двадцать тысяч пенсионеров меня осудят.

— Он тебя разоблачил, Алеша, — сказала Катя. — А вот Женю слабо.

Алеша сделал мостик, демонстрируя свою тренированную мускулатуру спортсмена.

— «Разоблачил!»! А что он может предложить? Да, кафе-мороженое. Чихать мне на твою грозу, и на твою молнию, и прочие загадки природы. Посмотри на своего Тулина и Крылова. Что они имеют с этих великих проблем? Ишачат в этой дыре. Докажут сотне стариков, что заряды распределяются не так, а этак! И вся хохма!

Теперь мог бы улыбнуться Ричард. Он добился своего. Самое трудное — вызвать их на спор. Но его занимала только Женя. Он говорил, в сущности, для нее, а она молчала. Все, что происходило здесь, происходило прежде всего между ними двумя. Не глядя на нее, он чувствовал, как она лежит на коряге, охватив голыми ногами скользкий ствол.

— У нас редчайшая возможность, — сказал он. — Это же раз в столетие. Вы можете участвовать в крупнейшем открытии. А вы? Курортники! Агатов вас устраивает. Избавил от опасных полетов. Какого же хрена вы тут кокетничаете: ах, жизнь не имеет смысла! Тоже мне циники-битники. Еще смеете Тулина называть трусом. Кто же трус? — Он уже разошелся, освобождаясь от своего жалкого чувства связанности.

— А вот про Женю слаб?, — снова сказала Катя.

Они засмеялись. «Осторожнее», — сказал он себе.

— Что ж ты замолчал? — сказала Женя.

Он понимал, что сейчас решается что-то важное для них обоих, особенно для него, и все зависит от того, осмелится ли он довести до конца этот разговор, начатый, по сути, ради нее.

— А ты тоже прикидываешься, что тебя ничто не трогает. — Он повернулся к ней. — Тулина высмеиваешь! Какое ты имеешь право? Что ты перед ним такое? — «К черту всякую осторожность», — подумал он. — Зачем ты учишься? Рассуждаешь про смерть, а боишься заглянуть в свое будущее. Ты же не любишь свою специальность. Служащая. За полчаса до звонка будешь собираться...

Она вся сжалась, и ему стало жаль ее, но он знал, что лучше ничего не смягчать. Вместо этих дурацких разговоров взять ее на руки и понести, ей бы это понравилось. Если бы он мог решиться на такое.

Вдруг она соскользнула с коряги, схватила свое платье, туфли и, прыгая с камня на камень,

стала перебираться на другой берег.

На середине реки она поскользнулась и чуть не свалилась в кипящую воду. Катя вскрикнула.

— Что ты наделал? — накинулась она на Ричарда.

— Получил? Правда, правда... — передразнил Алеша. — Это только в спорте объективная правда. Секунды и метры — и будь здоров.

На другом берегу Женя оделась и пошла вниз вдоль реки.

По зеленым отрогам высоко поднимались красноватые колонны лиственниц. Леса здесь стояли чистые, просторные, как парки. Река торопилась, перекатывая на ходу камни, неслась без смысла и цели. Жене показалось, что когда-то с ней уже было это — река, солнце, горячие камни, — давным-давно, наверное, в детстве, и она ужаснулась, поняв, что детство — это давным-давно. Ей вдруг захотелось в Москву, к маме, скорее назад, в то время, когда мама называла ее Жужей, когда ничего не надо было решать и всегда можно было спросить: почему? Уже не впервые Ричард приставал к ней со своими противными вопросами, после которых портится настроение. Все они — и Ричард, и Крылов, и этот Тулин, — разумеется, находят удовольствие в своей работе, о чем-то спорят, волнуются, как будто в этом вся жизнь. Какая все же разница между ней и Ричардом! Она чувствовала себя старше его, могла заставить его делать глупости, а вот есть ведь у него то, в чем он выше, интереснее ее, и для него это дороже их отношений. Брось она его сейчас, все равно у него останется работа. Взять Крылова. Катя пробовала с ним закрутить — ничего не вышло; молодой, интересный, а живет в своих формулах и вовсе не чувствует себя обиженным. Говорят, у него какая-то романтическая история, но дело не в этом, у него жизнь содержательная. Им-то хорошо. А что будет с ней, скоро диплом, а дальше?

Самостоятельность, взрослость — она так нетерпеливо ждала этого, а сейчас хотела отдалить их приближение. И самое страшное — что они надвигались неотвратимо и ничего нельзя было остановить. Почему-то вспомнился огромный, во всю стену, старый буфет, похожий на замок. Когда никого не было дома, она принималась шарить по ящикам, открывать дверцы, и все полки пахли по-разному: там стояли банки с вареньем, книги, красные чашки. «Дура, — сказала она себе, — дура», — и вспомнила презрительный взгляд Тулина, его голос, и ей стало еще горше.

Она обернулась на стук камней. Ричард бежал за ней.

— Я тебя обидел? — спросил он.

— Вот еще! Мне просто наскучило.

Он так быстро заглянул ей в глаза, что она не успела спрятать то, что там было. Но, кажется, он ничего не заметил, он был полон раскаяния. Робко и виновато он обнял ее, поцеловал, и она почувствовала, что снова обретает власть над ним, стоит ей улыбнуться, — и он просияет, она чувствовала, как дрожат его губы, и задумчиво смотрела в голубое слепящее небо. Откуда эта власть и зачем, что делать с ней?

Большая серебряная рыбина высоко подскочила над водой. Женя вскрикнула от испуга и рассмеялась. Горы стали голубыми, запели птицы, одуряюще запахло чабрецом.

Они собирали шишки, искали малахитовые камушки, пели песни, и Ричард весело и покорно восхищался горами и цветами, хотя он презирал старомодное восхищение пейзажами. Назад по камням Женя побоялась переходить, и они пошли в обход до всячего моста.

— Я тебе нужна? — спросила Женя.

— Очень.

Мост качался под ними, и от высоты у нее кружилась голова.

— Ты хороший.

Он посмотрел на ее задумчивое лицо и чуть слышно вздохнул. Она взяла его руку.

— Я не могу так сразу, но я... Только не торопи меня.

— Я не буду торопить.

— Вот и чудно.

В поселке они столкнулись лицом к лицу с Тулиным. Женя отстранилась от Ричарда, произвольное это движение изумило ее, и она тут же взяла Ричарда под руку, прижалась к нему так, что Ричард покраснел. Тулин ничего не заметил, он тащил ящик с приборами, устал, был озабочен неприятностями из-за Агатова, начальник отряда ужесточил контроль, нет конца всяким формальностям и придиркам. Чтобы привернуть кронштейн, надо согласовать с Москвой, — он помахал текстом телеграммы.

— Давайте я сбегаю отправлю, — сказал Ричард.

Они остались вдвоем на бульваре. Тулин поставил ящик на землю, вытер лицо.

— Лучше бы вы Агатова очаровали, — сказал он. — Захороводили бы его, чтобы не мешал нам. — Говорил, а сам смотрел не на нее, а в сторону почты.

— И не собираюсь, хватит, что Ричард перед вами на задних лапках! — выпалила она, похолодев от своей дерзости, и восхитилась ею же.

Тулин окинул ее с ног до головы откровенно, по-мужски.

— Да, пожалуй, Агатова вам не одолеть.

— Я если захочу, то и вас одолею.

— Да ну?

Она ответила ему презрительным смешком и удалилась походкой многоопытной женщины.

3

Будь у Крылова возможность, он поселился бы в облаках. Расставил бы там свои приборы, измерял, наблюдал и сбрасывал вниз пленки для обработки. Увы, полеты заканчивались слишком быстро, и приходилось спускаться на землю, где находились столовые, койки аэродромных гостиниц, зарядные станции.

Непогода забрасывала их на маленькие полевые аэродромы, там стояли зеленые аэропланы — «кукурузники», лесные «уточки». Крылову нравилась эта неустроенная кочевая жизнь: сегодня в Одессе, завтра Горький, ночевка в каких-то Устриках. Дымные, шумные комнаты диспетчеров, где запахи мокрых унтов мешались с запахами свежих яблок. Кто-то передавал тюльпаны кассирше Наде в Магадан, встречались на несколько минут старые друзья-летчики, чтобы снова разлететься по своим маршрутам, пока расписание не сведет их опять через

месяц, через год то ли в Арктике, то ли во Внукове.

После полета занавешивали окна в одном из гостиничных номеров, проявляли пленки, в духоте, потные, в одних трусах возились до полуночи. А утром, чуть свет, — готовить приборы, менять батареи, просматривать рулоны высохших пленок, яростные споры о программе полета, у каждого были свои разделы, каждому были нужны свои высоты и условия — и снова в небо, в погоню за облаками.

Тулин загружал его подсобными расчетами, всякими побочными замерами. Своей темой Крылов занимался урывками, но не жаловался, он видел, что себя Тулин также не щадил. С поразительной уверенностью Тулин вел свое огромное умственное хозяйство: там не сходятся данные, тому отрегулировать прибор, определить, почему снижается чувствительность, в Краснодаре сесть пораньше, иначе в столовой останется только каша. Стоило Тулину присмотреться, и всегда оказывалось, что делают не так, можно что-то подправить, без него провозились бы еще день, и он подправлял, замечал, и все это весело, с шутками.

Иногда выпадали свободные вечера, и в каком-нибудь городишке они являлись всей бандой на танцы, поражая местных красавиц своим видом небесных асов. Под водительством Тулина шествовали вразвалочку, ястребино выглядывали стоящих вдоль стен девушек, томно-усталые, в кожаных куртках, нездешние и заманчивые. И Крылов чувствовал себя тоже гусаром.

Но чаще всего он оставался дома, обдумывая полученные материалы измерений. И в полетах он вдруг начинал мерить совсем не то, что было предусмотрено... Со своей обычной дотошностью он докапывался до первооснов и убеждался, что у Тулина слишком многое строится на интуиции и догадках. Тулину важен был результат, вся трудность была лишь, как этого добиться. Он пренебрегал возможностями исследовать сам процесс, природу грозы. «Чтобы переваривать пищу, не обязательно изучать устройство желудка», — отговаривался он, однако Крылова успокоить такими штучками было невозможно. Постройка не имела каркаса. Не хватало балок, Тулин хотел настилать крышу, а Крылов еще укреплял фундамент.

Ему нужно было выяснить, как в облаке восстанавливаются заряды на всех стадиях развития, какова скорость этого восстановления, каков механизм и т. д. Он принялся создавать теоретическую модель облака. Собирал все данные измерений, накладывал их друг на друга, десятки, сотни, пытаюсь установить что-то среднее, извлечь типичное. Работа эта требовала сосредоточенности, а поручения Тулина отвлекали. Хуже всего, что Тулин злился, считая, что Крылов не помогает, а проверяет — этакий внутренний контролер.

Под Ростовом они провели серию воздействий на мощные кучевые облака. Несколько раз портился проклятый «Бурун» — установка для измельчения сухого льда. С трудом найдут нужное облако, включают «Бурун» — грохот, треск, а лед не сыплется. Посадка. Включают «Бурун» на аэродроме — исправно работает, выбрасывает мелкий лед. Поднимутся в воздух — опять та же история. Наконец Тулин сообразил, что на высоте что-то в машине смерзается, и приказал долбить лед вручную. Колотили лед чем попало, обдирая пальцы, но пока возились и сбрасывали — оказалось, сбросили не туда. На следующем заходе сбросили слишком рано. Лед кончился, пришлось возвращаться. Раздобыли лед — выяснилось, что нет подходящей облачности. Просидели два дня, нервничая, ругаясь. И вот наконец-то внизу отличные облака, с высокой напряженностью электрического поля, с мощными куполами, и лед был сброшен точно вовремя, и все прильнули к окнам, наблюдая и фотографируя. Да, это было красиво! Огромный растущий серебристый купол начал вдруг оседать, съеживаться, массив облака стал каким-то волокнистым, редел, буквально на глазах появились провалы, стала видна зеленая земля, только что мощное, облако таяло, распадаясь на части, превращаясь в мглистые полосы. То же самое удалось и со вторым облаком. Тулин пришел в

восторг, его предположения оправдались, все в самолете кричали «ура», обнимались, и никто не обратил внимания на Крылова. Он внимательно смотрел в окно с другого борта.

На аэродроме Тулина качали. Крылов задумчиво возился в стороне с фотокамерой, потом подошел и, конфузясь, так, как будто он преподносит нечто ценное, сказал, что результат, к сожалению, нельзя считать достоверным. Он наблюдал за облаками, которые не подвергались воздействию, и среди них три облака разрушились точно таким же образом и в то же время. Никто не хотел ему верить, его слушали с досадой. Тулин пытался его высмеять: «Где твои доказательства?», но Крылов стоял на своем: это у вас нет доказательств, что на облака повлиял сухой лед, они могли развалиться и сами.

— Поймите, облако — это не вещь, а процесс, и надо изучить его законы, чтобы уверенно воздействовать. Представим себе... — Он принялся тут же на песке чертить свои кривые.

Когда он поднял голову, возле него остался только Агатов.

— Слава богу, вы, кажется, приходите к тому же, что и Голицын, — сказал Агатов.

— Наоборот, — сказал Крылов, — просто, чтобы разбить Голицына, нужны более строгие доказательства.

Настроение у всех испортилось. Вера Матвеевна и Алтынов утешали Тулина, как будто Крылов обидел его.

Вечером они сидели вдвоем в жарком номере, завешанном толстыми малиновыми гардинами, и Тулин кричал, что ставить подножки — дешево, он выбросит Крылова к чертовой бабушке. Группе нужен успех нельзя долго работать без удачи. Люди падают духом. Агатов ждет малейшей оплошности, из института нажимают, тему могут прихлопнуть, нужен успех, как можно быстрее, побыл бы кто-нибудь в его шкуре. Крылову нечем было возразить, он сочувствовал, он страдал за Тулина, готов был сделать для него что угодно, но стоял на своем, и Тулин понял, что, если результаты будут вынесены на обсуждение, Крылов выступит против.

Больше всего его возмущало, что Крылов осрамил его в присутствии Агатова и студентов.

— Ты играешь на руку Агатову. Подкидываешь ему материалчик. Я не потерплю этого. Пойми ты простую вещь: да, я тороплюсь, да, я перепрыгиваю через этапы, я рискую, но только так можно чего-то добиться, победителей не судят. Потом мы наворачиваем. В науке иногда правильная тактика важнее фактов. Кстати, ты лично ничем не рискуешь, — Тулин едко улыбнулся, — рискую я, руководитель. Ты в любом случае выйдешь сухим. Все шишки достанутся мне. Я ставлю на кон свою репутацию. Надеюсь, ты согласен, что у нас будут не равные потери?

Прибежал Алеша, распаренный, в трусиках, принес мокрые фотографии облаков, которые снимал Крылов. Там ясно было видно, как оседал и разрушался купол.

— Вот что, — сказал Тулин, когда они остались одни. — Ты хочешь сорвать работы? Ты можешь это сделать. Бери эти фотографии, бери все свои бумаги, езжай к Голицыну, расскажи ему, как я тут подтасовываю данные, и ты добьешься своего. Работы прикроют.

— Я этого не хочу, — сказал Крылов.

— Но ты это делаешь!

— Мне хотелось бы провести контрольные замеры, я хочу исключить всякие сомнения. Для этого надо... — Он принялся развивать свои планы.

Пришел Алтынов, принес зеленый чай, они пили, утираясь полотенцем.

Крылов доказывал, что надо уточнить влияние заряженности самолета. Примерные коэффициенты, которыми пользовалась группа, его не устраивали.

— Послушайте, Алтынов, этого носорога, — сказал Тулин. — Он хочет уличить нас. По-моему, он резидент Агатова. Связался я с ним на свою беду.

И вдруг, посмотрев на огорченную физиономию Крылова, расхохотался, подмигнул Алтынову и с тем размахом и щедростью, которыми он умел очаровывать, разрешил построить установку, взять деньги, людей и приказал Алтынову раздобыть высоковольтный ртутник — в общем сделать все честь честью.

Крылов был растроган. Снова, в который раз, Тулин давал ему урок благородства и истинной дружбы. В сущности, кому, как не Тулину, он обязан этой работой, о которой он давно мечтал и которая здесь впервые предстала перед ним во всей своей сложности?

...Метеорология, она раскрывалась перед Крыловым как трогательная история всевозможных попыток установить какую-то закономерность там, где ее быть не может, там, где все основано на хаосе. Ветры, облака, дожди, колебания температуры — все то, чем занимается метеорология, все возникало из сцепления бесчисленных случайностей, они зависели друг от друга, и невозможно было в этом клубке разыскать начала и концы.

Где-то в горах под ногой альпиниста срывался камень, и оказывалось, что это приводило к снежной буре и граду.

Нужно было высокое мужество, великое трудолюбие многих поколений метеорологов, чтобы построить из, казалось бы, бессвязной груды фактов науку.

Но в этой сложнейшей науке издавна существовал наиболее трудный раздел — облака. Крылов понял, что стремление исследовать облака было уже само по себе героизмом.

В самом развитии облака крылась великая тайна. По каким неведомым законам оно вдруг начинает пухнуть, наливаясь, темнеть? Оно капризно, как фея, оно может выкинуть любое. Оказывается, эта фея, которая весит миллионы тонн, способна вывалить на землю десятки миллионов тонн воды. Облако может превратиться в грозное и начнет швырять, как песчинку, тяжелый самолет, из радиостанции полетят искры, а радиокompас начнет вращаться в плавном вальсе. Он может сверкнуть молниями, двумя, тремя, а захочет, и обстреляет землю сотнями. А может, ничего этого не будет. Возьмет и станет спокойным, тучным, ливневым облаком, будет долго стоять тихо, не шелохнувшись, и внезапно прольется теплым грибным дождем. Или исчезнет, растает за несколько минут так же необъяснимо, как появилось.

Все сравнивали грозное облако с генератором. Обычным генератором, электромашиной, которую Крылов проходил на втором курсе. Получалось весьма просто, но

в этой машине не было зажимов, и неизвестно, куда к ней подключать провода,

и неясно, кто ее вертит,

и как она включается, эта машина,

и почему останавливается,

и отчего ни с того ни с сего идет вразнос,

и создает напряжение, на которое не рассчитывали.

Нет и, наверное, не было двух более или менее одинаковых облаков. Даже наиболее по типу сходные, они отличаются всем — толщиной, и формой, и возрастом, и поведением. У каждого своя судьба. Тут все меняется причудливо, неповторимо, иногда за мгновение, иногда долгими часами.

И все же должны быть у них какие-то общие черты. Что-то объединяет их. Но что, как, где?

Где те неоднородности, которые ведут к развитию?

Ему не раз приходила мысль, что, собственно, и в человеческом обществе развитие зависит от неоднородности. Там, где все одинаково, там нет развития. Если бы в обществе не происходила борьба мнений, научных идей, оно было бы обречено. Оно стало бы неподвижно, как слоистые облака, где месяцами ничего не происходит: сколько ушло капель, столько и пришло. Всякое открытие, новая мысль — это ведь тоже неоднородность, которая неизбежно становится явью, плотью, переворачивает сознание людей, воюет, растет, вспухает, как облако, и наконец требует воплощения.

Ну, хорошо, но как же быть с облаками?

Работу, начатую Крыловым, Алтынов сравнивал с попыткой чудака фотографа, вздумавшего создать портрет «среднего» гражданина своего города. Он фотографирует несколько десятков людей, приводит каждое лицо к единому размеру, складывает негативы и перепечатывает их насквозь на одну пленку. И так десятки раз. Потом совмещает эти осередненные портреты и снова пропечатывает их. Получится портрет, некий общий портрет, это — лицо человека, не похожего ни на кого в отдельности, и вместе с тем в нем запечатлены черты всех людей. Отпали случайные черты, усилились общие. Это портрет всех вместе и никого конкретно. Он похож на всех, никто не узнает в нем себя.

Примерно таким способом Крылов взялся за облака.

Поначалу было неясно все — как складывать, по какому принципу. Он замучил лаборантов, пробовал так и этак. Обработали восемьдесят пять облаков, нарисовали свыше трехсот графиков, и наконец удалось установить, что ничего не получается. Несколько дней Крылов ходил сконфуженный, притихший, безропотно выполняя все указания Тулина. Тот был доволен:

— Классики правы: труд облагораживает человека!

И вдруг он понял, что модель облака — это не портрет, а скорее живой организм, внутренний процесс. Только так можно искать закономерность...

Ричард регулировал осциллограф. Отличный новенький осциллограф. Обидно, что для программы агатовских измерений «К вопросу о новом уточнении...». Такие измерения годятся в диссертацию, и только. Когда речь заходила о программе Агатова, Тулин начинал напевать: «Кап-кап-кап-кап, каплет дождик...» Или пел: «По капельке, по капельке, чем поят доктора».

Наклоняясь над шкалой ваттметра, Ричард видел в зеркальной дужке прежде всего свои очки, затем глаза, переносицу, черные широченные брови. Подетально вроде все в порядке, а вместе — уродство. Последнее время он стал заботиться о своей внешности. Ему хотелось

быть красивым. Подумать только, на всю жизнь приговорен носить эту дурацкую физиономию! Он бы сделал себе лицо смуглым, жестким, глаза голубые и непроницаемые, прибавил бы росту сантиметров на шесть, так, чтобы Женя, глядя на него, чуть запрокидывала голову. Пора дать возможность людям выбирать свою внешность самим.

В мастерскую вошел Агатов, поговорил с Алешей и Катей, остановился за его спиной.

— Двигается?

— Кончаю, — сказал Ричард.

Присутствие Агатова всегда можно было узнать по запаху одеколона «Ландыш». Он был весь пропитан этим одеколоном.

— Пора, пора. Вас опять Тулин отвлекал? — сказал Агатов. — Боюсь, вы слишком увлекаетесь Тулиным. — Было слышно, как Агатов вынул из коробка спичку. Он не курил, но всегда носил с собой спички и ковырял ими в зубах.

Ричард закрыл крышку ваттметра. Тусклый зайчик скользнул по большому лицу Агатова. Оно было тоже некрасивое, это лицо.

— Человек странно устроен, — грустно сказал Агатов, — он готов скорее простить плохое, чем то хорошее, что ему сделали.

И Ричард подумал, что в глазах Агатова он выглядит неблагодарным. Всего полтора месяца назад Ричард кротко упрасивал Агатова взять его с собой сюда, вместе со студентами. Для своей темы Ричарду достаточно было поехать на аэрологическую станцию, и Агатов не понимал, почему Ричард настаивает, и Ричард вынужден был намекнуть на личные мотивы. Агатов откровенно предупредил, что обязанности, возложенные на него Голицыным, и без того сложные и что если он возьмет Ричарда, то как помощника, а не как противника. Ричард обещал, он готов был обещать тогда что угодно. Надо отдать должное: Агатову пришлось-таки похлопотать, доказывая, что Ричард ему необходим.

Ричард подумал, что Агатов сейчас тоже вспоминает: «Личные мотивы... Я вам помогу во всем, что за вопрос». Он почувствовал себя обязанным Агатову, и это мешало, связывало.

Агатов понимающе покачал головой.

— Ничего мне от вас не нужно. Как-нибудь я справлюсь. Миссия у меня тяжелая, что и говорить. Один против, всех. Я зажимщик, я консерватор. А ведь знаете, Ричард, в каждом явлении существуют две стороны. Единство противоположностей. Так, кажется, нас учили? Я отвечаю за разумность и безопасность исследований. В сущности, я забочусь о жизни Тулина, о вашей жизни. И вот за это меня выставляют злодеем, будто я против самой темы. Ведь выставляют?

Ричард неловко кивнул.

— Видите. Да что там далеко ходить! Вы то же самое считаете. Хотя я делаю для вас больше, чем ваш Тулин. Думаете, я не знаю про вашу диссертацию? Вы самовольно изменили утвержденную тему. Я должен немедленно сообщить Аркадию Борисовичу и отослать вас. Пусть он там разбирается с вами. А я покрываю вас, рискую. Зачем, спрашивается?

От неожиданной искренности его слов Ричард растерялся.

— Яков Иванович, но что мне делать, я убедился... Крылов дал мне почитать свои работы. Пусть у Тулина еще не все доказано. Я чувствую, тут зарыта истина. Когда-то я верил в метод

Голицына, но сейчас — это уже догма. У нас и так слишком много догм в науке.

— Где же?

— Да всюду. Тот же Денисов. Вы зря на Тулина нападаете, он взялся за грандиозную проблему. Шутите ли, активные воздействия! Его надо поддержать.

— Вот и поддерживайте после диссертации, ежели вы так убеждены. Тогда у вас руки будут развязаны. И то присмотритесь получше. Вы за Тулина горой, а он?

— Что он?

— А то, что не стоит он этого. Он эксплуатирует вас. Нисколько он не заботится о вашем будущем. А от меня вы отворачиваетесь, хотя я забочусь о вас. Не понимаю...

Мимо прошел Алеша, с любопытством оглядел их. «Отныне и во веки веков клянусь врезать правду всем и каждому».

— Ей-богу, Ричард, не знаю, чего я с вами цацкаюсь. Но мы можем быть друзьями. Вам это выгоднее, чем мне. Лезете вы очертя голову бог знает куда. Они же вас обманывают.

Агатов выплюнул спичку, левую руку он положил Ричарду на плечо. Ричард резко отступил.

— Яков Иванович, вы сказали: займитесь тулинским методом после защиты. Так? Что ж это значит? Справедливость метода вас не интересует. Научная истина вам не важна. А Тулин готов рисковать жизнью ради науки! Пусть он ошибается, такая ошибка в сто раз прекрасней трусливой осторожности посредственностей.

Да, он виновен, пообещал — не выполнил, обманывает Голицына, поносите его как угодно, но все же против Тулина он не пойдет. От него он не отступится.

— Вы пожалеете об этом. Вам это может дорого обойтись, — сочувственно сказал Агатов, и Ричард ощутил страх, гнусный, маленький страх, который заставил его вымученно улыбнуться. «Диссертация — это не шутка, — думал он. — Что будет, что будет?»

Он вспомнил, с каким трудом поступил в аспирантуру, все свои мечты и планы.

— Но я изменил диссертацию потому, что это — мое убеждение. Крылов ведь ушел от Голицына тоже по убеждениям.

— И чего он добился? Он давно кается, бедняга. Присмотритесь, какую жалкую роль ему тут приходится выполнять. Тулин с ним не считается.

— Нет, нет, если человек поступает принципиально, он не жалеет.

— Декламация. Вам надо избавляться от декламации, — заботливо сказал Агатов. Он облизнул губы. — Что вы мне тычете своего Тулина! Хотите знать, кто он? Хищник он! Плевать ему на всех вас с вашими идеалами. Он вас выжмет и выбросит. Он разве посчитается? Он и сейчас с вами не считается. Да я не про работу. Я, так сказать, из области лирики. Нет у него нравственности. Эх вы, рыцарь в очках! Вы же слепец. Правильно говорят, что влюбленные слепы на оба глаза.

Какое-то мгновение они смотрели друг на друга в самую черную скважину зрачков. Ричард еще не понимал, что произошло, но все изменилось. Откуда пришло это предчувствие беды?

— Неправда, нет, вы выдумываете, — быстро проговорил Ричард.

— Как же неправда, когда вы сами об этом подумали! Мы-то с вами говорили о том, как вы в

Тулина влюблены. — Агатов весело рассмеялся. — Попались? А вы меня клеветником...

— Не хочу слушать. Я знаю, вы говорите из зависти.

Но это был лепет, беспомощный лепет. Он сам не слышал себя. Он был испуган: в самом деле, почему он подумал про них? Что толкнуло его на это?

— ...И вы поймете, что вы для Тулина ничего: если ему будет надо, он перешагнет через вас, не задумываясь.

— Вы завидуете ему.

— В чем же?

«Неужели я боюсь? Поверить — значит предать Тулина».

— В том, что он талантлив.

Глаза Агатова угасли, все живое из них словно уходило, уходило внутрь, ставни захлопнулись.

— Я к вам по-хорошему, а вы как повернули. Обидно. Напрасно вы отталкиваете. Ну да насильно мил не будешь. Придется вам поехать в Москву, пусть Голицын решает. Я отвечать за ваши упражнения с диссертацией не желаю. — Он передохнул, покачал головой. — Значит, Денисов — вредная догма? Не нравится вам русский ученый, товарищ Гольдин?

Ричард побледнел, задохнулся.

— При чем тут... Да вы...

Агатов медленно улыбнулся.

— Сдайте мне отчет о проделанных замерах.

Четким шагом он направился к выходу. Бледные губы его нервно кривились. Он был оскорблен человеческой неблагодарностью.

Пунцовые табуны облаков неслись по небу. Солнце садилось за горы. Густой теплый воздух гудел от вечерней мошки. Ричард лежал на остывающей гальке. Никогда раньше он не представлял себе, что может вот так лежать, без единой мысли, без желания, чувствуя лишь время и не жалея его.

Обычно к вечеру осаждалось недовольство прошедшим днем — много времени потрачено зря, на болтовню. И всякий раз Ричард давал себе слово завтра наверстать.

Теперь все побоку. Пропади оно пропадом, время, с его часами, пузатыми будильниками, звонками, светящимися циферблатами. С его календарями, расписаниями, восходами, планами и прочей трухой. Может быть, когда-то было так, что не существовало ничего, даже времени не было.

Скрипнул, закачался легкий висячий мостик над Аянкой. Ричард вскочил, полез вверх по откосу. На скале перед собою он видел изогнутую тень моста и две тени посреди пролета. Мужчина наклонился и взял женщину за руку. Она отняла руку. Потом они слегка раскачали мостик, стальные тросы скрипели, вытянутые тени взлетели по скале. Мужчина снова взял женщину за руку, высоко, у самого плеча. Так он держал ее долго, и она не противилась. Ричард медленно взбирался на откос и медленно шел к мосту. Солнце садилось. Тени изгибались на каменистых отрогах.

Женя помахала рукой, нисколько не удивляясь его появлению. Тулин сказал:

— Будьте осторожны, Ричард, она взрывается от малейшей детонации.

Ричард поспешно рассмеялся, страдая оттого, что Тулин держался свободно и что так же, без всякой неловкости, распрощался и ушел.

— Я тебя искал с полудня, — сказал Ричард.

— Мы с Тулиным запускали зонд.

— Недавно ты слышать не могла о Тулине.

— Сам перевоспитал. На тебя не угодишь.

По вырубленным ступенькам они поднялись к шоссе. Над головами с ревом проносились самолеты, их крылья слепяще вспыхивали.

— Что с тобой? — спросила Женя.

Он попробовал передать ей свой разговор с Агатовым и убедился, что, собственно, рассказывать не о чем, все утекло, как вода меж пальцев.

— Надо было бы об этом сказать Тулину. — Глаза ее смотрели чисто, открыто, и Ричарду стало легче.

— У него и без меня... Я сам справлюсь. И ты не смей морочить его.

Он выговаривал ей, а она хохотала, закидывая голову, пока он не промолвил еще неуверенно:

— Кажется, я кретин.

— Не сомневайся. Я иногда думаю: ну что ты во мне нашел?

— Женя, когда ты так говоришь, я могу... Хочешь, я выдам такую диссертацию, что все закачаются!

— А на Агатова наплюй. Он тебя ревнует к Тулину.

— Черт с ним!

— Не надо мне было ходить с Тулиным. Он тут ни при чем. Я сама вела себя глупо.

Они подошли к коттеджу, где жили девушки. Ричард нерешительно замедлил шаг.

— Давай еще погуляем, — сказала Женя.

Миновав поселок, они направились к аэродрому.

Ричард обнял ее.

Проехал служебный автобус, летчики высовывались из окон и что то кричали Жене.

— А если бы Тулин приставал ко мне, ты бы мог его ударить? — неожиданно спросила она.

— Легонько, чтобы ты его потом не утешала.

— Ты когда последний раз дрался? Впрочем, неважно. А знаешь, есть, наверное, мужчины,

которые никогда не дрались. Агатов ругал Тулина? Послушай, а может, Тулин плохой? Какие ты видишь у него недостатки?

— При чем тут он? Я думаю про твои недостатки.

— Скучища. Терпеть не могу, когда обо мне думают! Я сама не думаю о себе. Однажды попробовала — ничего не вышло. У меня, наверное, потребительское отношение к науке. Вроде Алеши. Или Поздышева. Я не выношу таких красавчиков. Он привык, что все его обожают, как Вера Матвеевна, кудахчут вокруг него.

— Ты про кого?

— Про Тулина, конечно.

— Считается, что талантам многое следует прощать.

— Прибедняешься? У тебя тоже способности.

— Неужели Агатов отошлет меня?

— Тогда я тоже уеду.

— Не дури. В крайнем случае Тулин уладит. Он не допустит. Я ему нужен.

Темнота хлынула из-за гор, как наводнение, затопила долину, поселок выкарабкивался из тьмы, включая огни в домах, огни на дороге, цветные огни аэродрома.

Кати не было дома. Женя скинула туфли. Охая, потирая ноги, легла на кровать.

— Иди сюда.

Ричард осторожно прошел темную комнату.

— Садись.

Он сел, нашел в темноте ее руки. Она почувствовала, как все в ней сжалось. Хорошо, что он не видел ее лица.

— Я бы тоже хотела выдавать всем правду, как ты. Но мне жалко людей.

— Какие у тебя холодные руки, — сказал он.

Он наклонился и поцеловал ее, царапая очками.

«...И тогда уже ничего нельзя будет изменить», — подумала она. Может быть, они поженятся. После всего этого они поженятся. Только бы скорей это произошло, и тогда все другое кончится и станет ясно. Она не шевелилась. Он мог делать сейчас с ней что угодно.

Рука его легла к ней на грудь.

— Не надо, — сказала Женя.

Он с усилием отстранился.

— Я пойду, — сказал он.

После его ухода осталась темнота. Женя чувствовала себя измученной. Она лежала, и улыбалась, и ругала его, и благодарила его, и жалела, и презирала его.

Посреди ночи она разбудила Катю:

— Это все неправда, неправда.

— Что случилось? — спросила Катя.

— Не может быть, что на свете существует один-единственный человек, с которым можешь быть счастлив. И как раз его-то и встречаешь.

— Господи, что ее заботит! Мало за тобой бегают?

— Но пойми, это ж абсолютная чушь. Вот тебе нравится Алеша. Из миллионов ты нашла именно того, кто предназначен тебе судьбой. И в целом мире нет другого! Так, что ли? И эта твоя мечта оказалась в твоём институте и в твоей группе. Какое совпадение! Да на земле существует не меньше тысячи парней, которые могут стать единственными навеки. Ах-ах! И нечего устраивать трагедии.

— Да кто устраивает? — возмутилась Катя. — Ты что, поссорилась с Ричардом?

Опять Ричард! Будто никого, кроме Ричарда, представить невозможно.

— Ну чего ты, успокойся, сколько раз вы уже ссорились. Он ведь без ума от тебя. Чего тебе еще надо?

Действительно, чего ей еще надо? Она и Ричард. Все уверены, что это — самое лучшее. Что это неизбежно. Ничего другого не может быть.

Она лежала, крепко закрыв глаза, но слезы все равно текли. Ей хотелось думать, что она поссорилась с Ричардом. Что все из-за этого, и ничего другого нет.

4

Несколько недель Крылов потратил на сооружение специальной установки по измерению заряженности самолета.

Тулин был рад: хоть на время Крылов отцепится. Было утомительно воевать на два фронта: с одной стороны Агатов, с другой — Крылов.

Нужен был высоковольтный выпрямитель. Алтынову, как водится, повсюду отвечали: «Не предусмотрено, почему не оформили заявку в прошлом году?» Крылов поехал с ним в Москву. В главке они долго бродили от стола к столу, пока Алтынов не выяснил, что все зависит от некой Машеньки. Она была какой-то помзамнач, но Алтынов давно убедился, что самые сложные аппараты добываются за самыми невзрачными столами. Машенька была смешливой, конопатой, чем-то похожей на мокрого воробья.

— Рассудите сами, — сказал ей Крылов, — мы только сейчас додумались до новых режимов, как же можно было дать заявку год назад?

— У нас плановое хозяйство, — сообщила она Крылову. — Промышленность не может ждать, пока вас осенит.

Машенька была неуязвима и недосыгаема. Алтынов шепнул: «Пригласите ее в ресторан». К удивлению Крылова, она охотно согласилась, и они провели вдвоем прекрасный вечер. Крылов был в ударе, рассказывал про полеты и про свое путешествие на корабле.

Назавтра Машенька организовала сверхсрочный заказ, и оказалось, что ртутник прибдет через месяц. Алтынов был доволен; он дал Крылову заполнять бланк-заказ и ушел с Машенькой заверять какие-то подписи. Когда они вернулись, Крылов весело рисовал схему на оборотной стороне бланка. Обняв при всех Машеньку, он сообщил, что нашел способ моделирования, при котором можно обойтись любым выпрямителем. Установка получается простой, правда, придется кое над чем помудрить, но так даже интересней.

Напрасно Алтынов дергал его за рукав, Крылов твердил свое, пришлось идти отказываться к заму, случай был редкостный, и на разбирательство явился сам начальник. Крылов недоумевал: если уж на то пошло, то вообще по заявкам отпускают слишком щедро. Конечно, легче заказать более мощную установку, чем думать, как выходить из положения. Машенька со своими начальниками слушала его с восторгом, но представители институтов чуть не устроили ему «темную».

Установка получилась кустарнейшей, над Крыловым посмеивались, он не обращал внимания. Ему вспоминался Дан с его умением работать на элементарных схемах; только теперь, на собственном опыте, он начинал понимать, почему Дан избегал заказывать большие, сложные установки. Дан считал, что избыток материальных средств не поощряет мысль. Простенькая установка обнажает сущность явления, заставляет думать над главным. Он часто вспоминал Дана, впервые ему пришлось действовать без всякого научного руководства. Ему не хватало критики, ему не хватало даже Голицына, который так умел выискивать ошибки и требовать новых доказательств.

Между большими пластинами, обклеенными станиолом, висел на шелковых нитях дюралевый самолетик. Шариком на длинной бамбуковой палке нужно было коснуться самолетика в определенной точке, снять заряд, пронести определенным путем до электрометра, коснуться электрометра, снять показания, записать. И так надо измерить полсотни точек. Потом изменить напряжение между пластинами и все начать сначала. Потом изменить положение самолета и начать новый цикл. Алешу поражало, как хватает у Крылова терпения. А Крылов занимался этим вторую неделю. Движения его были отработаны с машинной точностью.

Алеша пробовал ему помогать, и через полчаса у него начинали болеть руки. Неужели это и есть наука, увлекательная, захватывающая?

Под вечер Алешу сменил Ричард. Уселся за электрометр. Разумеется, он-то понимал, что в экспериментальной работе приходится заниматься скучными вещами, но все же это робинзонство, в наш век, при наших возможностях...

— Я бы тоже не стал чикаться, — дотягиваясь, сказал Алеша. — Обеспечьте меня, тогда пожалуйста. Мало напряжение — ставьте большой трансформатор.

Крылов слушал их улыбаясь. Он снял рубашку, остался в зеленой майке, плечи у него были широкие, грудь волосатая, и вообще он оказался куда крепче, чем выглядел в своем мешковатом костюме.

— А что, не так? — спросил Алеша.

— Во времена Фарадея, — сказал Крылов, — талантливых идей было мало, но и денег на науку почти не давалось, теперь же деньги отпускают щедро, а талантливые идеи все еще редки. И конечно, легче потратить лишние деньги, чем придумывать, изобретать, изощрять ум.

— По-вашему, надо меньше тратить денег на науку? Так можно договориться вообще до мракобесия! — воскликнул Ричард.

— А что ты думаешь, — Крылов нисколько не смутился, — может быть, и поскупее надо. Когда у науки вдоволь средств и денег, она становится слишком жирной. Есть, конечно, и крайности. Двухрублевую лампу достать — целая история. Но это уж организация.

Ричард озадаченно молчал.

С этим Крыловым никогда не угадаешь: перевернет все вверх ногами, расставит по-своему, раздразит, и пошла схватка, — тут уж никакой субординации, ни студентов, ни кандидатов наук, и можно не бояться ляпнуть глупость, и самое главное — есть человек, который внимательно слушает.

Они яростно занимались реформами — отменяли диссертации, снова вводили диссертации, но решили не платить за степени, ибо идущий в науку не должен прельщаться доходами. Открывали институт телепатии, лаборатории хиромантии — будем дерзать, авось получим что-либо новенькое, иначе неинтересно. И вообще ученый, доказывал Крылов, воплощает в себе черты человека коммунизма, поскольку работа для него — потребность, удовольствие.

Алеша кивнул на Крылова:

— Ничего себе удовольствие — махать палкой каждый вечер!

И все рассмеялись, потому что действительно трудно было представить себе более занудную работу.

Когда они остались вдвоем с Крыловым, Ричард вздохнул:

— Наука — это лес дремучий. Не видно ничего вблизи...

Крылов прислушался.

— Все же прочел «Фауста»?

— Прочел. Надо бы еще перечесть, да разве успеешь. Сколько книг написано хороших, кошмар! Человечеству хватит на сотню лет. Да еще сколько фильмов, пьес, музыки! Это если только одни шедевры брать. Хватит. Я бы прикрыл искусство лет на двадцать.

— Вот кто мракобес.

— Все равно на таких, как Агатов, никакие стихи не подействуют.

— Чего это ты так на него?

— Ненавижу бездарности. От них все зло; их надо давить. Их нельзя подпускать к науке. Их надо травить, высмеивать.

— А тебе никогда не приходило в голову, что упрекать человека в бездарности — все равно что смеяться над калекой?

— Хорош калека! Агатов вам шею скрутит, дайте ему только власть.

— Я его иногда жалею. Он несчастный человек. Он пошел не по призванию, он, конечно, не физик, может, у него способности архитектора или председателя колхоза. Кто знает? Когда человек чувствует себя на месте, он становится лучше.

— Оправдываете его? Человек на любом месте должен оставаться человеком.

Крылов выключил напряжение, присел на стол.

— Я давно думаю, что самое важное сейчас — это помочь людям находить их призвание. Вот наша Зюечка, официантка в столовой. Что, она родилась для того, чтобы быть официанткой? Рассмотрим формулу — «от каждого по способностям...». По способностям! А сколько людей не знает своих способностей! Тут, брат, мало того, что вот вам, пожалуйста, учитесь, выбирайте, — все права и возможности. Нужно помочь каждому определить его максимум...

— К Агатову это не относится! — и, не вытерпев, Ричард передал свой разговор с Агатовым.

Крылов вернулся к электрометру, потер красные веки.

— Ничего, обойдется, я поговорю с Тулиным.

— Да, да, Тулин не позволит отослать меня.

Крылов кивнул, и они продолжали работать.

Он нашел Тулина в номере у Алтынова. Там сидел и Агатов.

— Присаживайтесь, — сказал Алтынов.

Они пили чай с медом. Алтынов любил мед, он любил все, что полезно, и устраивал чай с витаминами и прочими необходимыми для организма веществами.

Судя по репликам Тулина, Крылов понял, что речь шла как раз о Ричарде и что Агатов уже изложил причины, по которым отправлял его в Москву. Алтынов не вмешивался, его доброе рыхлое лицо было непроницаемым, лишь иногда он предостерегающе взглядывал на Крылова. Тулин с трудом скрывал раздражение, но все же держался осторожно, говорил про мед, улыбался, и все они выглядели друзьями, по крайней мере приятелями.

— Не удивлюсь, если его отчислят из аспирантуры. С такими взглядами на жизнь полезно поработать годик-другой на заводе, верно? — Агатов посмотрел на Тулина.

— Так считается, — сказал Тулин, — но я не могу знать, не работал на заводе.

— А я работал, — сказал Крылов, — и думаю, что для Ричарда это не обязательно.

— По-вашему, Сергей Ильич, выходит, что повариться в рабочем котле вредно?

— У Ричарда вся семья рабочая.

Тулин громко побренчал ложкой.

— Сережа, я боюсь, что из тебя адвокат никакой.

— Он не считается с Голицыным, — сказал Агатов. — Посудите сами, как может Аркадий Борисович руководить аспирантом, который выступает против него! Нет, нет, пусть ищет себе другого руководителя. Если найдет.

— А что тут особенного? — сказал Крылов. — Можно и против руководителя...

Тулин выразительно посмотрел на него, повернулся к Агатову.

— Яков Иванович, накладывайте, угощайтесь! — Алтынов придвинул банку с медом.

— Денисов хочет критиковать. Стоит ли ему этим заниматься, Олег Николаевич, как по-вашему?

— Я понимаю вас, Яков Иванович, — мягко сказал Тулин. — Конечно, это все осложнит. И без того сложно.

— Вот именно.

Агатов засмеялся, и Тулин тоже изобразил улыбку, но взгляд его оставался жестким, немигающим.

— В липовом меде содержится сорок пять процентов виноградного сахара, — сообщил Алтынов.

— Чудесный мед. А вы любите мед в сотах? — спросил Агатов.

Интеллигенция, думал Крылов, законы цивилизованного общества. Попробуй я сейчас ударь Агатова чайником по голове, меня под суд за хулиганство. А то, что Агатов испакостит жизнь Ричарду, — это не хулиганство. Это — законное разрешение конфликта, вполне культурно.

— Что же будет с Ричардом? — спросил Крылов.

— Это решит Аркадий Борисович, — сказал Агатов.

— А вы ему подскажете?

Агатов даже не посмотрел на него, он отхлебнул чай и обратился к Тулину:

— В Москве могут подумать, что вся история с диссертацией Ричарда — ваших рук дело. Вы подбили аспиранта, чтобы он тайком от руководителя...

— Но вы же знаете, Яков Иванович, я тут ни при чем. Такова уж сила идеи... — И Тулин засмеялся так, что Крылову стало жаль его.

После ухода Агатова Тулин с отвращением сплюнул.

— Гнида...

— Что же будет с Ричардом? — спросил Крылов.

— Агатов как вирус, — сказал Алтынов, — он ждет подходящих условий, тогда он развернется. Чуть только среда будет благоприятствовать, он нам всем покажет кузькину мать. Вы молодые, а я навидался этих типов до войны.

— Уж не думаете ли вы, что я боюсь его? — сказал Тулин. — Мне сейчас просто не с руки с ним возиться. Придет время, я ему припомню.

— Ну, а что же будет с Ричардом? — опять спросил Крылов.

Тулин вскочил, опрокинув стул.

— Ричард, Ричард! Балаболка твой Ричард! Какое он право имел, ничего мне не сказав... У нас и так все трещит, а он тут разжигает страсти. Нашел время ссориться. Так ему и надо. И ты не лезь. Ты не политик, ты ни черта не понимаешь. — И оттого, что Крылов молчал и смотрел ему в глаза, молчал и смотрел, Тулин закричал: — У меня и без того не хватает сил! Со всех сторон... Поймите вы. Или с ветряными мельницами бороться, или работать. Тебе-то что? Праведник! Тебе можно без компромиссов обходиться! За моей спиной... Вся муть достается мне. Ну, а что делать, если время, темп сейчас дороже справедливости? — Он

успокоился, накинул на плечи пиджак, пригладил волосы. — Попробуем еще как-нибудь уладить. Но для меня прежде всего условия работы и результаты. Я никого не пожалею ради них. Хоть бы кем угодно пришлось пожертвовать.

Он вышел, Крылов — за ним. В коридоре Тулин обернулся, прошел мимо дверей своего номера, спустился по лестнице. Крылов следовал за ним.

— Отцепись! — сказал Тулин. — Оставь меня!

Возвращаясь назад мимо подстанций, Крылов увидел Агатова внизу, у реки, на метровом уступе. Агатов вынимал из чехла спиннинг, рядом стояло брезентовое ведро, сачок, в пожухлой траве сверкала блесна. Крылов спустился к нему.

— Здесь попадается довольно крупная форель, — сказал Агатов.

— Хороший у вас спиннинг.

— Обратите внимание на катушку — моя конструкция. — Он отвел собачку и щелкнул никелированным тормозом. — Попробуйте!

Крылов взял спиннинг, покрутил катушку. Скрестив на груди руки, Агатов с гордостью слушал щелк тормоза.

— Прошу вас, Яков Иванович, оставьте Ричарда в покое.

— Там, где хариус стоит, в струе слышно: бульк, бульк, — с нежностью сказал Агатов. — Туда и закидывай. Сумеешь точно попасть — он сразу хватать — и тяни.

— Так как же?

— Вас что, Тулин прислал?

— Я сам.

— Лучше вам не вмешиваться.

Он взялся за спиннинг, но Крылов продолжал держать удилище, и бамбук выгнулся.

— Пожалуйста, — попросил Агатов. Он осторожно потянул спиннинг к себе, и бамбук еще больше выгнулся. Крылов подумал, что Агатов сильнее, и вдруг удивился, заметив испуг в его глазах. Крылов шагнул вперед, Агатов отступил, попятился к обрыву.

— Вы что ж это... Подождите, — забормотал Агатов.

— Яков Иванович, а вы мой должник. Помните, тогда у Голицына вы наговорили на меня?

Теперь они стояли почти вплотную друг к другу, оба по-прежнему держась за удилище, за спиной Агатова был обрыв, и Агатов почти не слушал Крылова.

— Вы мне окажете эту услугу — и тогда будем квиты, — сказал Крылов.

Агатов огляделся, и Крылов тоже оглянулся — кругом не было ни души, и Крылов усмехнулся.

— Лично вам я пойду навстречу, — тотчас сказал Агатов, — с удовольствием.

— Вот и хорошо. — Крылов отпустил удилище.

Агатов как-то обессиленно сел на землю, не выпуская из рук спиннинга.

— Вам — да. Именно вам, — повторил он уже несколько тверже. — Как мне обидно за вас! Как к вам здесь относятся! — Он посмотрел снизу вверх на хмурое лицо Крылова. — Для вас я готов. Вы не верите? Думаете, обману? Пожалуйста, при вас напишу Голицыну. Можете сами отправить. Вот только бумаги нет.

Крылов вынул записную книжку. Агатов писал, а Крылов с удивлением думал о том, что, оказывается, сила, простая физическая сила еще кое-что значит для таких людей, древний и, пожалуй, иногда самый чистый способ убеждения.

В гостинице возле дежурной сидел подвыпивший лысый мужчина лет сорока. У него были мокрые губы и выдвинутая вперед челюсть. Он был похож на обезьяну. Дежурная, толстая, красивая женщина, улыбаясь, говорила:

— А я люблю так, чтобы выйти замуж и сразу родить.

Крылов подсел, закурил.

— Я не тороплюсь, — сказала дежурная. — Мне нужен мужчина ведущий. К примеру, научный работник. Вот Лисицкий у нас живет. А то Тулин. Я в семейной жизни кого хочешь устрою. Мне, пожалуйста, директором гостиницы предлагали.

Непонятно было, всерьез она или нарочно поддразнивала. Мужчина сопел, наливался лиловой краской.

— Слишком располагает к себе ваш Тулин, — сказал он. — Все эти ученые сидят на шее государства и сосут и сосут. Когда хочет, тогда и приходит на работу. В шахту бы его... Два года ковыряются, а где продукция? Дали бы мне власть, я бы всех их... Сперва, конечно, по партийной линии.

— А что у них? — спросил Крылов, подмигивая дежурной.

— Материальчик собрать всегда можно. Тулин, говорят, своего дружка Крылова пристроил. Факт. Оба Академию наук критикуют. Сам слышал. А бытовое разложение — это ж наглядно: со студенткой гуляет. Алтынов покрывает его. У них одна шайка-лейка. По вечерам собираются и шу-шу-шу. И на работе разговорчики. Прогуливается такой прощелыга взад-вперед, руки в брюки, — видите ли, думает! За такую ставку и я могу думать. Эх, мне бы власть, я бы их повернул на сто шестьдесят градусов! Они бы у меня завращались. Всех бы разогнал. Все эти ихние НИИ. Копайте землю со своими профессорами. Спутники, спутники, а что толку от спутников? Летают, а рыбы нет. Студентов развели — это ж форменный разврат. На завод их, чтобы по семь часов вкалывали! А Тулин бы у меня побегал. Ах, ты против, рыпаешься, а ну-ка, голубчик, охладись... Нет, распустили мы, страху нет...

— Тулин и так бегаёт, — сказал Крылов.

— Э, руководить всякий может. Думаете, я не могу? Чем я хуже? Все на случае построено. Мне случай не выпал, а они проныры. Пиджак у него какой, у Тулина, видели — в клетку, разрезик сзади. По-вашему, как, я такого пиджака недостоин? Вы тоже, видать, из ихних, в одну дуду дуете.

— Иди бай-бай. Жених, — сказала дежурная. — Небось когда почки схватило, к профессору поехал. Все вы такие.

Крылов долго еще сидел с ней и рассказывал про лесные пожары от гроз, про виноградники, побитые градом, про ребят, которые зимуют на Эльбрусе, изучая облака. За этот год он увидел страну так, как никогда. Строители на плотинах, хлопкоробы, трактористы, колхозники смотрели в небо — это они смотрели на него, потому что он жил там, в этом небе, воюя для них с облаками.

Дежурная всплескивала полными белыми руками, ахала, потом сказала:

— Вы на него не обращайтесь. Ревнует. Он экспедитор. Сватается.

Крылову стало весело. После истории с Агатовым он чувствовал себя сильным и добрым Гулливером. Чего ему злиться, ему жаль этого экспедитора, обворовавшего свою жизнь. Открыть его лысую голову и посмотреть, на что годен, не был же он рожден для того, чтобы стать экспедитором. И человек станет счастлив.

Поднявшись наверх, он отыскал Ричарда в фотокомнате. Там работали Женя, Лисицкий, еще кто-то, при свете красного фонаря мелькали обнаженные руки. Улучив минуту, Крылов шепнул Ричарду:

— Все в порядке.

— Видите, я так и знал: Тулин — железный парень.

Ричард нашел в темноте руку Крылова, пожал ее и уже через несколько минут вместе с Лисицким доказывал Крылову бессмысленность повторных замеров, называл требования Крылова академическими и повторял слова Тулина о решающей роли интуиции.

— Если так работать, как вы предлагаете, то мы результаты получим через год, а то и через два, верно?

— Результат? — Крылов пожал плечами. — Не знаю, да разве в этом дело?

Укладываясь спать, ребята обсуждали эту смешную фразу Крылова. Чем-то она, конечно, смущала. Но следовать примеру Крылова было слишком трудно, да и не очень надежно.

5

За час до вылета Тулина позвали к междугородному телефону. Вернувшись к самолету, он сказал Крылову, что срочно выезжает в город к Богдановскому. Свидания с Богдановским Тулин добивался давно. Богдановский заинтересовался работами группы и, очевидно, согласен как-то помочь. Богдановский был из тех начальников, которых труднее всего застать в Москве. И вот теперь, когда он под боком, глупо не использовать случай. В его распоряжении огромные средства и широкие полномочия. Знакомые археологи с восторгом рассказывали Тулину, как Богдановский щедро давал им машины, людей через свои геологические экспедиции. Стоит заручиться его поддержкой, и никакие агатовы не страшны. Очевидно, у Богдановского какой-то практический интерес. Ну словом, Богдановский — это козырный туз!

— Придется руководить этим полетом тебе, — сказал Тулин. Он расстегнул пуговицы комбинезона, уселся на траву и стал стаскивать с себя робу. — Заодно получу материалы на базе. Да, кого-то мне надо прихватить с собой...

Крылов уныло вертел отвертку. Необходимость руководить полетом пугала его. Он

обязательно что-нибудь упустит или напутает. Кроме того, это значит, что некогда будет заняться собственными измерениями.

— Эх ты, эгоцентрик! — сказал Тулин. — Ничего, приучайся, попробуй тяжесть и сладость власти. — Он поднялся, сложил комбинезон. Стройный, в яркой клетчатой рубашке навыпуск, в легких сандалетах, спортивных брюках в обтяжку, он выглядел совсем юношей. — А что, если я возьму с собой Женю, — рассеянно сказал он. — Ей тут особенно делать нечего. Пока я буду у Богдановского, она все оформит на базе.

Несвойственные ему объяснения были похожи на оправдания.

Крылов хотел поймать его взгляд и не мог. Глаза Тулина скользили по полю, по самолету, облепленному людьми, — маленькие, суженные от солнца черные зрачки.

У самолета шла обычная предотлетная суматоха. Грузили приборы, закрепляли приборы. Утренний туман поднимался и таял под солнцем.

— Может быть, лучше взять Катю? — сказал Крылов.

Он почувствовал взгляд Тулина, но опять не успел поймать его.

— Можно и Катю, — равнодушно согласился Тулин. — Вот тебе программа сегодняшних испытаний. Старик, не тушуйся, и будет порядок. Впрочем, каждый знает, что ему делать. Пожалуй, Катя не управится. Там надо порасторопней.

Он направился к самолету, Крылов пошел за ним.

— Олег, — вдруг сказал он, — оставь Женю в покое.

Тулин резко повернулся к нему.

— Слушай, не лезь не в свое дело! — Теперь он смотрел прямо в глаза Крылову. — Ты слишком много берешь на себя.

По трапу поднималась Женя. Ветер раздувал ее платье. Женя опустила руку, придерживая юбку, другой рукой она прижимала к груди ярко блестящий полированный футляр прибора. Волосы падали ей на лицо, она стряхивала их коротким движением головы, но они снова падали, закрывая глаза. Последнее время Женя почти не говорила с ним, но Тулин чувствовал, что между ними установилась связь, невидимая, неслышная, как радиоволны. Пульсировал глазок передатчика: «Ты тут?» — «Я тут». А снаружи все неподвижно и холодно, как штырь антенны.

— Серега, я еще не могу тебе ничего объяснить, — сказал Тулин, провожая ее взглядом. — А вдруг это куда серьезней, чем ты думаешь. — Он было подмигнул, но, посмотрев на Крылова, сказал проникновенно: — Неужто я, по-твоему, не способен на большое чувство? Когда тебе надо было, я помогал. Помнишь, с Леной? А ты по крайней мере не мешай мне. Запомни, в таких делах жалость бессмысленна.

Он отошел, и Крылов смотрел, как он взбежал по трапу, догнал Женю в дверях самолета, заговорил с равнодушно-деловитым видом.

Еще издали Агатов заметил Тулина и Женю, стоящих на верхней площадке. Потом Женя ушла в самолет, и Тулин спустился навстречу Агатову. Они обменялись преувеличенно любезными улыбками. В кабине, стоя на коленях у приборной доски, Ричард разговаривал с Верой Матвеевной и Алешей. Агатов подошел к ним, делая вид, что осматривает свои счетчики. Ричард доказывал, что схему стоит несколько изменить, одновременно он решал Вере Матвеевне уравнение. Ему доставляло удовольствие щеголять своими способностями.

Решать в уме, на ходу, задачки, как бы между делом.

— Давай я переключу, — предложил Алеша.

Они осторожно, не отключая напряжения, быстро переменили концы.

— Готово, — сказал Ричард. — А первый корень уравнения будет логарифм К минус логарифм И, — выпалил он.

— Спасибо, — сказала Вера Матвеевна, записывая. — Ты гений. Тебя надо в цирк отдать.

Ричард отряхнул колени. Увидев в конце кабины Женю, окликнул ее. Женя махнула ему рукой:

— Я сейчас!

Ричард пошел к выходу. Заметив Агатова, он отвернулся.

— Минуточку, — сказал Агатов.

Ричард остановился. Агатов, улыбаясь, молчал. Он любил такие паузы.

— Знаете, Ричард, я человек отходчивый, я решил не отсылать вас в Москву. Оставайтесь и спокойно работайте. — Он говорил негромко, но, несмотря на то, что в самолете работало много людей, стучали, передвигали ящики, несмотря на весь шум, он знал, что его слышат, для этого у Агатова существовал специальный голос.

— Да, я человек незлопамятный, — продолжал он. — Хотя вы были неправы, но... бывает. По молодости всякое бывает, когда-нибудь вы убедитесь... А пока будем считать инцидент исчерпанным.

— Спасибо, — сказал Ричард, понимая, что тем самым он как бы признавал свою вину. — Хотя, собственно, не знаю, за что благодарить...

Агатов понимающе кивнул.

— ...скорее мне надо благодарить Тулина.

— Тулина? — переспросил Агатов. — Ловко! Вы никак полагаете, что он вас защитил? — Агатов медленно рассмеялся. — Как бы не так! Это я не пошел у него на поводу, у Тулина. Видите ли, я с ним решил посоветоваться. Тогда еще, сгоряча. Ну и он в два счета... — Агатов сморщился, махнул рукой. — А впрочем, не стоит. — Заглянув в окно, он покачал головой. — Чего ж они осциллограф не несут? — И, не обращая больше внимания на Ричарда, спустился с самолета. Он был возмущен: какая низость, какая несправедливость, в любом случае все заслуги приписывают Тулину!

Вскоре он услышал сзади прерывистое дыхание и затем срывающийся голос Ричарда:

— Яков Иванович, я вас не понял, что вы про Тулина...

Агатов, не торопясь, растолковал лаборанту, куда поставить осциллограф, потом взглянул на Ричарда.

— Стоит ли? Не хочется вас расстраивать. — Он сочувственно похлопал его по плечу: «Бедняга, как тебя околпачили!»

— Яков Иванович, прошу вас, мне это очень важно.

Агатов недовольно потер шею.

— Лучше будет, если вы спросите у него сами. Или у Алтынова, он тоже присутствовал. — Агатов помолчал, крякнул. — А-аа, чего ради скрывать? К вашему сведению: Тулин согласился, что вас надо услатить в Москву. Он не возразил ни единого слова. Лично у меня такое впечатление, что ему было наплевать. Скорей всего он даже рад был воспользоваться моей вспыльчивостью. — Агатов предупреждающе поднял палец. — Но последнее мое утверждение — сугубо субъективное. Прошу взять его в скобки, поскольку я строго придерживаюсь фактов. Таков мой принцип. Не верите? Выясните подробности у тех, кто был при этом.

К ним быстрым шагом приближался Крылов, за ним — Алтынов.

Агатов ждал, исполненный достоинства, торжествующей правоты. Была еще какая-то надежда, тень надежды, с какой Ричард смотрел на Крылова, или нет, скорее на Алтынова, потому что ему трудно было заставить себя обратиться к Крылову. Но во взгляде, каким скользнул по его лицу Алтынов, мелькнуло похожее на жалость, как будто Алтынов вспомнил что-то относящееся к Ричарду и это вызывало, жалость. Подойдя к Агатову, Крылов попросил отложить какие-то измерения.

— И не подумаю. И вообще, с каких это пор вы тут распоряжаетесь? — сказал Агатов.

Крылов пояснил, что Тулин уезжает и программой будет руководить он, Крылов. Ричард незаметно отошел, им было не до него. Он прислонился к шасси. Катя, пробегая мимо, остановилась.

— Что с тобой?

— Ты не видала Женю?

— Она у диспетчера.

Ричард пошел к вокзалу. Через несколько шагов он бросился бежать. В диспетчерской было полно народу. Женя, облокотясь на барьер, что-то писала. Ричард вытер вспотевший лоб.

— Вернемся к шести вечера, — сказала Женя.

— Ладно, так и пишите, — сказал диспетчер.

Ричард взял Женю за руку. Она обернулась, кивнула ему, передала бумагу диспетчеру. Они вышли в коридорчик.

— Я должен рассказать тебе одну вещь... — начал Ричард.

Женя посмотрела на часы.

— Срочное? У меня ни секунды. Мне еще переодеться.

— Ты разве не летишь?

— Нет, я в город еду.

— С ним?

— Но это ж по делу. Не могу же я! — Она сердито посмотрела на Ричарда и сделала над собой усилие. — Мы ж с тобой договорились.

— Не надо! Не смей с ним ехать! — Он сжал кулаки. — Не смей!

Женя мгновенно закаменела. Подняв брови, произнесла, четко разделяя каждое слово:

— Пожалуйста, не кричи. Я не желаю слушать тебя.

— Не смей, не смей! — исступленно повторял он.

— Ты с ума сошел! Что за тон?

— Женя, прошу тебя.

— До свидания. Надеюсь, к вечеру ты успокоишься.

Каблуки ее гулко стучали по белым плиткам и по коричневым плиткам, каждый стук бил по голове Ричарда, он думал, что череп его расколется. Он побежал за ней.

— Я должен был тебе сказать... Я хотел поговорить... — Голос его падал все ниже, до шепота.

— Приеду — поговорим, — бросила она, не оглядываясь.

Ричард зашел в туалет, намочил под краном платок, обтер лицо. Было без двадцати десять. На аэродроме он увидел Тулина, быстро идущего к шоссе. Ричард отвернулся, боясь, что Тулин заметит его, и так и шел, неестественно отвернув голову.

У самолета на него обрушилась крикливая бестолковщина последних предотлетных минут. Поздышев затейливо проклинал всех ученых, Академию наук и метеорологию. На правой плоскости он только что обнаружил новый датчик; это значило, что просверлены две новые дырки.

— Вы превратили машину в дуршлаг!

Он привел Хоботнева и начал жаловаться ему: по инструкции полет надо отменить и «дырки согласовать» с главным конструктором самолета. И Хоботнев и Поздышев знали, что никто не будет «согласовывать» эти дырки и все равно полет состоится, но Поздышева слушали, делая вид, что положение критическое, и он был доволен. Запасливый Алтынов, исчерпав свои увещевания, достал огромный китайский термос и предложил Поздышеву и Хоботневу горячего кофе.

Неполадки обрушивались на Крылова со всех сторон. Он мужественно, с медлительной улыбкой улаживал одно недоразумение за другим, но им не было конца, и он страдал от своей неспособности руководить. Выяснилось, что забыли проверить сигнализацию. Лисицкий ссылаясь на Веру Матвеевну, та на Катю, Катя на Алешу, и отчаявшийся найти виновного Крылов сам полез проверять контрольные цепи. Но в эту минуту Вера Матвеевна потребовала вообще изменить план полета, заявив, что Тулин уже неделю обещал ей полет на четырех высотах для взятия проб и она взяла с собой аппаратуру и приготовила таблицы. Катя поддержала ее, смотря на Крылова огромными молящими глазами, и начала объяснять тему своего диплома, а Лисицкий вспомнил, что ему необходим стрептомицин, которого нет в здешней аптеке, и поэтому он просит приземлиться в Адлере: там у него знакомый врач.

В кабине самолета между креслами ползал лаборант, ища свою вечную ручку. Он отказывался выйти из машины, пока не найдет ее.

Алеша сообщил, что отклеилась какая-то трубка держателя, и требовал клей «БФ».

Крылов убеждался, что не только в назначенный час, но и ни завтра, ни через месяц им не удастся вылететь. Раньше, когда Тулин был на месте, тоже возникали всякие случайности, но, разумеется, они были куда проще, судя по тому, как быстро Тулин разрешал их. Крылов

каждое требование принимал всерьез. Его поражало, что Алтынов относится ко всему совершенно благодушно. Вместо того чтобы действовать, он рассказывал анекдоты, и экипаж и вся группа беззаботно смеялись.

За десять минут до вылета Крылов окончательно отчаялся и решил отложить полет, Алтынов удивленно уставился на него:

— Что случилось? Почему?

Выслушав Крылова, Алтынов преспокойно сказал:

— Образуется, вы все принимаете в масштабе один к одному.

И действительно, к моменту вылета каким-то чудом все образовалось. Крылов понял, что разобраться в этом — как образовалось, почему не летит Катя, на что согласилась Вера Матвеевна, достал ли «БФ» Алеша — нет никакой возможности, а главное, если он начнет разбираться, тотчас на него свалятся десятки новых вопросов и недоразумений.

Лишь когда самолет поднялся в воздух и горы превратились в мягкие зеленые холмики, до сознания Крылова дошла вся мудрость, заключенная в изречении Алтынова: «Чем меньше ты делаешь, тем меньше тебе надо делать».

Постепенно голова его обретала ясность. Видя, как Поздышев укладывает парашютные тюки, он вспомнил разговор синоптика и Хоботнева. Синоптик уверял, что будет гроза, ссылаясь на свой ревматизм.

Сводка была совершенно благополучная, абсолютно благополучная, и, вероятно, поэтому синоптик настаивал на достоверности своего личного указателя — ревматизма. Если бы ему разрешили по этому указателю составлять сводки, он был бы спокоен. Поздышев и ребята смеялись над синоптиком, но Хоботнев не смеялся.

В самолете налаживалась привычная жизнь. Листали бортовые журналы; Вера Матвеевна, как обычно, потеряла ноль; один Ричард сидел безучастно, с остановившимися глазами, и Крылов сразу обратил на это внимание, потому что такое состояние для всегда подвижного, азартного Ричарда показалось ему странным.

«Неужели догадывается?» — подумал Крылов, вспомнил свою стычку с Олегом, и настроение его упало. Утешать Ричарда было нечем, все оказалось слишком запутанно. Тулин поступил некрасиво, и Крылов чувствовал себя виноватым за него. Он попросил Ричарда проверить ему схему грозоуказателя и поручил вести записи по своему стенду.

Ричард отчужденно кивнул, Крылов вспомнил, как тогда, в Ленинграде, потеряв Лену, он надеялся на целебную силу работы и как из этого ничего не получалось. Тот Крылов валялся в отчаянии на кушетке, не желая ничего слушать, понятия не имея о том, что вскоре он поедет к Голицыну, что работа там пойдет хорошо, что он защитит диссертацию, встретится с Наташей. Для того Крылова не существовало будущего, и будущее ничем не могло помочь. Даже если бы он знал, как оно выглядит, все равно это ничего бы не изменило, потому что все то, что случилось, произошло уже с другим Крыловым. Приходится пройти через все это, думал Крылов. Ричарду сейчас нет дела ни до какого грозоуказателя. Мы всегда утешаем других тем, что не могло утешить нас.

Где-то возникла знакомая чернильно расплывающаяся тоска, и он привычным усилием подавил ее, с грустью отметив, что это удастся ему все легче. Он сравнил свою тоску по Наташе с тем, что переживал Ричард, и, как сильный к слабому, как старший брат к младшему, почувствовал к Ричарду нежность. «Не следовало брать его в полет, — подумал он. — В таком состоянии нельзя летать».

...Потом он отчетливо вспомнил, что в ту минуту он посмотрел на парашют Ричарда, лежащий в кресле, вспомнил об инструкции, но ничего не сказал, поймав взгляд Ричарда.

«Пусть он попробует! — думал Ричард. — Я ему выскажу, я ему все выскажу! Жаль, что Крылов отошел, ничего не сказав. Как хорошо было бы выложить ему насчет Тулина, полюбоваться на его физиономию, распотрошить его дружка, вывернуть наизнанку... Ах, Тулин, ах, образец, ах, кумир, талант! Не правда ли, таланту позволено все, любая подлость? Как же, он талант!»

Нет, то была не ревность. Глупо осуждать человека, которому понравилась Женя. Он скорее гордился, когда мужчины обращали на нее внимание. Женя могла целоваться с Алешей и кокетничать с Поздышевым, в институте за ней таскался капитан баскетбольной команды, несколько раз Ричард уличил ее: говорила, что будет заниматься, а сама уходила с этим верзилой на вечеринки, — и все это была ерунда, уж скорее он ревновал ее к артисту Медведеву, которым она восхищалась, к Маяковскому, к Жолио-Кюри, к тем, кого не превзойдешь. И лишь о Тулине он не подумал. Расписывал его достоинства, старался.

Тулин был идеалом. Тулин был тем, чем хотел стать сам Ричард. Нельзя же подозревать и остерегаться самого себя.

Даже тогда, на мосту, виновата была одна Женя, при чем тут Тулин, за Тулина он был спокоен, он мог в любую минуту сказать: «Олег Николаевич, чего-то Женя тут наморочила». Они бы объяснились по-мужски, и Тулин сказал бы: «Отличная девка, но наша дружба мне дороже. Женя тебе нужнее, не беспокойся».

Страшно было другое: Женя могла начать сравнивать их — и перед этим сравнением Ричард был беспомощен, он сразу становился жалким щенком. Тулин, конечно, староват, зато красив, штук двадцать научных работ, знает массу веселых историй, говорят, что девчонки любят тех, кто старше. Сравнения с Тулиным не выдержит никто.

До сих пор он думал, что Тулин ничего не подозревает... Но раз Тулин согласился отправить его в Москву, значит, Тулин знал про него и Женю, — знал и решил отделаться. Расчетливо взвесил все обстоятельства — неважно, что Ричард пишет диссертацию о тулинском методе, что рассорился с Агатовым. По сухи, тоже из-за Тулина. А что, если Тулин ничего не знал о нем и Жене? Господи, все бы отдал, чтобы Тулин ничего не знал! Может, Агатов нарочно?

Машинально записывая показания, он искал оправданий Тулину, нагораживал случайности, при которых Тулин мог ничего не знать.

Грифель сломался, и Ричард оглянулся на кресло, где обычно сидела Женя, и тотчас вспомнил тот полет, болтанку, Тулина, склоненного над Женей, и поцелуй. Этот поцелуй он увидел только сейчас, тогда он не видел, не обратил внимания, ему и в голову не могло прийти.

Значит, все, что было потом — притворство, и Тулин и Женя, они сговорились, конечно, они действуют в сговоре, они оба хотят, чтобы он уехал. Они предали его, эти два человека, которых он любил. Он увидел ее коричневые глаза, влажные губы и глаза Тулина, его губы.

В просвете облаков мелькнула земля, и там тоже были их глаза, их губы. Улыбающиеся, смеющиеся губы. Они смеялись над ним. А он, как собачка, ходил за Тулиным, повторял его изречения, подмигивал по-тулински; научился переходам на жесткий, медлительный голос.

Не существует дружбы. Принципы — это слова. Правды нет. И чем может помочь ему правда? Когда-то он верил в ее могущество, а она бессильна перед ложью. Правда ничего не может.

Совсем близко лицо Агатова. Запах одеколona. Гладкая, туго натянутая кожа...

— ...не сменили батареи... Переключить питание...

...как белый экран. На нем можно показывать любую картину, она не имеет никакого отношения к киномеханике, сидящему где-то в будке. Агатов знает, что ему нужно. В этом мире хорошо только подлецам: им не в чем разочаровываться, они живут без иллюзий, они считают всех подлецами и редко ошибаются...

— Мне все равно, — сказал он. — Берите батареи, делайте что хотите.

...подлецам вроде Тулина. Они сейчас там, вместе, вдвоем с Женей, она переделалась в полосатую маечку...

— ...должны за него ишачить, — сказал Агатов и улыбнулся.

...Чему же тогда верить? Они еще надеются водить тебя за нос.

Агатов спросил, почему не сменены батареи, приборы сели.

Взгляд Ричарда оставался бессмысленным. Тогда Агатов сам пробрался к батареям, отключил питание грозоуказателя, установленного на пульте пилота, и вместо него подключил свой прибор. Когда потребуется Крылову, можно будет переключить обратно, но он знал, что это не потребуется, потому что они не имеют права заходить в грозу, да, кроме того, он не очень-то верил в этот грозоуказатель, так же как он не верил во всю работу Тулина. Он презирал всю эту рискованную, мудреную затею и ту серьезность, ту страсть, которую Тулин и его поклонники вкладывали в любую мелочь. За это время, с этими усилиями можно было сделать пять, десять выигрышных безопасных научных работ, опубликовать их, получить докторские степени.

Вместе с Алешей он начал измерять капли. По сигналу Алеша вставлял патрон с промокательной бумагой, вынимал патрон, и они отмечали размеры пятна и показания приборов.

Ричард пошел за карандашом к Алеше. Крылов сидел на ручке кресла, загораживая проход.

— Ты плохо себя чувствуешь? — спросил Крылов.

— Не беспокойтесь, я здоров.

— Ты что-то изменился за последнее время.

— О, я и сейчас меняюсь. Обожаю меняться. Я все время меняюсь. — И Ричард подумал, что когда-то он верил в Крылова.

— Что случилось?

— Ничего. Пустяки. Просто я узнал, как меня защищал Тулин.

Чувствуя, что краснеет, Крылов разозлился.

— Не валяй дурака. Ты ведешь себя как мальчишка. Ни черта ты не понимаешь. Пора бы уже научиться... Человек есть человек, но его дело — это наше дело.

Ричард усмехнулся в лицо Крылову.

— Я уже не мальчишка. Я стал взрослым, таким же, как вы и Тулин. Вы все понимаете, вы все умеете разделять. Вы так много понимаете, что можете ни во что не верить.

Он взял карандаш, вернулся на место, положил на дощечку таблицу и принялся заполнять ее. Утешает. Стыдно за своего друга. Работай на Тулина. Сам небось спорит с ним, а другим предлагает смириться: смирись во имя идеи, прикидывайся, будто ничего не произошло. Нет, Сергей Ильич, вы тоже уступаете вашему Тулину. Я не могу так. А как же? Что же остается? Человек и его дело?

Он вспомнил, почему Крылов ушел от Голицына. А Тулин, тот не ушел бы. Крылов поступил глупо, освободил место Агатову, из-за этого страдает дело, страдает лаборатория, но Крылов ушел, а Тулин не ушел бы. Противоречивое, временами нелепое поведение Крылова неожиданно обретало какой-то сокровенный смысл, еще неясный, как-то связанный с тем главным, что терзало сейчас Ричарда.

Что могли значить слова Крылова? Возможно ли, что он тоже давно уже разочаровался в Тулине, но продолжает работать, потому что верит в дело, потому что дело — это больше, чем Тулин и чем дружба?

Отомстить Тулину. Найти слабые места в его работе, хотя бы те, на которые указывал Крылов, раздраконить эти места, расписать их. Агатов возликовал бы, и Крылов не смел бы пикнуть: он же сам твердил, что для разных грозových облаков поле убывает по-разному и до сих пор не нащупана закономерность. Пересечь сейчас к Агатову. Каких-то полтора метра перейти. Легче легкого. Он имеет на это полное право. Но он чувствовал, что не в состоянии это сделать. И больше того, понимал, что будет по-прежнему вместе с Крыловым помогать Тулину. Он без этого не может. Это уже его собственное.

А что, если его оправдания — от слабости? Слабость? Нет, он не чувствовал в себе слабости, может быть, наоборот, сейчас у него появилось то высшее чувство преданности истине, которым живет Крылов.

Из окна самолета виднелись квадраты полей, сбегаящие с гор. Ниточки дорог. Поселки выстроились правильными кубиками. Сверху земля выглядела упорядоченной, все на ней было правильно. Было видно только главное, большое. Как будто он поднялся над собственной жизнью.

Люди приходят и уходят. Что же остается от каждого на этой земле, кроме могильного холма, невидного и незаметного с высоты? Исчезает все — города, империи, целые культуры; устаревают машины, книги, сменяются науки. Остается лишь одно — стремление к истине. Оно передается от поколения к поколению, сквозь любые разочарования, катастрофы. Когда-то он размышлял над смыслом жизни. Ходил на диспуты. Писал записки докладчикам. Сколько споров было! Сколько цитат, ссылок! Может быть, то, к чему он пришел сейчас, не открытие. Но для него это откровение и поддержка. Откуда взять сил? Сегодня вечером, когда он увидит Женю и Тулина, что он скажет? Что скажут они?

Дорога крутилась между скал, то уводя в прохладную тень, то выбрасывая грузовик на каменный зной. И всегда внизу бурлила река. На пологих спусках шофер выключал мотор, сквозь шум гравия доносились звуки воды. Реки сменяли друг друга, неотступно сопровождая дорогу. Каждая река имела свой цвет, свою повадку.

Аянка вильнула в сторону, и началась другая река, названия которой Женя не знала; река эта была густо-зеленая, как хвоя, и текла она неровно, то разливаясь плесами, то вспыхивая пенистыми перекатами.

Желто-белые бомы, гладкие огромные каменные столбы, нависали над дорогой. В зеленых долинах застыли гурты овец, похожие на перистые облака.

На поворотах Женю бросало к Тулину, она чувствовала плечом его плечо. Однажды он поддержал ее, обняв за пояс. Женя старалась отвести руку, он стиснул ей пальцы и сказал:

— Скоро начнутся дубовые рощи.

Он сам отнял руку, и Женя крепко схватилась за скамейку. Они ехали в открытом кузове грузовика и старались не смотреть друг на друга. У каждого из них была своя сторона дороги.

Тулин чувствовал напряженное ожидание Жени. Это волновало, он знал, что это ожидание будет нарастать, пока настороженность не уступит место нетерпению. Все перипетии этой старинной игры были хорошо им изучены. Если он сейчас попробует поцеловать Женю, то она возмущенно оттолкнет его, назовет нахалом и будет дуться. Правда, всерьез она не обидится; ни одна женщина не может всерьез обидеться на подобное, потому что это не оскорбление, это скорее дань восхищения. И женщины это прекрасно чувствуют.

Как хорошо, что он может свободно думать об этом. Ему не забыть жалкого вида Крылова в истории с Леной. Да и с этой, другой, чья фотография стояла на столе, тоже что-то сложное. Бедный Серега, всегда ему достаются слишком сложные ситуации. Он все принимает всерьез, как будто любовь нуждается в размышлениях. Здоровая доля цинизма — вот что гарантирует от ненужных переживаний. Сейчас они тем более ни к чему. Любвеустойчивость — хорошая штука в период напряженной работы. Надо уметь подчинить себя разуму. Рационализм? Ну и что ж, ничего зазорного в рационализме нет. Мы живем в век рационализма. Чувства, всякие эмоции мешают разуму, а волнения, особенно сердечные, отвлекают. И все же как приятно чувствовать волнение Жени! Дать ей влюбиться? Не стоит. Нехорошо. Но если она может разлюбить Ричарда и влюбиться в него, значит, она не по-настоящему любит Ричарда, чего же ради страховать ее от ложных чувств? Естественное развитие — самое лучшее и правильное развитие.

Зеленые лавины лесов катились с отрогов гор все гуще, все зеленей. Снижаясь, дорога уходила в пятнистые рощи, пересекала шумные поселки и снова ныряла в густую цветущую зелень кленов, синеглазых сливовых плантаций, и вдруг из-за поворота навстречу ударил свет. Казалось, этот солнечный, начинающий припекать день не мог стать светлее, а вот стал. Мягкий струистый свет вырвался откуда-то снизу, как будто его излучала сама земля навстречу спящим бликам солнца, рассыпанным в листве. Тени посветлели зыбкой синью. Воздух заголубел, приобрел подвижность.

— Море, — сказал Тулин.

Женя вскочила, в лицо ударило серебряное, огромное, видимое с высоты далеко-далеко. С каждым поворотом дороги оно раскрывалось все глубже. Его свет трепетал на лице Жени, и всей кожей она чувствовала его прикосновение. Глаза ее широко раскрылись, вбирая громадность моря и раскинувшийся внизу белый, нарядный город, длинный мол, игрушечные кораблики у пристани, расходящийся след от парохода. Свежий ветер обдувал ее щеки.

— Как здорово! — сказала она.

Руки Тулина сжали ей голову, повернули к себе, и она увидела рядом его глаза, тоже заполненные этим серебряным светом. Женя рванулась, но тотчас почувствовала крепость его рук, увидела жесткую морщинку на переносице и вдруг подумала, что Ричард никогда не осмелился бы вот так обращаться с ней. Она стиснула губы и закрыла глаза.

Секунда, которая длилась затем, состояла из многих отдельных событий: оранжевые спирали завертелись на смеженных веках быстро, медленней, остановились, замерли в ожидании. Потом снаружи что-то изменилось. Она открыла глаза. Тулин по-прежнему смотрел на нее. Но теперь он улыбался и смотрел издали. Женя попробовала разнять его руки. Он не двинулся, он смотрел на нее и задумчиво улыбался.

— Пустите меня сейчас же! — сердито крикнула она.

Он словно не слышал. Она была уверена, что он не видел ее, он смотрел куда-то дальше.

Вздохнув, он разжал руки. Она отстранилась, негодуя от испытанного унижения. И поняла, что он отпустил ее не по ее требованию, а потому, что сам захотел так.

— Мне большого труда стоило не поцеловать вас, — сказал он.

Злость помогла ей справиться с собою.

— Трудитесь, трудитесь, может быть, вам удастся превратиться в человека.

— Я затрачиваю столько сил, борясь со своим чувством, — задумчиво продолжал он. — Видите ли, сейчас у нас такая страдная пора, что всякое увлечение — непозволительная роскошь. Надо экономить силы и время. Но, с другой стороны, расход сил на сдерживание чувств растет. Существует точка, где перестраховка станет невыгодной.

— Постройте кривую, — сказала Женя. — Сделайте график, найдите точку пересечения.

— Я нашел, — Тулин открыто посмотрел в глаза Жене. — Я решаю в уме не хуже Ричарда. У меня хорошие математические способности.

— Зачем вы мне испортили настроение? — сказала Женя. Она повернулась к морю. — Что это за башня на горе?

— Развалины древнего монастыря. Четырнадцатый век. Хотите конфетку?

— Спасибо.

— У вас брови круглые, как крылья ласточки.

— А что... вот там?

— Элеватор. Правее театр, а слева, у мыса, стадион. Далее идут санатории, остальные достопримечательности лучше всего узнать из путеводителя. Я преподнесу его вам. Впервые я вижу глаза, которые могут так меняться. Я хочу рассказать, какой я вас вижу.

Вдохновение помогало ему найти безошибочный тон и точные слова. Стоило хоть где-то сфальшивить, выбрать чересчур восторженное выражение — и вся постройка рухнула бы. Но Тулин уверенно скреплял ее безразличием человека объективного, грубоватостью мужчины, не умеющего говорить комплименты, иронией, которой прикрывают восхищение.

Постепенно ее насмешливо-надменная улыбка исчезала. Больше она не пыталась прерывать, он понизил голос, некоторые слова его заглушал шум машины, и тогда она слегка

наклонялась к нему. Он наверняка знал, что никто никогда еще так откровенно не описывал ее глаза, руки, фигуру, ее жесты, походку. Чувствуя ее волнение, он испытывал некоторую горечь и зависть. Ему тоже хотелось не знать, что будет дальше, но он-то знал все наперед.

Теперь он мог взять ее за руку. Но он не взял. Когда на повороте его качнуло к ней, он почувствовал ее грудь и спокойно отстранился. Медлительность и перерывы составляли сами по себе удовольствие.

Машина подъехала к складу. Тулин уговорился с Женей встретиться через полтора часа в кафе у пляжа.

То, что он слышал о Богдановском, руководителе крупнейшего управления, никак не вязалось с этим дочерна загорелым, будто закопченным человеком, похожим на мастера тракторных мастерских. Сапоги гармошкой, ковбойка, тубетейка, цепкие, железные пальцы — в его облике странно соединялись рабочий с мужичком.

И конторка, где принимал Богдановский, с беленькими занавесками, простеньким желтым столиком, письменным прибором из красной пластмассы, тоже напоминала кабинет какого-нибудь районного начальника.

Тулин был разочарован. Маскарад? Но невозможно было представить Богдановского среди ковровых просторов московского кабинета, в черном костюме с галстуком.

С видом снисходительным и подчеркнuto вежливым (ученый в гостях у мастеравого) Тулин осведомился, чем он может быть полезен.

Позже, передавая Жене подробности разговора, он никак не мог понять, каким образом Богдановский, незаметно ускользая от ответа, за несколько минут изменил положение, заставив Тулина отвечать, доказывать, оправдываться, упрашивать. С ловкостью фокусника орудуя короткими вопросами и междометиями вроде «ну», «а-а», «ойя», Богдановский отсекал все лишнее, вытаскивал суть дела, часто невыгодную для Тулина, схватывая на лету, казалось бы, чисто научные тонкости.

Под взглядом его жуликоватых маленьких глаз Тулин, пожалуй, впервые почувствовал перед собой собеседника, соображающего быстрее и лучше.

За каких-нибудь двадцать минут Тулин, против своей воли, изложил состояние исследовательских работ группы, основные организационные трудности и ближайшие перспективы. На любом совещании ему потребовалось бы на то же самое не меньше двух часов.

Стоило упомянуть про денежные затруднения, как Богдановский стал допытываться о причине сокращения ассигнований. Тему хотя бы передвинуть в какой-то резервный план. Почему? Считают ее ненадежной, то ли получится, то ли нет. А есть на это основания? Таких оснований нет, пока результаты успешные, просто слишком проблемно, ну и рискованно. Но вначале-то не боялись? Следовательно, что-то изменилось? Может быть, повлияли чьи-нибудь отзывы? Чьи же?

— Ну, кое-кто из учеников Денисова, — неохотно сказал Тулин.

— Но Голицын ведь тоже против? — Богдановский уколол его быстрым взглядом.

Тулин хотел сказать: «Так, значит, вам все известно?» — но тут же мысленно продолжил

диалог.

Богдановский: «Разумеется, я навел справки».

Тулин: «Чего ж мы теряем время?»

Богдановский: «Я-то не теряю, я узнаю не обстоятельства дела, а вас».

Такой оборот был невыгоден, поэтому он задумчиво и неторопливо сказал вслух:

— О, Голицын — это отдельная история! Я как раз собрался приступить к ней.

— Не стоит. Все ясно.

И тут Богдановский несколько отвлеченно изложил следующие обстоятельства. Допустим, имеется некое месторождение в горах. Там сейчас работает экспедиция. Это район частых гроз, авиация не в состоянии обеспечить связь и регулярное снабжение. В ближайшее время необходимо разворачивать добычу. Спрашивается, возможно ли проложить бесперебойную и безаварийную воздушную дорогу через грозы в данный район?

Отработанные условия напоминали алгебраическую задачу, которую Богдановский, очевидно, задавал не впервые.

Тулин сразу оценил, какие огромные возможности открывает перед группой предложение Богдановского, — можно будет самым эффективным способом опробовать новый метод, работа группы получает независимость, конкретные сроки, адрес, размах, поддержку.

Сдерживая радость, Тулин произнес как можно неохотнее:

— Попробовать, что ли.

Богдановский понимающе усмехнулся.

— Сколько времени понадобится? Обеспечим вас всеми средствами.

— Так не бывает. — Тулин засмеялся, обдумывая ответ.

— Имейте в виду, десять лет меня не устроят, назовете месяц — не поверю.

Тулин чувствовал, как за этим высоким, отвесным лбом взвешивается каждое его слово. Это был экзамен. Надо было сдать его на «отлично». Он спросил:

— Вам когда-нибудь приходилось заниматься научной работой?

— А вам когда-нибудь давали задание найти за год залежи, допустим, кадмия?

Они посмотрели друг другу в глаза и засмеялись.

— Вы ждете, чтобы я назвал срок? — спросил Богдановский.

Тулин кивнул.

— Полгода. Реально?

— Год, — сказал Тулин.

— Вам уже удается отличать поля гроз от полей ливней?

— Однако! Вы хорошо осведомлены.

Богдановский ожидающе молчал.

— Кто ж это вас информировал?

Богдановский нахмурился.

— Давайте условимся, — сказал Тулин, — научные заботы — наши заботы.

— Хорошо. Самоуверенность всегда полезна. Тогда нужны гарантии.

— То есть? — Тулин не поспевал за скачками его рассуждений.

— У вас кот в мешке, — нетерпеливо пояснил Богдановский. — Развязать не хотите. Ваше право. Денег надо много. Деньги государственные, не мои. Давайте гарантии.

Тулин развел руками.

— Расписку?

— То-то. Правда ваша... — Он прищурился. — Честолюбие кое-что весит, но недостаточно. Сколько денег надо и прочего?

Когда они занимались подсчетами, в кабинет вошла молодая женщина. Крепкие, круглые щеки, большие серые глаза. Что-то знакомое почудилось Тулину в ее облике. Почувствовав вопросительный взгляд, она недоуменно посмотрела на него. Ничего не отразилось на ее лице. Она видела его впервые, а между тем он знал ее. Откуда? У него была отличная зрительная память, и то, что он не мог вспомнить, раздражало его.

Богдановский называл ее Наталией Алексеевной. Получив подпись на бумаге, она ушла.

— Вся соль в том, что я не имею права ошибиться, — сказал Богдановский, разглядывая листок с записями. — У вас в науке ошибки плодотворны, во всяком случае, неизбежны... У нас они просто исключаются. Прорубать дорогу в горах? Сотни миллионов. И время. А сколько стоит время? Во сколько вы цените месяц своей жизни?

Тулин улыбнулся.

— Вы правы.

— А два года для государства — это, может быть, тоже бесценно. Тысяча дорожников затратит два года. Две тысячи лет человеческих. Зато надежно. И зато поздно.

— Вспомнил! — вдруг сказал Тулин.

Богдановский запнулся.

— Простите, — сказал Тулин. — Я вас слушаю.

Риск был слишком велик, чтобы Богдановский мог сразу принять решение. Предстояло взвесить множество «за» и «против», и одним из важнейших среди всех обстоятельств был человек, сидящий перед ним. Как ни крутись, но в конечном счете многое сводится к таланту одного человека, способного или не способного быстро разрешить проблему. Если бы можно было посадить на это дело сто ученых! Но в том-то и дело, что в науке количеством не всегда возьмешь, тут часто решает чья-то догадка, чье-то озарение. В тщетной надежде он

вглядывался в Тулина, пробуя представить, что творится в этой голове. К сожалению, всегда в конце цепи оказывается один человек. На одном конце один, на другом конце другой. Другим был он, сам Богдановский. Между ними расположились месторождения руды, будущие рудники, экспедиция, заводы, для которых предназначена эта руда, самолеты, исследовательские группы, дорожники, судьбы тысяч людей. Так или иначе все, что должно быть сделано, будет сделано, оно не зависит ни от Тулина, ни от Богдановского, но так или иначе — вот в чем суть. Можно сделать так, можно иначе. Всегда все сводится к «да» и «нет». Много лет ему приходится выбирать между этими двумя ответами. В сущности, то же самое делает кибернетическая машина. Он старался быть точным, быстрым, как машина. Кое-кто упрекал его за это, называл бездушным. В их устах «машина» звучало осуждающе. Почему? Ведь машина — дитя человеческой мысли. В нее вложено лучшее из того, до чего дошло познание. Почему можно учиться у книг и стыдно учиться у машины?

Он не имел настроений. Благодаря этому он мог учитывать настроения окружающих. Он учитывал жалость, слабость людей. Но для этого у него самого не должно было быть никаких слабостей. Он привык посылать людей в тайгу, в горы, взваливать на себя ответственность за решения, меняющие облик страны, он знал себя и был спокоен. Тут же ему приходилось, в сущности, перекладывать ответственность на другого. Кто он, этот красивый парень с умными, веселыми глазами, немного хитрый, немного фатоватый, немного нахальный?

Хотелось верить ему, и что-то настораживало.

«Слишком эмоционален», — думал Богдановский.

— Итак, считаем, что дорога ваша накрылась, — сказал Тулин.

Богдановский промычал и непроницаемо заулыбался.

— Вы не пожалеете, — пообещал Тулин. — Вы войдете в историю науки. Я уверен, что эффект превысит наши предположения.

«Хотел бы я знать, в чем ты уверен, — думал Богдановский, — в себе ты уверен или в деле своем уверен?»

Разыскав в одной из комнат Наталию Алексеевну, Тулин попросил ее выйти в коридор.

— Вы Наташа? — спросил он.

Она настороженно кивнула.

— Я вас узнал...

Она спокойно ждала.

— ...по фотографии. Отгадайте, где я мог ее видеть.

Она развеселилась.

— Это что у вас, способ знакомиться?

— На карточке вы были в свитере с двойной полоской.

А сейчас она была в синем халатике с закатанными рукавами, загорелая, высокая. Он был слегка разочарован. Почему-то он представлял ее себе томной, грустной, маленькой. Перед

ним была спокойная, уверенная в себе женщина, и лишь в глазах, добрых, мягких, сохранилась та самая Наташа, которая запомнилась ему.

Разговаривать с женщинами Тулину всегда было легче, чем с мужчинами, однако здесь он натолкнулся на нечто особое. Несмотря на загадочные фразы, сам по себе он, видимо, не возбуждал у нее любопытства. Казалось, что лишь по доброте и деликатности она не уходит.

Он протянул ей руку.

— Тулин Олег Николаевич.

— И что же дальше?

— Значит, вам ничего не известно обо мне. Безобразие! А я кое-что знаю о вас. Заиндевелая роща. Лыжи. Снег на вязаной шапочке. Два часа я оставался наедине с вашей фотографией, пока не пришел хозяин.

— Моя фотография... — Она сразу застыла. — Так вы Тулин! Ну да, конечно... — Глаза ее блеснули, но она ничего не спрашивала...

— Ну если вам и это неинтересно, то прошу прощения. Я был прав.

— В чем?

— А когда доказывал Сереге, что не стоит к таким вещам относиться серьезно.

— Где он? Как он? Когда вы его видели?..

Он посмотрел на часы.

— К сожалению, я спешу.

Следовало бы разыграть ее, но он увидел, что для нее это слишком серьезно. И в нем шевельнулось что-то вроде зависти.

— Ладно, молитесь на меня. Крылов со мною. Нет, не здесь, в сотне километров отсюда. Хотите адрес? Этот меланхолик сойдет с ума, когда узнает, что я вас встретил.

— Не говорите ему ничего. Я сама.

Не доверяя своему чутью, он спросил:

— Вы не хотите видеть его?

Должно быть, она отлично владела собой. Мягко и доверительно-просто она сказала:

— Да, пожалуй, уже поздно. Не стоит. Так будет лучше.

Она была не из тех, кого можно расспрашивать или уговаривать. Но все же она была женщина, и Тулин достаточно хорошо их знал.

— Вот вам адрес.

Бедняга, подумал он про Крылова, не так-то ему будет просто с ней.

Наконец-то им повезло. Они разыскали мощные кучевые облака с высокой напряженностью. По просьбе Крылова Хоботнев сохранял высоту, и можно было замерять распределение напряженности, и заряд самолета, и заряды капель, и спектр капель. Приборы, словно ножом, вскрывали внутренности облака.

Сотни, а если во всех странах, так уже тысячи полетов в облаках, километры пленок, заснятых на регистраторах, выяснили лишь бесконечную сложность процессов, творящихся в этом кипящем котле погоды. Хаос случайностей. Несхожие, неповторимые по внешнему виду и в своем строении, в механизме взаимодействия зарядов, они порой казались отчаявшемуся Крылову вдохновенной композицией господ бога. Кое-какие закономерности постепенно удавалось нащупать, но внутренняя сущность происходящего в этом сером тумане оставалась тайной, слепой игрой природы. Почему-то в каплях вдруг менялись заряды, где-то самолет переходил из областей положительного поля в отрицательное. Капли сгущались, росли, начинался ливень. Почему? Как?

Толстый слой воды струился по стеклам. Крылов подавал сигнал. Вспыхивала лампочка, и тотчас каждый начинал свои замеры. Никто не замечал толчков, болтанки. Хоботнев, оборачиваясь, видел напряженные лица, склоненные над приборами, — азарт, нетерпение словно подталкивали его в спину.

Крылов стоял рядом, рисовал в планшете облако. Был он в обычном своем клетчатом пиджачке, длинные руки далеко вылезали из рукавов, брюки пузырились на коленях, и Хоботнев чувствовал, что небо для Крылова — лабораторный стенд, на котором разложены специально приготовленные облака. Ему нравилось работать с Крыловым. Действия Тулина были большей частью неожиданны и непонятны. Тулин что-то пересчитывал, решал на ходу, руководствуясь какими-то своими сложными соображениями. У Крылова все было проще, яснее, они методично прочерчивали облака вдоль и поперек, и Хоботнев понимал что к чему и помогал Крылову, чувствуя, что тот с непривычки стесняется командовать.

В двенадцать десять, выйдя из облака, Хоботнев заметил, что вокруг что-то изменилось. Он не мог еще сказать, что именно, то было просто ощущение тревоги, идущее от смены красок, от нагромождений облаков, как будто за прежней беспорядочностью вдруг обнаружился какой-то угрожающий замысел.

По сводке грозе полагалось быть за сотню километров отсюда. Хоботнев покосился на грозообходчик. Стрелка быстро поднималась. А солнце по-прежнему ярко светило, и нежно-золотистые облака выглядели невинно, успокаивающе. Он приказал Поздышеву запросить обстановку. Крылов вернулся из салона сияющий.

— Отличные данные! — крикнул он. — Очевидно, мы поймали как раз момент формирования. Удивительные скачки напряженности.

Хоботнев посмотрел на его довольную курносую физиономию и начал круто разворачивать самолет для следующего захода.

Выйдя против солнца, он вдруг не то чтобы увидел, а почувствовал слева от себя бледную вспышку. В ту же секунду он услышал в наушниках голос Поздышева: «Гроза идет с запада, фронт быстро распространяется». Но Хоботнев уже сообразил, что гроза и справа, и слева и нужно прорываться сквозь оставшийся коридор, разумеется, если он еще существует. Он с силой взял штурвал на себя, делая «горку» перед самым облаком. Разворот еще не был кончен, самолет прижало к краю высокого облака. Они зашли в тень, и в это время прямо перед Хоботневым ударила лиловая молния. Пронзительный свет ее ослепил Хоботнева, машина вильнула, отовсюду посыпались искры. Вместо приборной доски перед Хоботневым прыгало что-то темное, пронизанное зелеными и лиловыми огнями. Он знал, что зрение

сейчас вернется, но эти утекающие мгновения и метры много решали.

Хоботнев был отличным летчиком. Он давно усвоил, что самые быстрые решения — самые верные. Гроза сомкнулась, выход захлопнулся, они попали в узкий клин, и, чтобы развернуться в обратном направлении, им придется войти в грозу. И все будет зависеть от того, насколько им придется углубиться, и как скоро движется гроза, и как ему удастся выполнить разворот, и сумеет ли он там выдержать максимальный крен, и правильно ли он снизил скорость, но, кроме того, он знал, что все его расчеты и намерения там, в грозе, могут ничего не стоить.

Резь в глазах утихла, он смахнул слезы, на черной шкале грозообходчика стрелка поднялась до двенадцати, компас, локатор вышли из строя, в кабине стоял дымок. В последний раз увидел в узкой щели солнце и такие невинные жемчужные опалы облаков. Затем все померкло, и машина вошла в быстро сгущающуюся тьму.

Второй пилот зачарованно следил, как по колпаку, трещина, прозмеился фиолетовый разряд. Поймав быстрый взгляд Хоботнева, второй пилот вздернул голову.

— Здорово! — Хриплый голос его был преувеличенно весел.

Мальчишка, подумал Хоботнев, знает грозу по рассказам, поэтому боится и не боится ее.

Он почувствовал, что Крылов вернулся в кабину, встал за спиной и что-то спокойно записывает. Понимает он, что происходит, или ни черта не понимает? — спросил себя Хоботнев. Он увидел, что Крылов наклонился и показывает ему пальцем на подвешенный сбоку указатель центра грозы. Хоботнев кивнул, картушка указателя болталась возле нуля. «Все равно, пусть наденут парашюты», — сказал он в ларингофон Поздышеву.

С этой минуты он уже не замечал ни Крылова, ни того, что творится позади, в салоне, где, помогая друг другу, поспешно надевали парашюты, подтягивали лямки; он видел только картушку указателя, скорость и высоту, скорость и высоту и беспросветную адскую круговерть там, за тонкой оболочкой колпака, тьму, пронизанную взмахами молнии, куда входил самолет.

Воздушный поток с силой ударил в плоскости. Все затрещало, и этот треск и дрожь самолета передались Хоботневу. Тяги напряглись. Он физически чувствовал, как скрипят тросы, как будто натянулись до предела, до боли его собственные сухожилия.

Резкие толчки, затем крик Агатова вывели Ричарда из оцепенения. За окном творилось что-то ужасное. Магниевого вспыхивания разрядов с грохотом били прямо в стекло. На мгновение внутренность самолета освещалась с пронзительной яркостью. Пустые кресла. Блеск приборов. Бледные лица. Не от страха, просто такое освещение. Обрушивалась тьма. И тогда возникали края плоскостей — они вздрагивали и светились нежно-розовым сиянием короны. Никогда еще Ричард не видел такой отчетливой и яркой короны. Он включил регистратор на максимальную скорость, торопясь измерить заряженность самолета. И счетчик разрядов. И самописец указателя центра... Торопясь, жадничая, он заносил показания, переключал, только бы не напутать! Как они попали в грозу — случайно, нарочно, — выяснять было некогда. Вот он, тот самый счастливый случай — редчайшая возможность поймать, ухватить, измерить драгоценные данные. Тут, совсем рядом, за стеклом, зона, где возникают молнии, где-то поблизости — центр грозы — святая святых и тайное тайных.

Горечь недавних раздумий исчезла, смытая яростью грозы. В нутро ей залезли, в самые

печенки. Вот она, решающая проверка расчетов Тулина, его указателя, его метода. Неважно, что у меня с ним произошло, неважно, как я к нему отношусь. Все это ерунда. Идея его справедлива, и я служу ей, я иду за ней. Ведь редко бывает так, чтобы идея и ее создатель были одинаково хороши. Да и какое дело науке до наших ссор? Главное — заполучить истину. Настал миг, когда к ней можно приблизиться, эта случайность нам поможет, наконец-то мы забрались в центр...

Алеша помогал Вере Матвеевне пристегнуть парашюты. В проходе в него вцепился Агатов.

— Идите к Хоботневу! — кричал он. — Я приказываю повернуть назад! — Бледно-зеленое лицо его подпрыгивало, он пытался распустить ремень, но боялся, и руки его хватались за подлокотники.

Алеша стал пробираться в кабину. По дороге он увидел Лисицкого, который торопливо отхлебывал из баклажки.

— Хочешь?

— Потом!

Поздышев сидел за рацией и морщился. Радиосвязь нарушилась. Вначале он пытался узнать обстановку, может быть, известна высота грозы. Теперь ему просто хотелось сообщить, что радиокompас отказал, пилотажные приборы зашкалило, потеряна всякая ориентация, по всей видимости, их относит вместе с грозой в горы. Они заблудились среди этой взбешенной мути; кто знает, может, земля слыхала их голоса, но ответа не было. Как будто им чем-то могли помочь с земли! И все же Поздышеву хотелось, чтобы там знали, услышать оттуда в ответ хоть слово, выругали бы, что ли, лишь бы избавиться от этого чувства безвестного одиночества. Но на всех волнах в наушниках завывала, свистела, улюлюкала беснующаяся гроза.

Знать бы, что внизу нет гор, можно попробовать как-то посадить машину, хотя бы пройти низом.

Прошли годы, столетия с тех пор, как Хоботнев вошел в грозу, надеясь как-то проскочить по ее краю. Не было ни края, ни лева, ни права, магнитный компас бешено вращался, машину швыряло, как былинку, временами он не знал, где солнце, где земля. Да, да, земля с ее инструкциями и установками. «Сохраняйте горизонтальное положение, не увеличивать скорость, чтобы избежать опасных перегрузок», — все летело к черту, все было не так. Забраться бы вверх, только вверх, еще выше и все-таки выше, чтобы хоть как-то удержать в руках машину. Они держали ее уже четырьмя руками, но кто-то рвал от них штурвалы и сбрасывал самолет вниз. Надрывно вопили моторы. Плоскости... он чувствовал, как страшно выгибаются плоскости. Уйти от центра грозы. Самое скверное — это центр грозы. Но где же центр? Куда уходить? Указатель не двигался. Этот чертов хваленый, знаменитый указатель — единственное, что помогло бы им как-то ориентироваться, единственный их шанс.

Было видно, как Крылов протиснулся к указателю, постучал по стеклу. Потом мелькнуло его лицо, отрешенно-задумчивое, настолько не соответствующее тому, что творилось, что Хоботнев выругался.

Крылов наблюдал за водой, струящейся по стеклам, за короткими склеротическими шнурами разрядов. Он вычислял, сопоставлял свои догадки, выработанные за последний год работы над грозой. Мозг его действовал методично и ровно, и никакие тревоги и страхи не доходили к нему. До последней секунды Крылов надеялся, что они болтаются где-то на периферии грозы. Нужно было время, чтобы убедиться в неисправности указателя. Но еще больше времени надо было, чтобы найти причину. Стучаясь головой о рычаги, стенки, он прощупал соединения — вроде все правильно. Тогда он направился в салон. Там все ходило ходуном.

Поздышев возился у аварийного люка. Крылов увидел рядом Веру Матвеевну. Глаза ее были закрыты, она бессильно оседала на пол. Он поддержал ее свободной рукой, ее вдруг начало рвать.

Откуда-то перед ним очутился Агатов. Крылов сказал ему:

— Указатель скис. Узнайте у Ричарда.

Агатов что-то закричал, исчез, вместо него появился Алеша, подхватил Веру Матвеевну, куда-то потащил ее. Крылов попробовал добраться до регистратора указателя, за которым сидел Ричард. Громоздкий ранец парашюта цеплялся за кресла. Крылов крикнул Ричарду:

— Работает? Работает?

Ричард что-то ответил, но Крылов не расслышал, подался вперед, переступая через катящиеся под ноги футляры, баллоны, вдруг самолет швырнуло, пол выскользнул, Крылов полетел через кресла куда-то в угол, ударился коленкой о стену. Раздался хруст. Звук был такой громкий, что ему показалось, что ломается самолет. Его прижало к стене, он попробовал оттолкнуться и почувствовал, что нога не действует. Тогда он понял, что, наверное, слышал, как трещала кость, и как только он это подумал, хлынула такая боль, что на несколько секунд он потерял сознание.

При нормальном полете, найди Крылов отключенный разъем указателя, Агатов не стал бы отпираться. Да, это он отключил питание указателя, установленного в кабине, и подключил свой прибор. Ничего особенного в этом не было... Ничего особенного, если бы они не попали в грозу. Но кто мог знать, что они попадут в грозу! Они не имели права, им было запрещено заходить в грозу, это нарушение всех правил и, приказов. Он не виноват, что все так обернулось. При чем тут он? Все равно указатель не помог бы. Голицын не верил в этот указатель. И Агатов не верил. Он никогда не верил в эту тулинскую затею.

Когда Крылов крикнул ему, что указатель не работает, Агатов хотел признаться, бежать к Ричарду, подключить разъем, теперь он верил, нет, не то чтобы верил, но вдруг этот проклятый указатель поможет ориентироваться, может, будь указатель исправен с самого начала, ничего бы не случилось. Мысль эта парализовала его. Он мгновенно представил себе, что произойдет там, на земле, все взвалит на него, не выкарабкаешься, они отыграются на нем одном: его затопчут, под суд, конец... Страх сковал его. Страх был отчетливей и сильнее чувства опасности. Может, через несколько минут угроза собственной гибели заставила бы забыть его об остальном, но он не успел ни о чем подумать. Самолет швырнуло, какой-то ящик ударил его по ноге, он видел летящее тело Крылова, и сам полетел куда-то, закричал, схватился за скобу.

Он оказался подле Ричарда. Свистящий ветер неся по салону, — Поздышев открыл люк, и туда, всасываемые воздушным потоком, неслись листки бумаги, какие-то обрывки, веревки, плащи... У стены за креслом болтался на гибком шланге отвинченный разъем. Было чудом, что Агатов увидел среди этого кошмара отвинченный им самим разъем. Казалось, слышно, как разъем перекачивается и постукивает о металлический плинтус. Он увидел над собой Ричарда, почувствовал, как Ричард, схватив под руки, поднимает его, опомнился, вскочил и побежал к люку...

Крылов очнулся, когда Алеша волочил его по проходу. Искаженное, перекошенное лицо Агатова, позади расплывчатая, сдвинутая, как на плохом снимке, фигура Ричарда.

— Кассеты! Кассеты! — закричал Крылов.

— Я возьму, — услышал он голос Ричарда.

— Помоги ему, кассеты указателя! — крикнул Крылов Алеше.

— Мать их так, — сказал Алеша, — нашли о чем думать!

Поздышев отстранил Агатова, давая дорогу Алеше с Крыловым.

— А где остальные? — Крылов уперся в проем люка, но Алеша ловко сбил его руку и, обхватив Крылова, вывалился в люк...

Перед Агатовым была спина Поздышева в синей куртке, перекрещенная ремнями парашюта. Подвижной стеной заслоняла она от него серый клубящийся проем. Размахнувшись, Агатов изо всех сил толкнул плечом в эту спину. Момент был выбран правильно — как раз Крылов и Алеша спрыгнули, Поздышев хотел обернуться, чтобы дать дорогу Агатову и Ричарду, но удар Агатова бросил его к люку, и его втянуло так, что мелькнули только ноги в хорошо начищенных ботинках.

Потеряв равновесие, Агатов качнулся, его бросило по проходу.

Ричард возился с кассетой. Как всегда бывает в таких случаях, ее заело, он рвал ее «с мясом». Рядом самописец бесстрастно продолжал вычерчивать кривую. И эта честная самоотверженность прибора успокоила Ричарда. «Работает?» — вспомнил он голос Крылова и вдруг сообразил: там, в кабине у Хоботнева, указатель не работал! Взгляд его метнулся вдоль проводки, туда, куда только что смотрел Агатов, и он увидел отвинченный разъем питания. Ричард протянул руку, но его обо что-то ударило головой. Раз. Еще раз. Он почувствовал кровь на лице, испугался, увидев Агатова, ползущего к люку, схватил его за ляжку парашюта.

— Питание было отключено! — крикнул он.

Агатов обернулся. Ричард увидел его глаза и все, что там было.

— Так это вы!

— Пусти!

Агатов ударил его ногой и сам упал, рассадив лоб о железный выступ. Он почувствовал, как рука Ричарда, держащая ляжку, разжалась. Агатов схватился за края люка, подтянулся и перевалился...

Будь внизу равнина, Хоботнев пытался бы пойти на посадку, но внизу были горы, теперь он знал это точно, чутьем, выработанным за год полетов в этом крае. Приборы отказали. Был лишь авиагоризонт, по которому он пытался удержать машину от сваливания.

Одна-разъединственная цель оставалась у него — дать время всем покинуть машину. Иногда десяток-другой секунд ему удавалось сохранять высоту. Каким образом, он не понимал, гроза теряла его в этой кутерьме, потом спохватывалась, настигала и принималась швырять. От этой сволочной грозы можно ожидать чего угодно. Хуже нет такой тряски, тут-то люди сильнее всего калечатся. Гроза забирала машину, и с каждым мгновением машина дичала, становилась чужой, страшной. Улучив момент, Хоботнев приготовился, включил автопилот и побежал к люку. В салоне никого не было видно. Он был уверен, что Поздышев и второй пилот не подвели, они сделали все, что можно. Воздухом тянуло к люку. Ему не хотелось прыгать. На земле его ждали неприятности. Он грузно соскользнул вбок: самолет сразу же скрылся в серых клубах. На мгновение ему показалось, что он видит смутную тень, скользящую круто вниз.

Бесчувственное тело Ричарда еще несколько раз с силой швырнуло о стенки. Острая боль заставила его очнуться. Он открыл глаза. В самолете никого не осталось. Он почувствовал это сразу. Вязкая слабость окутывала его. Он не мог пошевелиться. Он чувствовал, что самолет кружится, несется к земле. Его прижимало к стенке, давило к прохладной металлической панели, у самого пола между креслами. И в детстве-то он терпеть не мог карусели, у него всегда кружилась голова. У церкви, возле старых пушек, устраивали карусели. Продавали длинные конфеты... Женя спросила: согласились бы вы увидеть свою смерть? Что он тогда ответил? Какая разница! Сейчас важно думать о другом. Надо выскочить. Выскочить любым способом. Но он не мог пошевелиться. Он не чувствовал своего тела. Оно болело где-то отдельно, рядом, боль была отдельной, и мысли его шли отдельно.

Никто не узнает про разъем, отвинченный Агатовым. Сейчас самолет грохнется, но я не умру. Будет очень больно, может быть, я потеряю сознание, но я не умру. Я очнусь, все равно я очнусь. Рано или поздно я очнусь. Что бы ни было, я останусь. Куда же я могу деться?

Ничего я не успел сделать. Мама! Может, самолет упадет на деревья. Почему они меня бросили? Проклятая кассета! Все из-за кассеты. Мне надо было проверить питание. Крылов предупреждал. Как глупо! Если бы не Тулин!.. Самолет может соскользнуть по откосу, так бывает.

Он почувствовал в руке кассету. Нужно не потерять кассету. Крылов просил. Только бы не умереть полностью. Глаза будут закрыты, а я буду лежать и думать. И слышать. Ну и паскуда же этот Агатов! Я не могу совсем умереть. А если воздействовать на центр грозы, можно ее уничтожить. Полоса ясного неба прорезала тучи, и мы летели бы среди солнца и синевы.

Он зрительно видел эту фантастическую и прекрасную картину: черное грозное небо, набрякшее молниями и громом, и спокойно летящий самолет, а за ним стелется сияющий шлейф чистого неба. Гроза съезживается, ее уничтожают в зародыше, настигая в чреве сгущающихся облаков.

Он успел подумать о Жене, увидеть ее улыбку и рядом с нею лицо своей матери.

Они будут ходить в больницу, кости быстро срастаются. Я стану жить совсем по-другому. Хотя бы начерно просчитать все схемы, мало ли что со мной случится! Надо будет сразу отползти от самолета. Когда мы во дворе гранату взорвали, меня чуть царапнуло. Мама говорила, что я счастливый.

За несколько секунд можно многое понять, и о многом догадаться, и многое увидеть. Сделать ничего нельзя, вот что плохо. Нельзя уже ничего исправить или изменить.

Но если попробовать все начать сначала?

— Ричард, захвати кассету!

Зачем же снова, услышав голос Крылова, ты рванул к прибору? Беги к люку, прыгай! Но ты все равно дергаешь эту кассету и хватаешь Агатова, и он видит в твоих глазах, что ты знаешь .

Может быть, еще раньше тебе не нужно было думать о Жене и Тулине? Или вообще ехать сюда? Но тогда это был бы не ты. Это был бы другой. А если другой, значит, тебя нет, и, наверное, это хуже, чем смерть.

Парашют раскрылся, все остановилось, и Крылову показалось, что он висит, зацепившись за воздух, покачиваясь на высоте. Потом тяжесть ушибленной ноги потащила его вниз все быстрее. Алешу отнесло в сторону, в непроницаемом тумане Крылов не видел никого, не было ни земли, ни неба, он падал среди серых мятущихся клочьев, и казалось, этому не будет конца. Вот они самые, грозовые облака, он мог нащупать рукой их влажную, холодную плоть.

Гроза не унималась. Где-то гроыхало, вспыхивали молнии, озаряя купол парашюта. Только бы все остались живы! Он ненавидел сейчас эту грозу. Враждебная, бессмысленная, снова она ускользнула от них. Торжество ее было омерзительным. Его тошнило от этой душной, беспросветной хмари.

С земли донесся глухой взрыв, болью отдался в сердце.

Внизу потемнело, вдруг открылась совсем близко внизу земля. Огромная, черно-зеленая, она неслась на него с пугающей быстротой.

Он уже различал кроны лиственниц. Ему хотелось закрыть глаза. Но он заставил себя подтянуться на стропах, пытаясь найти между деревьев какой-то просвет и направить парашют туда.

Он старался упасть боком, защищая разбитую ногу, но его перевернуло, стукнуло о ствол лиственницы, и на некоторое время он потерял сознание.

На его счастье, парашют запутался между ветвей, смягчил удар о землю.

Лицо его лежало в мокрой траве. Он услышал, как падают капли. Потом появился острый запах омытой зелени. Открыл глаза. Солнца еще не было, дождь перестал. Отовсюду капало. Звучно перестукивались большие, тяжелые капли. Казалось, в лесу говорят.

Деревья слегка шевелили чистой зеленью. Неподалеку Крылов увидел табун. Кони сбились в кучу. Темно-бронзовые, блестящие крупы сливались с бронзой стволов. Положив головы на спины друг другу, лошади почти не двигались. Большой жеребец с белыми бабками скопил на Крылова черный глаз и фыркнул.

Трава, прибитая дождем, медленно распрямлялась. Чирикнула птаха, одна, другая... Началась своя, лесная жизнь, где никому уже не было дела до грозы. Она прошла, очистив воздух, освежив зелень. Крылов лежал, удивленный этой тишиной, спокойствием.

С какой-то обновленной способностью воспринимать окружающее замечал он краски этого горного леса и красоту коней, стройных, с длинными хвостами, с блестящими гривами.

Жеребец продолжал пристально смотреть, словно спрашивая: что тебе надо?

Теплая, напоенная дождем земля вдавилась под руками Крылова, и не было ничего прекрасней этой земли. Он снова на ней. Ничего ему не надо, кроме этой земли. Разве мало жить, вдыхать ее запахи, чувствовать эту красоту? С отвращением он подумал о грозовом, неверном небе и снова пережил отзвук донесшегося взрыва самолета.

Лишь бы все остались живы! Все остальное ерунда! Перед его глазами возникло: Поздышев подталкивает Веру Матвеевну к люку, его нелегкая подбадривающая улыбка и тоскливый крик Веры Матвеевны. Он чувствовал себя виноватым перед ними. Ради чего они должны страдать и рисковать жизнью?

У подножия этих лиственниц все стало глупостью. Вся его работа, и эти полеты, и опасность, которой подвергали себя люди. Зачем нужно изучать заряды капель? Что изменится от этого в лесу? От того, что будет известно распределение зарядов в облаках, этот лес не станет прекрасней. Все было глупым, мудростью были колонны лиственниц, перестук капель и красота коней.

Ничего не могло быть лучше этого. А вместо того чтобы наслаждаться лесом и видеть небо, люди возятся с приборами и ищут заряды. Слово «поле» давно потеряло для него начальный смысл. Он забыл, что, кроме электрического поля, магнитного поля, есть просто зеленое поле с цветами и пчелами.

Он смотрел, как разбредаются лошади, пофыркивая, наклоняются к сочной траве.

Никуда не хотелось двигаться. Не будь боли в ноге, он лежал бы, смотря над собою вверх, в ленивое шевеление зеленых ветвей. Вряд ли люди станут счастливее оттого, что научатся управлять грозой. Они избавятся от некоторых несчастий, но меньше несчастий — еще не значит больше счастья.

8

Прежде чем отправиться на пляж, они позавтракали на поплавке. Ели обжигающе наперченные чебуреки. Тулин заказал бутылку цинандали. Светлое, сухое вино весело холодило. Из кухни несло горьковатым дымком. Столик стоял у перил, внизу плескалась зеленая волна, в просвеченной глубине толпились стайки большеголовых лобанов, Женя кидала им кусочки хлеба.

Пляж был совсем рядом. Женя ушла переодеваться и вернулась в васильковом купальном костюме, который очень шел ей. Вода была теплая, шумная. Они заплыли далеко, покачались на красных буйках.

Тулин плыл быстро, слегка красуясь своим хорошо отработанным кролем. Потом перевернулся на спину и лежал на воде, закинув руки за голову.

Они выплыли на другой конец пляжа и пошли по горячей гальке, разглядывая курортных дам в темных очках, в немыслимо пестрых купальниках под китайскими зонтиками, весь этот кишачий людями, солнечными брызгами берег, красочный, шумный, тесный. Тулина окликнули московские знакомые, он помахал рукой, но не подошел. Он вдруг удивился — ему сейчас не хотелось быть ни с кем, кроме Жени. Взявшись за руки, они зашлепали по мелкой воде, болтая и беспричинно смеясь, он смотрел на ее темно-коричневый глаз, на свободные, уверенные движения и любовался ею. Приятно было думать, что сейчас с ним происходит что-то особенное, совсем не похожее на прошлые увлечения. Женщины тут были не виноваты: они любили его, влюблялись, страдали, когда он оставлял их. Но сам он почти никогда не принимал их чувства да и свои чувства всерьез.

В сущности, он так же, как и Женя, позволял любить себя, ему нравилось, когда его любят, он старался, чтобы его любили, и только. Его обижало, когда женщины упрекали его в рассудочности. В таких случаях он уверял, что так он относится не ко всем. Затем он говорил, что ученый должен иметь одну-единственную страсть, все остальное мешает. И в глубине души был доволен своей свободой.

Однако сейчас, с Женей, он больше всего вдруг убоился того дня, когда нужно будет что-то придумывать и объяснять и снова оправдываться перед собой, оправдываться работой,

занятостью. И снова все потечет по-прежнему.

Он крепко сжал ее голую руку. Женя посмотрела на него удивленно. Тогда он взял ее за плечи и на виду у всего пляжа поцеловал в губы. Кругом засмеялись, кто-то свистнул. Глаза ее влажно потемнели гневом, но когда Женя отстранилась, лицо ее было весело, она плеснула в Тулина водой и побежала. Васильковый купальник мелькал среди загорелых тел, зонтов, палаток. Тулин нагнал ее, осторожно взял за руку, и эти переходы к тем дружеским отношениям, когда еще ничего не произошло и оба могут сделать вид, что ничего не было, и ожидание того, что должно совершиться, это неустойчивое, изменчивое начало влекло Тулина и казалось ему прекрасным.

Они легли на гальку, Женя подложила под голову сверток.

— Что тут? — спросил Тулин.

Она долго молчала, щурясь на солнце. С неожиданным вызовом сказала:

— Подарок Ричарду. Он давно мечтал иметь рубашку навыпуск, как у вас. Я купила ему. Хотите посмотреть?

— Нет.

— Почему? Красивая рубашка.

— Женя!

Она закрыла глаза.

— Нехорошо это все, — сердито сказала она.

Совсем рядом с Тулиным было ее плечо, смуглое, в песчинках и блесках морской соли, он щекой чувствовал жар ее нагретого солнцем тела. Он решил действовать открыто, наотмашь.

— При чем тут Ричард? Право первого? Такого права не существует. Приоритет соблюдается в открытиях, а вы не открытие Ричарда.

Она поднялась, проговорила как можно тверже:

— Имейте в виду, я люблю Ричарда.

Было в ней что-то просящее и тревожное, и Тулину расхотелось продолжать.

— Пойдемте погуляем.

— Почему вы не отвечаете? — возмущенно спросила она.

— Если бы вы любили Ричарда, вы бы не поехали со мной. А вы поехали. И взяли с собою купальник. Вы все знали. Вы знали, что мы будем лежать на пляже и что я буду вам говорить.

Женя сникла.

— Мало ли что... — Она с отчаянием посмотрела ему в глаза.

Сейчас слова ничего не значили. Все решалось глазами и чем-то еще более сокровенным и точным. Тулин подставил себя под ее взгляд, радуясь, что все у него в душе сейчас открыто и чисто.

— А чего стыдиться, даже если так? Ваше существо честнее, чем вы. По-моему, это безнравственно — не позволять себе чувствовать то, что чувствуешь, и быть с кем хочешь.

— Мы пойдем в парк? — помедлив, спросила она.

— Мне все равно.

— Мне тоже.

Ветви огромных дубов смыкались. Прохладная тень, упруго твердые кусты самшита, легкость соленого воздуха.

— Женя, а если все это по-настоящему?

— Что ж тогда?

Он рассмеялся.

— Ответим новыми успехами. — Ему захотелось быть откровенным. — Я бы мог тогда быть перед тобой слабым, и плохим, и грустным. Я никогда этого себе не разрешаю. Разве уж с Крыловым, ежели припрет; но это совсем не то. Быть самим собою. Не бояться открыться, не думать о том, чтобы тебе понравиться.

«У Ричарда все было иначе, — подумала Женя, — он говорил, что, если я с ним, он станет сильным, будет добиваться, станет великим».

— ...До сих пор я всегда старался выглядеть лучше, чем я есть. Мне казалось, что так меня быстрее могут полюбить. За веселость, за удачливость, за то, что передо мною будущее. Мне нравилось представлять во всем блеске оперения. С тобой я не хочу так.

— Вам это не страшно. Я и так все знаю. Вы можете позволить себе. А я... Что я такое? Рядом с вами понимаю, что я так... практиканточка.

— Ты Женя.

— Странно: вы Олег Николаевич, знаменитый Тулин — и вдруг я рядом. Я все время чувствую, что я слишком маленькая. Я дура, вы ведь мне уже сказали, что я дура. И вы ко мне относитесь как к девчонке.

— Потому что я эгоист. Я думаю все время о своих делах. Вот и сейчас, знаешь, о чем я думаю? Не о тебе, не о нас, а о том, что будет с моей бедной работой оттого, что я влюбился...

Они с Ричардом избегали этого слова — «любовь», считали его пошлым, а Тулин произносит его свободно и громко, и оказывается — это чудесное слово. И никакие другие слова не могут заменить его.

— ...Хорошо, что я не знаю за что... Раньше я всегда знал, кто и почему мне нравится. Красивая фигура. Было весело вместе. Но всегда находилась такая, с которой еще веселей.

Он немного поотстал и пустил ее вперед. Она шла по аллее, то попадая в тень, то вспыхивая на солнце. На ней была полосатая маечка с глубоким вырезом сзади и юбка в черную крупную горошину.

Мокрые коричневые волосы рассыпались по спине. Юбка шелестела, била по ногам. Гравий скрипел под каблуками белых босоножек, и эти простые и милые подробности бесконечно трогали Тулина.

— Непонятно, как я раньше не замечал, что ты такая красивая.

— Потому что я была ведьмой. Ведьма не может быть красивой. Я ненавидела вас.

— Наверно, ты была красивая ведьма. Я уже теперь не помню. Во всяком случае, когда я тебя увидел у беседки, в Москве, ты была страшно симпатичной ведьмой.

— Я тогда была просто студенткой, а ты был... — Она смутилась.

— Ну, кем я был?

— Пижоном.

— Значит, ты все помнишь. Ну, кто был прав? Помнишь, я тебе обещал, что ты будешь управлять грозой вот этими руками.

— Да. Как это все странно.

— Это судьба, — убежденно произнес он.

— Повидаться бы с ней, с моей судьбой. Интересно, чем она сейчас занимается?

Почему-то ей вспомнился Ричард там, на аэродроме. Что он хотел сказать?

Вдали прогремело. Из-за гор надвигалась гроза. Солнце высветило косые полосы дождя. Женя встревоженно прислушивалась.

— Давайте поедем.

У них оставался еще по крайней мере час. И незачем было ехать навстречу дождю, когда можно переждать здесь. Но Женя внезапно заупрямилась, и чем больше он уговаривал ее, тем горячее она настаивала.

Они разыскали шофера на базе и забрались в кузов.

На полпути они въехали под дождь. Тулин предложил Жене перебраться в кабину, она отказалась. Он накрыл ее пиджаком. Теплые струйки стекали по спине, он смеялся, как от щекотки, ничто сейчас не могло испортить ему настроения. Он был рад этому дождю. Ловил открытым ртом капли, пел, дурачился.

— Наш первый день творения тоже начался с грозы. Ну разве это не судьба? Это даже рок!

Женя вглядывалась в иссиня-темное, вздрагивающее от далеких молний небо. Яркие миги освещали разом горы с мокрыми, блестящими деревьями, камни, дорогу, и тотчас снова обрушивалась тьма, гуще и мрачней.

— О фантазия древнего человека! — дурашливо начал Тулин, копируя Голицына.

— Перестаньте! — нервно оборвала она.

— Что с тобой?

— А что, если они... там...

Он засмеялся, отгоняя тревогу.

— Тогда им крупно повезло. Удача преследует нас. — Смеясь, он сунул голову к ней под пиджак. — Ужасно трудно быть счастливым и скромным.

Он снова запел, голос у него был приятный, но иногда фальшивил. С непонятным ей самой ожесточением Женя спросила:

— А как ты теперь будешь с Ричардом?

— Конечно, жалко, что именно он, — беззаботно сказал Тулин. — Лучше бы это был Агатов.
— Он потерялся мокрой щекой о ее руки.

Он любит Ричарда и сделает все, чтобы они остались друзьями. От этого не погибают. Это надо пережить каждому мужчине, вроде боевого крещения. Следующий раз Ричард не позволит отбить свою девушку.

Он был в ударе, Женя против воли улыбалась.

Дождь стучал в намокший пиджак, машина неслась, и Жене хотелось, чтобы не было конца этой дороге, чтобы эта дорога вела в другой, какой-нибудь совсем другой город, где их никто не знает.

9

Гроб несли на руках до самого кладбища и по кладбищу до могилы. Тулина хотели сменить, но он не слышал, он держался за ручку гроба и никак не мог понять, почему гроб такой легкий. Как будто они несли пустой гроб, как будто там ничего не было.

Может, вообще ничего не было и все ему кажется, это плохой сон, сейчас он проснется, умоется и в столовой встретит Ричарда. Надо только проснуться.

Он быстро обернулся и увидел, как мелкие слезы безостановочно текли по щекам матери Ричарда. Ее вели под руки Алеша Микулин и Агатов. Она прилетела утром. Большая желтая сумка болталась у нее на локте.

Выступал Алеша, потом Алтынов. Последним выступал Агатов. Сочный, крепкий голос его был хорошо слышен всем. Читал с листа, четко и торжественно, как приказ. Трагическая гибель молодого таланта... Герой советской науки... Нелепый случай оборвал многообещающую жизнь... В наших сердцах навсегда сохранится дорогой образ нашего товарища... Пример преданности нашему общему делу...

Было жарко. Агатов пропустил несколько абзацев, боясь, чтобы не напекло голову.

— Слишком дорогой ценой расплачиваемся мы за необоснованные теории людей, жаждущих быстрого успеха. — Он горько покачал головой, и многие взглянули на Тулина.

Гроб неумело опускали в могилу. Кто-то сказал: «Вытаскивайте веревки». Мать Ричарда наклонилась, взяла ком земли, но пальцы ее свело, и она никак не могла разжать их и бросить землю на крышку гроба и, смущаясь от общего внимания, судорожно улыбалась.

От этой улыбки женщины заплакали. Наступила та молчаливо-тяжелая и единственно по-настоящему щемящая минута прощания, которая бывает на любых похоронах. Внезапно в глубине толпы произошло движение, шум, плотный круг людей разомкнулся, пропуская всклокоченного, бледного Крылова.

— Разрешите мне! — выкрикнул он как-то безобразно громко.

Агатов вздрогнул, попятился, наступая на кучу земли, не спуская глаз с Крылова и что-то быстро шепча, как заклинание.

— Нет, Яков Иванович, не так, товарищи дорогие, — лихорадочно торопясь, начал Крылов, — Ричард, он погиб не впустую, нельзя так, я вам все могу...

Он остановился, глотая воздух открытым ртом, и вдруг задумался, словно забыв обо всех. В гнетущей тишине слышно было, как кто-то шепнул:

— Оправдаться хочет.

Крылов вздрогнул, очнулся. На него смотрели возмущенно, неприязненно или не смотрели, опустив глаза от стыда и неловкости.

— Наоборот, я принимаю на себя, но именно теперь наша задача — доказать, что мы не напрасно... — Он потряс кулаком в гневной беспомощности.

Вера Матвеевна тронула его за плечо:

— Успокойтесь, Сергей Ильич.

Агатов пришел в себя, держась за крашеную фанерную пирамидку, отряхнул с ног землю, огляделся, не заметил ли кто его испуга, сказал Крылову крепким голосом:

— Здесь не собрание.

Крылов обессиленно махнул рукой и захромал прочь, тяжело опираясь на палку. Проходя мимо матери, он поклонился ей:

— Вам следует знать... — Голос его сорвался на тонкий фальцет. — Он хотел стать настоящим ученым. Он погиб как настоящий ученый. Его имя останется в научных...

Мать Ричарда испуганно отшатнулась.

«Что там?», «Безобразие!» — слышался громкий шепот из задних рядов, еще более увеличивая неприятность происходящего.

Агатов вытер лицо, почтительно взял мать Ричарда за руку.

— Простите нашего товарища, — сказал он. — Гибель Ричарда слишком потрясла нас всех. Его смерть — тяжелый урок! Перед свежей могилой мы поклянемся, что ничего подобного не повторится. Пусть же память о Ричарде станет выше мелкого тщеславия. — Он вдруг подумал, что действительно все могло кончиться ужасней, и он сам мог погибнуть. Голос его дрогнул. — Нет, конечно, Ричард погиб не напрасно, может быть, мы все обязаны ему своими жизнями, потому что прекратятся раз навсегда эти преступные попытки... — Он взял мать Ричарда за руку, слезы выступили на его глазах. — Верьте, мы с вами навсегда!

Он сделал все, что мог, чтобы как-то вернуть церемонию к той торжественной печали, которую считал обязательной при подобной процедуре и нарушение которой было неприлично и оскорбительно для памяти покойника, как будто смерть можно было чем-то оскорбить.

Но в это время издали снова раздался недоуменный и отчаянный выкрик Крылова:

— Да черт возьми, скажите же кто-нибудь, он не ради этого погиб!..

Прикопали пирамидку, возложили венки. Мать Ричарда постояла молча, потом, сопровождаемая студентами и сотрудниками группы, направилась к выходу.

Крылов заступил ей дорогу:

— Извините меня, все получилось не так, но я хотел сказать, что Ричард верил в нашу работу, и мы докажем, что он был прав, вы убедитесь...

Припухшие красные глаза ее глядели на Крылова с неприязнью:

— А мне-то что с того... Вы-то все живы.

Она отвернулась, и Агатов повел ее, поддерживая под руку и рассказывая о выплате страховки.

Мысль о том, что он сам мог погибнуть, не оставляла Агатова. Сегодня могли хоронить его. И все было бы точно так же, и произносили бы те же речи. Но небось Крылов не стал бы высказывать. И Тулин не был бы так расстроен. Никто из них не остался бы у его могилы. Он с тревогой перебирал в памяти близких и знакомых. Кто из них заплакал бы по-настоящему? Разумеется, похороны были бы торжественней, венков прислали бы больше, поместили бы объявление в газете, но все сразу бы ушли с кладбища и по дороге судачили о том, кого назначат на его место. Если бы ему не удалось отцепиться от Ричарда, они погибли бы оба. Хоть в этом-то судьба обошлась с ним справедливо. Почему он должен был погибнуть из-за тулинской авантюры, он, который с самого начала возмущался?..

Но теперь наконец-то пробил его час. Он предупреждал, что все может кончиться катастрофой. Он требовал запретить полеты. Он был прав. Это они, они виноваты во всем.

На выходе из кладбища Агатов обернулся. У могил, поодаль друг от друга, стояли Крылов, Женя, Тулин и Алеша с Катей.

— Вы знаете, почему они там остались? — сказал он матери Ричарда. — Они чувствуют себя виноватыми. Все объясняется всегда самыми простыми мотивами. Выходка Крылова вызвана просто страхом ответственности. Он руководил программой, он командовал. За высокими словами всегда скрываются корыстные интересы, надо только уметь распознать их.

Что хотел Ричард сказать ей перед полетом? Что-то важное, иначе бы он не прибежал и не просил остаться, не настаивал. Теперь каждое его последнее слово, каждый жест приобрели значительность. Женя восстанавливала их в памяти, пытаясь разгадать тайну, погребенную в землю. «Я должен тебе рассказать...» Запыхался, в черных глазах гнев, размахивает тонкими руками. И последнее, такое робкое, отчаянное прикосновение.

Почему она не поняла, как нужно ему немедленно сообщить это «что-то»? Что это могло быть? О чем? Почему именно в ту минуту?

Она расспрашивала Алешу. По его словам, Ричард ни с кем не говорил, сидел в самолете какой-то пришибленный, оживился, когда вошли в грозу, но там было уже не до разговоров. Никогда она не узнает. Никогда! Смерть входила в ее сознание через это никогда.

О чем думал он там, в последние минуты? А она в это самое время слушала, как Тулин высмеивал Ричарда... Она читала укор на всех лицах, обращенных к ней. Ричард просил не ехать, он не хотел ее отпускать. Он так просил. Согласись она, может быть, ничего не случилось бы.

Женя не решалась положить на могилу свои цветы. Даже заплакать не смела. Дождалась,

пока разошлись, шагнула к холмику, заваленному венками, и остановилась.

Неужели это все, что осталось от Ричарда? При чем тут эта могила, венки? Какое отношение к нему имеет гроб, закопанный в землю, и то, что в этом гробу? Где сам Ричард?

Что-то мешало ей наклониться к могиле. Послышались осторожные шаги. Женя закаменела, почувствовала прикосновение к руке, робкое, так прикасался к ней Ричард. Она отпрянула.

— Уйдите, — сказала она Тулину. — Оставьте меня.

— Женя, я не могу сейчас один... Так паршиво. Помоги мне. Приезжает комиссия. Мне надо как-то справиться...

Все о себе, об одном себе. Все для него и все для него. Не Ричард погиб, а у него неприятности.

Она вырвала руку, и вдруг как будто что-то возопило в ней: все из-за него! Он увез ее, поспорил, и Ричард погиб из-за него.

И с размаху она ударила его по щеке так, что голова его дернулась и сам он пошатнулся. Всей ладонью она с наслаждением ощутила боль и тяжесть удара.

У могилы стояли Крылов, Алеша и Катя. Она только сейчас увидела их и они ее. Они смотрели на Тулина. Губы его сомкнулись. На щеке медленно расплывалось красное пятно. Стоило ему пошевеливаться, произнести хотя бы слово, она ударила бы еще. Она била бы его до иступления. Наверное, в такие минуты убивают.

Но он молчал. Он только смотрел на нее, и глаза его становились огромными, во все лицо.

Безмятежный счастливчик, общий любимец, находчивый, навеки застрахованный от любых бед, он стоял на виду у всех, не смея ничем ответить. Он должен был все снести от нее и от всех остальных.

Спазма перехватила ей горло. Она побежала с кладбища, не видя дороги, натываясь на могильные плиты, через кусты, огороды, чувствуя, как он там стоит с багровым пятном на щеке.

Со всей своей энергией и напористостью Агатов помог матери Ричарда оформить документы на выдачу страховки и пенсии, он провернул это дело, несмотря на уйму формальностей.

Назавтра он встречал комиссию по расследованию аварии. Прибыли Лагунов, Южин, Голицын, Чиркаев — представитель авиаконструктора, представители метеослужбы, института. Агатов помогал размещать их в гостинице и до поздней ночи готовил документацию. Спал он плохо, ему снилось кладбище с безмолвными фигурами, почему-то он знал, что стоят они уже несколько месяцев и будут стоять там еще годы, и в этом было что-то угрожающее.

Он просыпался в тоске, слышал, как громко стучат часы под подушкой.

Утром, на улице, он столкнулся с Женей Кузьменко. Она вспыхнула, опустила голову. Сперва он не понял, что произошло, а потом сообразил: они чувствуют себя виноватыми перед ним, она и Тулин. Где они были, чем они занимались, когда самолет попал в грозу?..

Его нагнал Лисицкий, сочувственно пожал руку: как вы были правы!

Это было так искренне, так благодарно, что ночные волнения показались смешными. Значит, все понимали, что он был прав. Он оказался предусмотрительней и умнее и Тулина, и

Крылова. Будь у него больше власти, ничего бы не случилось. И вдруг впервые он ощутил радость своего спасения. Он остался жив, он жив сегодня, сейчас плевать на то, кто там останется после его похорон, будет плакать или нет, он жив, это лучше всяких слез.

Завтракал он вместе с Голицыным и Лагуновым в ресторане. Он заказал заливную осетрину, зернистую икру и выпил две чашки черного кофе.

10

На место падения самолета Голицын не поехал и на первых заседаниях комиссии не присутствовал. Он проверял научные результаты работ тулинской группы. Просматривал материалы, стараясь разобраться в главном — была ли авария случайностью или же она следствие недостатков метода. Агатов удивлялся: чего ради он себя изводит, в этакую духоту просиживает днями за работой? «Наша взяла, вернее ваша взяла, Аркадий Борисович, — говорил он. — Вы были правы по всем статьям, и нечего беспокоиться. Теперь одна задача — наказать этих авантюристов. Вы можете быть довольны». Голицын закричал на него: «Чем доволен, что Ричард погиб?» Вероятно, и остальные думали, что он, Голицын, злорадствует. И Крылов, наверное, так считал. Никто не знал, с какой объективностью Голицын выписывал все обнадеживающее из материалов.

Втайне он получал удовлетворение, обнаруживая провалы, которые предсказывал, натяжки в ходе исследований, преждевременные выводы.

Отклонения — в десятки раз меньше, чем те, которые положено давать молнии. По-прежнему неясно, как происходит восстановление зарядов. Наиболее основательные замеры были проведены Крыловым, но и они недостаточны, остальное шатко, уязвимо, никак не объясняются нехарактерные точки...

Еще в Москве, перед отъездом, позвонил Аникеев, беспокоился за Крылова, Голицын ревниво буркнул: «Поделом ему, поделом», — но дорогой нервничал, ожидая встречи.

Никакой встречи не получилось. Крылов поздоровался отчужденно, так же, как и с другими членами комиссии. Голицын был уверен, что вечером Крылов зайдет к нему в номер, заказал бутылку вина, дыню, виноград. Крылов не появился ни в этот вечер, ни в следующий. Бойтся, как бы не сочли, что заискивает перед членом комиссии? И все равно ему надлежало бы прийти и честно признаться: в их последнем споре он был неправ. Голицын это доказал. Авария доказала.

Заходил Южин, отдувался, расстегивал китель и ругал Лагунова, жару, синоптиков, окаянную свою работу, грозу со всеми этими зарядами-разрядами... По его словам, Крылов держался на комиссии глупо, все брал на себя. Настаивал на том, что указатель должен был сработать, спорил с Лагуновым, талдычил свое, казалось, не чувствуя никакого раскаяния, угрызений совести, вообще катастрофа никак не образумила его, не то что Тулина. Хотя Тулин и не несет прямой ответственности за полет, он удручен, переживает, мучается...

— А Крылов? — спрашивал Голицын.

— А Крылов хоть бы что! — возмущался Южин. — А ведь он фактически руководил программой. И он еще надеется на продолжение работ. Требует! Пусть скажет спасибо, если его не отдадут под суд. Хоть бы Тулина слушался. Тулин понимает что к чему. Парень, конечно, упал духом, но я надеюсь...

— Ну, а что Крылов? — снова перебивал Голицын.

— Дался вам этот Крылов! Я понимаю — Тулин, вот кого жаль, талант, а этот... Нашли по ком убиваться!

Голицын рассердился:

— Талант! Талант далеко не все! Из чего состоит талант?

Последние дни он часто думал о том редком сочетании качеств, из которых складывается настоящий ученый, — воля, умение ограничивать себя, способность радоваться, удивляться, уметь падать, переносить разгром, когда ничего не осталось и надо начинать все сызнова... и еще многое другое, и не как механическая смесь, а соединение химическое, в строгих пропорциях, ибо недостача любого качества обесценивает остальные.

Мать Ричарда передала ему материалы незаконченной диссертации сына. Прочитав, Голицын понял, что Ричард пошел против него, за Тулиным. Там было несколько смелых предположений и любопытные расчеты по заряженности облаков. Не строго научно, но Голицыну не хотелось ничего оспаривать, теперь, после смерти Ричарда, идеи эти обретали какой-то особый авторитет. Да и зачем спорить — Ричард ушел навсегда не только из жизни, он ушел и от него, он умер противником. И Крылов тоже ушел. Лучшие ученики уходили от него. В шестьдесят пять лет он остался один. Были люди, которые под его руководством защищали диссертации, считались его учениками, однако не было среди них ни одного, кто следовал бы за ним так, как, например, у Аникеева или у Дана. И Крылов, по сути, всегда оставался учеником Дана, поэтому он и ушел.

Но ему придется вернуться. Теперь ему некуда податься. Голицын взял перо. Ему было жаль Крылова. И без того Крылову достанется, и крепко. Но остановиться Голицын уже не мог. Подытожил ядовито: «По измерениям выходит, что вообще молнии не существует, следовательно, гроз также не существует, и тем самым проблему борьбы с грозой можно считать решенной».

Выводы получались убийственные по многим пунктам. Вряд ли Крылову удастся их опровергнуть. Лагунов будет восхищен этим великолепным склепом, в котором надолго замуруют подобного рода авантюры. Безукоризненная логика, строгий разбор без мелочных придилок, без педантизма... Почему же не было удовлетворения? И заслуженного покоя, который обычно приходил после удачной работы, тоже не было. Что-то здесь не так, не то...

Перед началом утреннего заседания Крылова позвали к междугородному телефону. Он долго сидел в кабине, прижимал трубку к уху. «Соединяю, соединяю! — кричала телефонистка. — Да говорите же!»

— Я слушаю, алло, — сказал Крылов.

— Сережа... — И наступила тишина.

— Кто это? — спросил он.

Опять в трубке была тишина, полная шорохов, дыхания, и слышно было, как стучит в висках.

— Ты жив? Я только что узнала, что у вас случилось. Сказали — кто-то погиб.

— Наташа? Где ты? Откуда ты? — закричал он.

— Ты жив, здоров?

— Да, да, но как ты узнала? Наташа!

— У тебя неприятности?

— Пустяки, это все пустяки. Ты можешь приехать? У меня тут комиссия. А черт с ней, я сам приеду.

Она долго не отвечала, потом сказала незнакомым голосом:

— Нет, не надо. Я только хотела узнать, что с тобой ничего не случилось.

— Как же так... Погоди... Алло! Алло!

— Почему вы заставляете себя ждать? — возмутился Лагунов.

Крылов вздохнул и посмотрел на него так, будто их разделяли века и Лагунов со своей комиссией находился где-то в доисторической эпохе.

Что мог значить ее звонок? Весь этот год Крылов жил с неубывающей надеждой на встречу. Не хочет с ним видеться. Но она позвонила. Мало ли что могло произойти с ней за год. Она могла выйти замуж, влюбиться, родить ребенка, теперь-то он знал, сколько всякого может случиться за год. Его научила этому Лена. И сама Наташа. Но все же она позвонила.

— Как по-вашему, почему Гольдин не смог выпрыгнуть?

Уйти и лечь, закрывшись от всех, и положить повыше больную ногу, и, может быть, принять снотворного. А еще лучше выпить с механиками так, чтобы забыть все к чертовой матери — и эту комиссию, и Наташу, не думать о том, что будет.

Он успокоился, услышав свой твердый голос. Не стоило злиться. Они здесь делали свое дело. Им надо было узнать обстоятельства гибели Ричарда. Что бы ни происходило, каждый должен выполнять свои обязанности. Одни должны спрашивать, другие отвечать.

Лагунов, приехав, напомнил: «Я вас предупреждал, что все это плохо для вас кончится». Предупреждал. Еще когда Крылов переводился к Голицыну. И Савушкин предупреждал: «Зачем тебе делать из Лагунова врага?» И Голицын его тоже предупреждал... Дальновидные люди. Удивительно, откуда они знали, что с ним будет? Почему он сам ни хрена не знает ни про себя, ни про других.

Он вспомнил лицо Ричарда там, в самолете; так он и не сумел ответить тогда Ричарду, найти слова, которые поддержали бы его, слова-парашюты. Может быть, следовало сказать Ричарду все до конца про Тулина. Не стоило заниматься утешительным враньем и делать вид, что Тулин отстоял Ричарда перед Агатовым.

Он покосился на Тулина: белая рубашка с закатанными рукавами, черные узенькие брюки, остроносые мокасины. За все время так и не удалось поговорить, и Крылову казалось, что Олег избегал этого разговора, на комиссии он отвечал односложно: «да», «нет» — и сегодня сидел молча, непрерывно курил, не участвовал в заседании: ведь он ничего не мог сообщить о том, почему погиб Ричард.

Возницын спрашивал про кассеты — мог ли Ричард успеть вытащить кассеты. Представитель

Главного конструктора Чиркаев спрашивал, правильно ли было в таких условиях заботиться о кассетах. Видно было, что Чиркаев искренне хочет беспристрастно разобраться в действиях Крылова, и Крылов охотно отвечал ему, понимая, что оба они думают о другом — можно ли рисковать жизнью человека ради каких-то кассет.

В ту минуту в самолете Крылову было не до того, но сейчас он не мог не думать об этом.

— В кассетах запись работы грозоуказателя, — сказал он. — Будь у нас кассеты, возможно, сегодня мы узнали бы определенно, что указатель оправдал себя.

— Но ведь указатель не работал, — сказал Чиркаев.

— Значит, указатель на щитке пилота был неисправен, а регистрирующая часть прибора могла работать.

— Как же это могло получиться?

— Не знаю, — сказал Крылов. — Что-то случилось в схеме. Тут могут быть разные причины.

— Почему же вы не устранили неисправность? — спросил Лагунов.

Крылов пожал плечами.

— Вы пробовали когда-нибудь в полете ремонтировать приборы? Я лично этого не умею.

Он понял бестактность своего ответа слишком поздно. Лагунов никогда не летал, и бог знает сколько лет прошло с тех пор, как Лагунов работал с приборами.

— А вот Яков Иванович считает, что ваш прибор несостоятелен, поскольку вся методика несостоятельна. Так? — предупреждая раздраженную реплику Лагунова, сказал Возницын. Для членов комиссии Яков Иванович был специалистом, начальником лаборатории, помощником Голицына.

Крылов посмотрел на Тулина, и многие посмотрели на Тулина. Он сидел, покачивая ногой, и курил.

— Давайте все же уточним схему эвакуации, — предложил Южин.

С помощью Поздышева начали восстанавливать последовательность событий. Южин попросил вызвать Микулина.

— Не только я считаю, что методика несостоятельна, — вдруг вставил Агатов. — Я тут разделяю мнение Аркадия Борисовича.

Голицын что-то буркнул. Нацепив очки, он правил свое заключение.

— Мы к этому еще вернемся, — сказал Лагунов.

Южин задумчиво смотрел на Агатова.

— Между прочим, Яков Иванович, — заметил он, — ведь вы покинули самолет последним. Что делал в это время Гольдин?

Агатов, как бы вспоминая, потер лоб. Пальцы его наткнулись на ссадину, залепленную пластырем. Он снова почувствовал, как ползет, оттолкнув Ричарда, рассадив лоб... Вздрогнув, он посмотрел на Южина. Не было ничего удивительного, что Южин смотрел на его ссадину, но в груди Агатова что-то замерло.

— Это я ушибся, — зачем-то сказал он, чувствуя, как губы гнет искательная улыбка.

Южин продолжал смотреть, и, все более пугаясь, Агатов заторопился:

— Да, да, я видел, Ричард возился с кассетой. Наверное, она застряла. Кассеты часто заедает. У него заело. Знаете, в такую минуту, как назло... — Он не мог оторваться от глаз Южина. Он заставлял себя не смотреть, отвернуться, посмотреть на Лагунова и страшился, что Южин поймет, что он избегает его взгляда. Не надо было ничего говорить. Лучше было сказать, что он не видел Ричарда. Ведь мог же он не видеть Ричарда?

— ...Крылов попросил, и Ричард остался, а кассета застряла, то есть, наверное, застряла, потому что я в точности не знаю. Крылов здесь изо всех сил доказывает — случайно попали в грозу. Ему иначе нельзя. Иначе ему не оправдаться. Указатель-то не работал, тут уж точно известно, что не работал...

— Вы считаете, Ричард мог выпрыгнуть?

— Да, конечно.

— Какой же смысл был Крылову заботиться о кассетах? — спросил Южин. — Кассеты тоже показали бы, что указатель не работал.

Агатов было оторопел, но тотчас подхватил торопливо, словно вспоминая:

— У них давно споры шли, у Крылова с Тулиным. Это всем известно. Думаете, Крылов не понимает, что у Тулина все на песке построено? Прекрасно понимает. Спросите его. Наверное, он хотел Олегу Николаевичу доказать кассетами... Уверяю вас. Теперь-то они, конечно, выручают друг друга. Если бы я знал, я бы отменил приказание Крылова, я ничего не слышал...

Он никак не мог остановиться, хотя чувствовал, что и Южин и остальные заметили его странную говорливость.

— Вы находились рядом с Гольдиным, — не отпуская его взгляда, сказал Южин. — Вы сказали, что видели, как он вынимал кассету? Но ведь от люка до стенда расстояние большое.

— Никак вы меня ловите на чем-то? — Агатов хотел сказать это насмешливо, но сбился на нервно-крикливое. — Я же вам говорил, что я от люка не отходил! Я видел издали. Что ж, по-вашему, издали нельзя увидеть? Вы просто меня хотите сбить с толку. Вам надо защитить Тулина. Я знаю. Потому что я письменно предупреждал вас!

— Вы молодец, молодец, только нервы у вас... Первая авария... — И Южин благодушно хохотнул, снимая неловкость. — Я же для вас стараюсь, — он прошелся вдоль стола, дружелюбно потрепал Агатова по плечу, — чтобы вас ничем не попрекнули.

Агатов выпил воды, успокоился. Заговорили о радиосвязи, о службе прогнозов, как бы между прочим Южин придвинул к Агатову карту с отметками места аварии и мест, где были найдены парашюты.

— Вот здесь приземлился Поздышев, а здесь вы. — Мясистое лицо Южина изображало крайнюю степень благожелательности. — Непонятно, отчего такое большое расстояние.

— Какое это имеет значение? — спросил Лагунов.

— Ну как же? Яков Иванович утверждал, что его швырнуло, он столкнул Поздышева и вывалился сам. А вот по расстояниям не выходит.

Хоботнев с интересом посмотрел на Южина и решил не вмешиваться. Раз Южин так говорит, значит, ему зачем-то это надо.

Агатов вяло убрал руки со стола. Он хотел раскрыть рот и не мог. Он закрыл глаза, чувствуя, что куда-то падает. Но тут раздался голос Голицына:

— В грозových условиях самые невероятные перипетии возможны. В 1955 году зарегистрирован случай, когда парашютиста несло двадцать минут. — И Голицын принялся объяснять механику воздушных течений.

Агатов жадно вздохнул, открыл глаза и сказал окрепшим голосом:

— Надеюсь, вам ясно?

Южин приветливо кивнул.

Ни черта ему не было ясно. Всем своим нюхом он чувствовал, что тут что-то не так, и осторожно тянул ниточку из этого путаного клубка... Оборвалась, а теперь не ухватишь... Ему хотелось засунуть этого мудреца Голицына на время заседания куда-нибудь в шкаф. Проклятый эрудит.

Впервые Алеша Никулин давал объяснения перед полным составом комиссии, со всеми представителями, в присутствии Голицына. Крылов был тут же, и Тулин, и Алтынов; стенографистка записывала каждое его слово, и все эти большие, серьезные люди слушали его с интересом, отдавали должное его мужеству. Он старался отвечать небрежно, как будто участие в воздушных авариях было для него делом привычным и надоевшим, как будто, кроме инструктажа и тренировочных занятий, на его счету были десятки прыжков. Ничего особенного в том, что он вытащил Крылова, даже спас его. Каждый на его месте поступил бы так же. У нас любят придумывать подвиги. Тем не менее он обрадовался, когда от него потребовали подробностей, и, слушая себя, Алеша не переставал удивляться, настолько осмысленны были все его действия.

— Смогли бы вы, например, вытащить кассеты в подобной обстановке? — спросил его Лагунов.

— Конечно, — сказал Алеша. — Подумаешь!

— Верно ли, что Крылов просил вас помочь Ричарду с кассетами?

— Да, точно, — обрадованно вспомнил Алеша и дружески улыбнулся Крылову. — Но не мог же я бросить Сергея Ильича ради этих кассет. Да и вообще... — Он хотел сказать, что считал заботу Крылова о кассетах неразумной и до сих пор считает, но запнулся и замолчал, поняв, что это может повредить Крылову.

— Договаривайте, что «вообще», — насторожился Лагунов.

Алеша не хотел давать Крылова в обиду, он вспомнил тяжесть тела Крылова, плотный, как вода, сырой воздух, засасывающий в проем люка, потом горизонтальную молнию. «Чечеточная», — машинально определил он и вспомнил, как Ричард рассказывал, что горизонтальные молнии достигают длины полутора километров. Разумеется, если бы он, Алеша, остался в самолете последним, ничего бы с ним плохого не случилось, он был уверен в себе, а Ричарда нельзя было оставлять...

— Мне лично эти кассеты до лампочки, — сказал он.

— Что значит до лампочки? — строго сказал Лагунов. — Выбирайте выражения. — Но к членам комиссии обратился удовлетворенно: — Выходит, что даже студент Никулин, лицо

неответственное, и тот не считал возможным из-за кассет рисковать своей жизнью. И жизнью Крылова. В подобных условиях. А вас, Сергей Ильич, это обстоятельство не смутило.

— Минуточку, — вмешался Чиркаев. — А как вы поступили бы на месте Крылова? — спросил он Алешу.

В глазах этого молодого инженера с чеховской бородкой Алеша прочел что-то предостерегающее и понял, что все, что творится на комиссии, не так-то просто и его показания могут много значить в судьбе Крылова, Тулина и всей группы, поэтому ему надо держаться чего-то, но чего именно, он не знал. Ричард, тот не задумывался бы...

— Я бы... — он замялся, — я бы не приказал Ричарду. Потому что, — он вздохнул, жалея того красивого героического Алешу Никулина, впечатление о котором он должен сейчас испортить, — я — это одно, а Крылов — другое.

Голицын, не отрываясь от своих бумаг, вдруг произнес резко:

— И я бы на месте Крылова позаботился о кассетах. А как же иначе? По-моему, каждому научному работнику это понятно. Правильно, что Микулину не поручил. Нельзя. Есть у нас такие — без божества, без вдохновенья.

Слова Голицына все сместили. До сих пор Алеша считал, что Ричард не должен был оставаться ради этих кассет, и вдруг сейчас он подумал, что настоящее геройство проявил именно Ричард и даже Крылов. Хотя это все равно ни к чему не привело. Ему захотелось разобраться во всем этом и поспорить с Ричардом, и оттого, что с Ричардом невозможно было уже поспорить, был прав Ричард. Он еще продолжал относиться к Ричарду как к живому, смерть была чем-то непривычным, не имеющим отношения к миру, в котором он жил, и вот теперь, спустя несколько дней после аварии, он ощутил, что Ричарда нет, что поговорить с ним невозможно и что бы теперь он, Алеша, ни делал, кем бы он ни стал, от этого уже ничего не изменится. Для того Ричарда он так и остался пижоном, стоящим в очереди в кафе-мороженое.

Умело и неумолимо Лагунов собирал факты против Тулина. Заходы в грозовые облака совершались не впервые. Несмотря на протесты Агатова, Тулин уговаривал Хоботнева, приучил экипаж нарушать инструкцию, такая система нарушений рано или поздно привела бы к аварии. На плоскостях, под фюзеляжем без соответствующих разрешений конструкторов устанавливались приборы. А что за история с поездкой Тулина вместе с этой студенткой? Лагунов не скрывал: ему известна некрасивая сторона этого дела и все, что поговаривали про отношения Тулина с Кузьменко. Он произнес целую речь о моральном облике руководителя. Южин ожидал, что Тулин возразит, защитится, но Тулин молчал. Крылов неумело выгораживал Тулина, отпирался, и это давало возможность Лагунову превращать заседания в допросы, вызывать сотрудников поодиночке, создавать атмосферу подозрительности, расследования. Южин видел, что Лагунов на этом деле хочет составить себе репутацию человека, разоблачившего порочность целого научного направления, неумолимого стража государственных интересов. Упоенный своей ролью, он выискивал материалы для привлечения к уголовной ответственности. По многолетнему опыту Южин знал, что, как только начинаешь искать виноватого, а не причину аварии, дело безнадежно запутывается. Южин пробовал вмешаться, предостеречь Лагунова, но Лагунов, любезно улыбаясь, дал понять, что Южину лучше поддерживать председателя комиссии, а не идти против. Это он, Южин, дал разрешение Тулину на полеты в грозу, следовательно, защищая Тулина, он защищает себя. Это он, Южин, получал от Агатова сигналы о нарушениях и не принял никаких мер.

Никто здесь не знал, что еще в Москве Южин по этим же причинам сам отказался возглавить комиссию. Полностью отстраниться от работы комиссии было бы малодушием, он поехал рядовым ее членом, представляя язвительные попреки Голицына: «Предупреждал я вас, не послушали, уговаривали меня» — и обычные поучения тех, кто ни о чем не предупреждал: «Убедились, к чему приводит ваша доверчивость?». Но на месте все оказалось еще сложнее, и сейчас он жалел об излишней щепетильности.

Он чувствовал, что существуют какие-то старые счеты между Агатовым, Крыловым, Тулиным, Лагуновым и даже Голицыным. Несмотря на двойственность своего положения, он все же пытался что-то сделать, ему удалось доказать, что, как бы там ни было, самолет попал в грозу случайно. Чутье подсказывало Южину, что Хоботнев не виноват. Молнией вывело из строя приборы, и было чудом обеспечить эвакуацию в таких тяжелых условиях. Лисицкий и Поздышев отделались ушибами. Вера Матвеевна сломала руку, Крылов повредил ногу, но все могло кончиться куда хуже, могли быть жертвы и кроме Ричарда.

На Хоботнева было страшно смотреть — покинул самолет, оставил там Ричарда, не заметил его... Южин представлял себе хаос, который творился в самолете. Наверное, Ричард свалился где-то за креслами, но Хоботнев не признавал для себя никаких оправданий.

Лагунов требовал отдать Крылова под суд.

— За что? — допытывался Южин.

— Как за что! За халатность. За то, что не обеспечил, за аварию, за все...

Но Южин ловко разделил вопрос — либо отдавать за халатность, тогда работы закрывать нельзя, либо запретить работы, тогда Крылова не судить.

— А разве нельзя и то и другое? Жаль... — Лагунов был искренне раздосадован.

Южину было бы легче, если бы Тулин помогал ему. Но Тулин раскис, видимо, махнув на все рукой... «Состояние его бесполезное», — определил Чиркаев. Некогда поверив в Тулина, Южин не желал признаваться в своей ошибке. Неужели он ни черта не смыслит в людях и Тулин на самом деле слабый человек, пустышка, бабник, обвел его вокруг пальца, пленил своими байками, а этот тип Агатов оказался дальновидцем!

И стойкость Крылова его раздражала, так должен был держаться Тулин, а не этот простак, который делал глупость за глупостью и только восстанавливал против себя Лагунова и Голицына.

В глазах Южина Тулин прочел жалость. С удручающей ясностью, во всех подробностях ему вспомнился тот волшебный день в Москве, когда он так напористо и весело внушал Южину веру в свою удачливость, в успех; и громадное, красного сафьяна кресло, в котором он засел, пока не добился своего.

Вдруг он почувствовал, как непроизвольно пытается принять ту же позу. Это было так стыдно, что он вскочил, но тотчас уселся под удивленно-строгим взглядом Лагунова. «Да что ж это будет со мной?» — подумал он. Солнце резало глаза. Все было нестерпимо ярко, как на съемке: выражение каждого лица, огромные очки Лагунова, большая комната в старых плакатах — все это запомнится, должно быть, навсегда.

— Обстановка в группе была ненормальной, — говорил Агатов. — Вы торопили сотрудников, вы гнали работу, «любой ценой» — это ведь ваше выражение, Олег Николаевич. Ажиотаж.

— А может быть, энтузиазм, — возразил Тулин. — Люди работали героически, они знали, что делают.

Но слова звучали вяло, не попадая в цель. Бесплезно было защищаться. Все было предрешено. Он понял это с той минуты, когда увидел выходящих из самолета Голицына, Лагунова... Они торжествовали. И Южин был с ними. С какой стати Южину защищать его после такого провала; он подвел Южина, и Южин не простит.

Лагунов спрашивал его о разногласиях с Крыловым.

Чуть что, его попрекали Крыловым. Он бы мог легко ответить на это. В сущности, во всем виноват Крылов. Полети в тот день он, Тулин, ничего бы не случилось, он нашел бы выход из любого положения.

Вера Матвеевна прямо заявила на комиссии: «Будь с нами Тулин, он бы что-нибудь придумал». Она твердила свое: «Тулин — счастливчик», по-женски пренебрегая доказательствами.

Нет, он не станет сваливать на Крылова. Пусть все видят несправедливость, пусть говорят, что не повезло, пусть жалеют: все равно ничего уже спасти не удастся. Тему закроют, и попытки Крылова что-то отстоять смешны. А Тулин не желал быть смешным. Тот, над кем смеются, уже не может быть ни значительным, ни опасным.

Сегодня на заседании впервые появился Голицын, и Тулин вспомнил свой злорадный, мальчишеский звонок тогда, от Крылова, и почувствовал, что Голицын тоже вспомнил.

С брезгливой усмешкой Голицын слушал историю с поездкой и как Лагунов разводил мораль, негодовал, мусолил пикантную ситуацию.

Никогда в жизни Тулин не испытывал такого унижения. Рушилось прошлое, будущее, все достигнутое, все, что так блистательно начиналось. Он представлял себе новость, обросшую сплетнями: «Тулин-то как влип!» Пройдет год, десять, а он так и останется: «А, это тот самый, что когда-то оскандалился».

Крылову, Алтынову — им-то что, им нечего терять. Хоть бы скорее кончился этот позор. Он был бы рад, чтобы случилось сейчас землетрясение, взрыв, война, что угодно, лишь бы забыли о нем.

За окнами томилась жара, где-то трубач разучивал Марсельезу, и некуда было деться от пронзительных, оголенных звуков трубы.

В перерыв члены комиссии обходили его стороной. Он чувствовал вокруг себя полосу отчуждения, хуже всего, что он сам не мог переступить ее, подойти к ним, угощать яблоками, как это делает Агатов, даже просто поспорить, быть тем, кем он был для них до сих пор.

Кто-то толкнул его локтем. Рядом шел Возницын. Паша Возницын, приятель, замдиректора института, а сейчас член комиссии, Павел Константинович.

— Скажи Крылову, пусть перестанет упираться, — тихо заговорил Возницын. — Тему все равно прикроют. И нечего дразнить Лагунова. Ты пойми: в таких условиях комиссия никогда не станет взваливать на себя ответственность. Продолжать работы — значит продолжать полеты. Зачем это Лагунову? Кто на это пойдет? Безумие. Лагунову выгоднее разоблачить, наказать, пресечь. Репутация железной руки, научной требовательности. Сейчас у тебя одна задача: выкарабкаться с наименьшими потерями. Нечего покрывать Крылова, ты вылезешь, тогда и ему поможешь.

— Нет, продавать его я не собираюсь.

— Зачем продавать? — сказал Возницын. — Во время пожара спасают что поценнее, а ты диван тащишь. Тактики у тебя нет. Растерялся ты.

— Это верно, — согласился Тулин. — Но ты пойми: одно к одному, как нарочно. А тут еще... — Он покраснел, ему казалось, что отпечаток Жениной руки остался на его щеке. — Господи, как я вас всех увидел нынче! И ты хорош. Поучаешь втихаря. А поддержать там, на комиссии, кишка тонка, да? Во всем соглашаешься с начальством. Тебе лишь бы не портить отношений. Ты с Лагуновым за что угодно проголосуешь.

Литые щеки Возницына опали, под глазами повисли морщинистые мешки.

— Я защищаю интересы института. Если бы я от себя... Приходится быть выше личных отношений. И без того всему коллективу неприятностей расхлебывать на год хватит. Да и что я могу? Кто я такой? Администратор. Ты кандидат наук. У тебя имя. Ты всюду устроишься. А меня турнут — и куда? Билеты в цирк продавать? Другой на моем месте так бы тебя... Эх, несознательный ты человек!

— Дрожишь за свое кресло, напуганный. Все вы напуганные.

— Да, не боец. А кто боец? Покажи мне. С Лагуновым воевать? Извините. Дайте мне расписку, что со мной ничего не сделают, и то подумаю.

— Ну да, ты еще не самое худшее, — усмехаясь, сказал Тулин. — Ты готов стать порядочным, когда обстоятельства позволят.

— Почему я должен больше других? Я понимаю, мне самому не нравится... Видишь, я с тобой откровенно. Не ценишь. Ты еще не пуганный. Заповедник. Ты впервые попал в передрагу, а я, брат...

Тулин молчал.

— Иногда мне снится, — тихо сказал Возницын, — встаю я на каком-нибудь совещании в институте и говорю все, все как есть говорю — до чего ж хорошо! — Он мечтательно вздохнул. Лицо его стало большим и добрым.

— Послушай, Паша... — с надеждой рванулся Тулин, но Возницын отступил, снова румяно-упругий, деловитый.

— Тебе повезло, комиссия исключительно доброжелательная, — быстро заговорил он. — Даже Лагунов держится пристойно. Ты только не дразни его. Все будет хорошо.

Во время обеда с Тулиным за одним столиком очутился Агатов. Оказалось, они оба заказали рассольник и отбивную, и отбивная у обоих была жесткая, и они ели ее без аппетита. Агатов осторожно вызывал на разговор о Южине: почему Южин придирается, подозрителен?

Тулин неуступчиво молчал: «грубо работаешь». Тогда Агатов сказал:

— Это он вас старается выгородить.

— А чего меня выгораживать? — спросил Тулин.

— Ну конечно, вы считаете себя ни при чем, — со злостью сказал Агатов. — Я видел, как вы на комиссии сидели, когда на меня навалились, как будто вы никакого отношения не имеете.

Хотя бы перед Агатовым он заставил себя стать прежним.

— К вам? — Он прищурился и протянул: — Не имею.

Наверное, это было нерасчетливо и неразумно, но он больше не хотел уклоняться; он вложил в свои слова все накопленное презрение к этой бездари, столько времени мешавшей ему. И он был рад, что Агатов почувствовал это.

— Так, так. — Агатов перегнулся через стол. — На меня не удастся спихнуть. — Он говорил тихо, быстро, глаза у него побелели. — Ричард-то спросил меня, правда ли, что вы согласились его услатить.

— Ну и что вы ему сказали? — Тулин старался говорить тем же тоном.

— Правду-матушку, все как было...

Тулин отрезал кусочек отбивной, помазал горчицей.

— ...а остальное он сам понял. Визуально. — Агатов засмеялся, но лицо его оставалось напряженным, он просто произнес: ха-ха-ха.

Тулин положил обратно на тарелку нацепленный на вилку кусок. Он знал, что лучше не спрашивать, и не в силах был сдержаться.

— Что ж он понял?

— Помните, как вы приехали к нам в институт? Капаете, капаете... Умеете вы подшибить человека. Счастье, что я не такой впечатлительный, как Ричард...

Тулин стиснул край столешницы.

— Чепуха!

— Южин интересуется, как да что произошло. А я так думаю, ничего другого, именно тут-то и зарыта собака. Ричард все понял. Все! В молодости знаете как болезненно воспринимают!.

— Так, так, значит, это вы Ричарду наговорили?

Агатов засмеялся, и Тулин понял, что Агатов был готов к этому вопросу.

— А ваш друг Крылов, ведь и он разговаривал с Ричардом...

— Крылова вы мне не трогайте, — сказал Тулин. — Тут у вас не выйдет.

Он положил на стол трехрублевку и пошел к выходу.

У Крылова была одна цель — спасти тему. На поддержку Тулина он уже не надеялся. Тулин сидел, опустив плечи, тяжелый, с перегорелыми глазами.

— Советская наука бесстрашно исследует космос, — говорил Крылов, — забираемся в атмосферу, запускаем ракеты на Луну. И только какой-то двадцатикилометровый слой над землей сделан заповедником трусости.

Он вскарабкивался на патетические вершины, угрожал судом поколений, успехами Запада,

приводил цитаты, неуклюже заигрывал, взывал к совести. Если б он умел хитрить, льстить, заниматься демагогией! С надеждой и жаром он рассказывал о том, чего уже добилась группа: близился решающий этап исследований, разумеется, есть еще много спорного...

— Но я ручаюсь вам, что мы на верном пути.

Лагунов усмехнулся, выразительно подмигнул Голицыну, и Крылов тоже посмотрел на Голицына. Чесучовый пиджак свободно болтался на костлявых плечах старика. Голицын высох, стал серебристо-легким, чуть прозрачным. Скоро год, как они расстались. Здесь никто понятия не имел об их отношениях.

Голицын молчал. Тогда Лагунов, а за ним Возницын принялись убеждать Крылова в необходимости закрыть тему. Возницын намекнул, чтобы он соглашался, и все обойдется, все будет хорошо.

Всех бы устроило подобное решение. Ну выяснилось, что метод несостоятелен, в науке это дело естественное, с кем не бывает. Да, всем было бы хорошо, всем, кроме работы. Если ты от нее откажешься, ей уже не подняться. И Тулину тогда придется туго.

— Вы что же, предлагаете продолжать работы? — спросил Чиркаев. — И летать? Несмотря ни на что?

От его горестного изумления у Крылова что-то дрогнуло, но он упрямо повторял:

— Да, да, да.

— Как же вы можете? Погиб человек, и вы хотите, чтобы мы на это сквозь пальцы: ничего, ребята, не расстраивайтесь, не обращайтесь внимания. Подумаешь, одна жертва! — Чиркаев наливался краской, Крылов видел на его шее и лице шрамы, плохо прикрытые бородой. — Мы не посылали человека в космос, пока не было уверенности в благополучном возвращении.

И вдруг он увидел себя глазами Чиркаева: бесчеловечное, тупое упорство, ничем не обоснованное, идущее против фактов. А что, если... Почему это он, Крылов, один прав, а остальные неправы?..

Он подтолкнул Тулина: что ты молчишь, помогай, ведь это твоя работа.

— Не ерепенься, — ответил Тулин. — Нет смысла.

И потом, когда говорил Голицын, он шепнул Крылову: «Я знаю, что делаю, ты только портишь себе...»

Если сам Тулин молчит, с какой стати они должны верить ему, Крылову, кто он для Чиркаева или Южина? Перед ним снова возникло лицо Ричарда: «Взрослые так много понимают, что они могут ни во что не верить».

— Я вам сочувствую, — сказал Южин, — трудно признаться в ошибках, но что поделаешь, за все надо платить.

— Чем? — спросил Крылов. — Платить надо. Весь вопрос, чем платить.

Южин нахмурился.

— А если снова катастрофа? Снова жертвы? Вы разве можете поручиться и доказать нам, что это невозможно?

— Нет, то есть, конечно, риск есть... Но это обычный риск. На любых производствах бывают травмы. — Он обвел глазами членов комиссии, повсюду натываясь на взгляды осуждающие, неприязненные, и только Голицын смотрел задумчиво и грустно. Крылов шагнул к нему, разом припомнив то хорошее, что связывало его с этим человеком, а через него с Даном, и дальше — с Аникеевым, и дальше — с той ни о чем не подозревающей юностью, когда все так хорошо начиналось.

— Но как же иначе? Мы рискуем. Но мы готовы... Вы говорите — Гагарин. А разве Гагарин не рисковал?

Голицын медленно поднялся, опираясь на стол, шаркая подошвами, вышел на середину комнаты.

— Сергей Ильич, не сомневаюсь: вы готовы, так сказать, принести себя в жертву.

Он взглянул на стенографистку, она отложила карандаш.

— И вы, разумеется, видите в этом геройство! А мне надоели подобные жертвы. Слишком много их было, неоправданных и жестоких. С меня хватит. Вы упрекаете нас, но в данном случае вы олицетворяете старое. Да, раньше вас заставили бы продолжать работы, не считаясь ни с какими жертвами. Десять человек погибло, сто, никого это не интересовало...

— Да, да, у вас, Крылов, культовые позиции, — оживленно подтвердил Лагунов.

Выждав, Голицын продолжал:

— Мне было бы легко, не поступаясь совестью, присоединиться к тем, кто требует наказания. Но в таких делах я не помощник. Я знаю, что у вас не было ни умысла, ни халатности, вы переживаете больше нас. Да и потом, ежели хотите знать, мы все по-разному отвечаем за гибель Ричарда. Убитый один, а убивают всегда многие. Но вот мы принесли в жертву Ричарда, и что же мы получили? Необходимость новых жертв? Как будто новый риск и новые могилы могут реабилитировать идею. Вы, Олег Николаевич, добивались проверки указателя в условиях грозы. Ну что ж, вы проверили. Ваша идея существовала как привлекательная возможность будущего, но вы сами ненужной поспешностью надолго скомпрометировали ее.

— Совершенно верно, — подхватил Лагунов.

Голицын посмотрел на него с досадой, выбросил из-за спины руку, длинную, тонкую, как шпага.

— Боюсь, что наша комиссия слишком большое значение придает формальным моментам. Я убедился, что и Крылов и... — он запнулся, но проговорил твердо, — да и Тулин даже в этом исследовании, несмотря на свои ошибки, показали себя способными людьми. Нельзя, чтобы их зря мытарил. — Взгляд его, устремленный на Лагунова, похолодел. — Это вам не разработка Денисова. Здесь совсем иной уровень. Нас тогда называли неверующими, рутинерами. Тогда принял на себя удар Данкевич. Слишком я стар, чтобы забывать такие вещи.

— Данкевич — замечательный ученый, — весело сказал Лагунов. — Ваши слова, Аркадий Борисович, тронули нас всех. — Лагунов сидел во главе стола, и большие его очки блестели, как две фары. — Но, может быть, вам следовало произнести их раньше. Когда Крылов работал у вас и Гольдин был вашим аспирантом. Ваши воспитанники...

— При чем тут герои, жертвы? — не слушая Лагунова, выкрикнул Крылов. — Это ж просто несчастный случай, и ничего больше. Нет, вы давайте по существу, про нашу тему. — Потный, взбудораженный, он, не обращая внимания на боль в ноге, прихрамывая, бродил

вдоль стола, нелепо размахивал палкой, насакивая на Голицына. Он вызывал на бой, уверенный, что противник не имеет ничего, кроме власти. Облупленный нос его заносчиво блеснул. Администраторы! Чинуши!

Голицын с трудом сдерживался, чувствуя нарастающее ожесточение. Нравственная сторона дела, видимо, никак не трогала Крылова, он оставался единственным здесь, на кого речь Голицына не произвела впечатления. И все поведение Голицына, его рыцарское великодушие не действовали на него. Больше всего Голицына обидела ссылка на Ломоносова, который не испугался после гибели Рихмана и призывал продолжать исследования атмосферного электричества.

— Мы, конечно, не Ломоносовы, — сказал Голицын. — Тем не менее, раз вы требуете, осмелюсь по существу...

Бесстрастно, как на экзаменах, он задавал вопрос за вопросом. Нет... Неверно... Где доказательства?... А мог ли указатель работать при таких режимах?... А при таких?... Но это ниоткуда не следует... Логика его была, как всегда, безукоризненна. Он загонял Крылова в тупик, ибо это были те самые вопросы, которые сам Крылов ставил перед Тулиным. Как мог Крылов объяснить ему сейчас верхние точки кривых, если он сам упрекал Тулина за их необоснованность?

Раскрыв рукопись, Голицын читал вслух заключительную часть своего разбора. Существуют ли... Как понять... Неясно, что имелось в виду... Достаточно ли...

Крылов спохватывался, что-то возражал, пытался как-то выкрутиться, но это была агония. А Голицын читал и читал, выдвигая варианты, на опровержение которых потребовались бы десятилетия.

Для Крылова это еще была его работа, а для Голицына и остальных — труп, и Голицын производил вскрытие, чтобы убедиться в правильности своего диагноза.

Крылов подошел к Олегу — сейчас они остались вдвоем против всех, — потряс его за плечо. Тулин не пошевелился. Плечо было ватно податливым. Крылов стоял за спинкой его стула, сзади Тулин был совсем прежний — заросший затылок, золотистые волосы, стоячий воротничок белой рубашки. А вот с лица он здорово изменился. Изменился или состарился. Может быть, это одно и то же. Меняются всегда в сторону старости.

— Нам надо время, чтобы разобраться, — сказал Крылов. — Мы подготовим ответ. Я уверен, что мы...

— Кто «мы»? — спросил Лагунов.

— Тулин, я, наша группа.

— Почему вы беретесь отвечать за всех? — сказал Лагунов. — Есть руководитель группы. Прошу вас, Олег Николаевич.

Тулин притиснул в пепельнице сигарету.

— Возражения Аркадия Борисовича серьезны. Кое-что можно оспорить, но сути это не изменит. Надо иметь мужество соглашаться. — Он говорил небрежно, легким, чистым голосом, как о чем-то побочном, давно ясном.

— Что ты городишь! — не выдержал Крылов. — В чем соглашаться? Наоборот, тут надо искать. Это же не только ошибки! — Он бросился к Голицыну. — Это противоречия. Мы должны найти объяснения. В них лежит сущность процесса. Я уверен...

— Сережа! — Тулин был терпелив — так отец извиняется за неразумного ребенка. — У нас нет никакого права настаивать. Ни научного, ни морального. Кто скрывает свои ошибки, тот хочет совершать новые. А я не хочу.

— Это честно и разумно, — сказал Лагунов почти радостно. Он добивался своего со счастливой убежденностью — то, что он делает, куда более важное и нужное, чем все то, чем занимались до сих пор Крылов и Тулин и все остальные.

Крылов воспаленно смотрел на его рот, блистающий металлическими зубами. Сам виноват, думал он. Не сумел настоять на своем, удержать Олега от погони за результатом, результатом во что бы то ни стало. Надо было добиваться того, что ты считал нужным. Во всем виноват ты сам. Любую беду можно одолеть, но когда сам виноват, то уж некуда податься.

Теперь он остался в полном одиночестве. Как Ричард там, в самолете. Будь Ричард жив, они стояли б сейчас вдвоем. Но там, где должен был стоять Ричард, было пусто и дуло холодом.

— Боюсь, вы преувеличиваете свою роль, — любезно сказал Лагунов. — Нам трудно не считаться с мнением Олега Николаевича.

В такие минуты Лагунов становился лириком, он ощущал благожелательность, он был так доволен, что мог утешать, и сочувствовать, и говорить самые распрекрасные слова.

Наверное, поведение Тулина было мудрым, потому что сопротивляться в таких условиях было бессмысленно. Крылов это понимал. У него не было ни доводов, ни фактов, ему нечем было опровергнуть Голицына, и, продолжая настаивать на своем, он выглядел упрямым, он лишь усиливал общее осуждение. Он заметил это по тому, как на него старались не смотреть. У Возницына, Лагунова глаза куда-то исчезли, остались безглазые лица. Сколько раз Тулин учил его маневрировать, быть гибким, выигрывать на кривой! Так он ничему и не научился. Он мог уступать, но он не умел отступать. Дурацкий механизм без заднего хода.

Сердце Голицына ныло. Он слишком хорошо знал, куда заводит подобная одержимость. Любая идея, самая ложная, находит своих фанатиков. Перед ним возник печально знакомый вариант судьбы Крылова: хождение по приемным, письма, заявления с нелепой надеждой переубедить, доказать, засасывающая тяжесть и постепенная озлобленность неудачника. Сколько встречал он таких горемычных изобретателей, создателей ложных теорий! Годы и годы убивали они, пытались опровергнуть, обосновать, становясь рабами своих заблуждений, всюду начиная видеть невежество, интриги, заводя папки своей переписки, строка под копирку...

Если б знать, как предостеречь, остановить этого упряма!

Занятый своими мыслями, он не заметил, почему Крылов вдруг заговорил иначе, новым, свежим голосом. Лицо у него просветлело, он стал спокоен, почти весел, смущая своей уверенностью.

И все остальные тоже не поняли, что же произошло с Крыловым. Только что он, осмеянный, ожесточенный, забившись в угол, обреченно листал записи Голицына, и было ясно, что выхода нет и он должен сдаться, и Южин не без облегчения подумывал о том, что надолго избавится от новой ответственности за этих одержимых, и вдруг все переменялось. Как будто Крылов откуда-то узнал нечто такое, отчего все, что бы здесь ни решалось, не будет иметь никакого значения.

— Вы можете закрыть тему. На это сейчас никакой смелости не нужно. Я только хотел предупредить вас — придет время, когда вам будет стыдно за ваше решение. — Он мельком взглянул на Тулина, словно хотел в чем-то удостовериться, и заговорил еще спокойнее: — Мы наделали много глупостей, но принцип правилен. Аркадий Борисович, вы нашли ошибки и полагаете, что этим зачеркнули нашу работу. А я считаю, что вы поставили вопросы, на которые нужно ответить. Все равно кому-то придется на них ответить.

Он был снисходителен и добр. Казалось, он говорил им из будущего, где уже было точно известно, что из всего этого прорастет. Он не чувствовал себя одиноким. Наоборот, он был необходимостью, а все остальное случайностью. Он чувствовал себя свободным, свободным от Тулина, от боязни сказать что-то не то, помешать, напортить ему.

Он видел за окном небо, слепящее знойной белизной, на бульваре сгорали молодые тополя, сухая земля гудела под ногами прохожих, как бубен. А под Старой Руссой, писала сестра, поля затопило, гнила картошка и шли дожди, дожди.

Он остался один, но зато он мог делать то, что хотел.

Голицын попросил дать Крылову несколько дней. Может быть, внимательно изучив материал на основе работы комиссии, Крылов не будет настаивать.

— Мы обязаны предоставить ему эту возможность, — с рыцарским великодушием заключил он.

Его поддержал Чиркаев. Опросив всех членов комиссии, Лагунов сказал, что он готов сделать все, если выяснятся какие-то обстоятельства в пользу этой работы, но сейчас он, как председатель комиссии, вынужден, считаясь с большинством, настаивать на прекращении работ и закрытии темы.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

1

Тело его лежало на кровати, и боль в ноге была длинной и тяжелой, как рельс.

И боль и тело существовали отдельно. Он уходил от них все дальше. Он уходил от Тулина, от неразберихи собственных переживаний, от всей путаницы, какая была на комиссии.

Почему не сработал указатель? Он восстанавливал по памяти монтажную схему. Проводники, колодки, участок за участком, пока не стал ощущать ее, как ощущают собственные мышцы. Что, как, где было расположено в момент аварии? Он сам был указателем. Он входил в сырую свежесть облаков. Трещали молнии. Заряды наводились на пластины, пробивались сквозь фильтры. Лампы подхватывали сигналы. Гудели дроссели. Сотни сопротивлений, конденсаторов, катушек очищали, выпрямляли, усиливали сигналы, и все это в конце концов завершалось движением стрелки. Весь этот сложный организм существовал и работал ради этой простой тоненькой стрелки. Так и человеческий организм — живет, чтобы рождать мысль, поступок. Редко удается жить вот так нацеленно. Без отвлекающей суеты, ненужных разговоров и переживаний. Чтобы не думать про Наташу. Хорошо, что сознание не умеет раздваиваться. Когда думаешь только про вопросы Голицына,

все остальное перестает существовать. Ведь для амперметра существует только сила тока, ни на что другое он не реагирует.

Судя по всему, указатель должен был сработать.

Возражения Голицына были серьезны и аргументированы, разложены по полочкам: верно, неверно. Для старика это была всего лишь сумма сведений, кости скелета...

Скрипнула дверь.

— Спишь?

Крылов закрыл глаза. Вспыхнул свет. Тулин постоял, постоял и снова повернул выключатель. Было слышно, как он прошел, задевая за стулья, с треском распахнул окно.

— Спектакль прошел с успехом. Теперь они такие добренькие, такие добренькие... Голицын предлагает к себе в институт. И тебя возьмет, если попросишь. Даже с шиком. Блудный сын вернулся. Лагунов и тот великодушен. Нет, все же они гуманисты. Какая доброта! Какой жест!

— Послушай, Олег, а как у нас был заземлен датчик?

Тулин засмеялся:

— Пример преданности своему делу. Он героически продолжал выполнять свой долг. Вот он перед нами, простой советский человек!

Крылов прищелкнул пальцами.

— Вдруг двойное замыкание? А? Тогда... минуточку... Нет, не выходит, — разочарованно признался он и открыл глаза.

Тулин сидел на диване, притиснув кулаки к глазам.

— Обрыв в цепи питания — вот что могло быть! — сказал Крылов.

— Теперь ничего нам не поможет.

— Но все сходится. Я могу доказать!

— Зачем?

От этого пустого голоса Крылов растерялся.

— Тогда они должны будут пересмотреть...

— Зачем? — снова тем же голосом спросил Тулин. — Ничего не может измениться. Мертвые не оживают. Мы с тобой прикованы к этому мертвецу навечно. И что бы ты ни доказал, тебе всегда покажут на могилу Ричарда. — Он выругался тоскливо, без злости. Одна горькая мысль не давала ему покоя. — Представляешь себе, если бы указатель сработал? Мы бы с тобой сейчас сидели в Москве в номере люкс и готовили бы доклад. Все было бы наоборот. Завтра конференц-зал, стенографистки, корреспонденты. Агатов, Лагунов заискивают, поздравляют. Южин ходит гоголем: недаром, Олег Николаевич, я в вас поверил. Банкет. Премии. Загранкомандировки... Какая ж это лотерея! И для всей этой сволочи я авторитет, прав — от начала до конца. Почему ж мне так не повезло? За что? Нелепый случай — и такое, такое дело накрылось. Начисто. Три года как проклятый я вкалывал...

— Мало ли что. Надо как-то перенести...

— О, у нас всегда достаточно сил, чтобы перенести несчастье ближнего! — Тулин откинулся к спинке, вытащил конфету. — Хочешь? «Белочка»? Раньше, когда я плакал, мать подсовывала конфетку. Теперь самому себе приходится подсовывать.

— Ты согласился пойти к Голицыну?

Тулин бросил ему конфету. Крылов не хотел никаких конфет, но почему-то не мог отказаться. Теплая, смятая конфета была тошно-сладкой.

— Будешь делать у него то, над чем смеялся, — сказал Крылов. — Нехорошо!

— А что такое «хорошо»? И что такое «плохо»?

— Все равно ты не имеешь права.

— Перестань орать. До чего же вы все любите орать!

Он скинул туфли и начал стягивать рубашку.

— Ты только о себе думаешь, — тихо сказал Крылов.

Из-под рубашки послышался ленивый смешок.

— А может, только о тебе.

— Как? — оторопел Крылов.

Рубашка полетела на стул. Тулин снял брюки, потянулся до хруста.

— Думаешь, шуточки с тобой шутили? За такую аварию тебе могли повесить статью будь здоров. Один ты пошел бы под суд. Но у меня своя корысть — как подумал, что придется к тебе в тюрьму передачи таскать, так говорю: нет, господа, Крылов мне друг, а истины не видно, закрывайте нашу лавочку... — Он кривлялся, выламывался, при слабом свете луны голое тело его зеленовато поблескивало. — Все ради тебя делалось.

Крылов привстал.

— Нечего мной прикрываться. Пожалуйста, оставайся, работай, а я пойду под суд. Впаяют за халатность, но тема наша ни при чем.

Что-то произошло. Они не видели глаз друг друга, но каждый смотрел туда, где были глаза другого, и вдруг Тулин впервые почувствовал нелепость своего тона и, еще не понимая, не веря своему смущению, зябко передернувшись, сказал прежним наигранным тоном:

— Ах ты, христосик!

— Я понимаю, тебе трудно сейчас. Ты отдохни. Это — настроение, — сказал Крылов.

Тулин лег в кровать, укрылся одеялом.

— А знаешь, все логично, — задумчиво сказал он. — Пока у меня шло хорошо, ты дружил со мной и уважал, как уважают всякого удачника. Прибавь к этому, что ты нуждался во мне и я всегда помогал тебе, как мог. А теперь... когда падаешь с седла, становишься последней тварью. Упавшего топчут, и больше всего те, кто поклонялся.

— Нога болит, — сказал Крылов. — А то бы я тебе дал по морде.

Тулин медленно закинул руки за голову.

— Меня уже били. По щекам. Можешь добавить. Лежачего бить удобнее.

— Шут с тобой, — сказал Крылов с трудом. — Тебе сейчас тяжелее... — Он вдруг смутился: а что, если это так? — Ладно, не принимай во внимание. Все это чушь собачья. Пусть делают что угодно. Мне куда хуже видеть тебя вот таким.

Тулин усмехнулся.

— Да ты что ж, полагаешь, что я бы не смог вывернуться, если бы захотел?

— Ну так что ж ты?

— Не хочу.

— Что с тобой, Олег?

Тулин долго не отвечал, потом спросил с интересом:

— Слушай, а зачем тебе все это надо?

— То есть как так?

— А вот так, — повторил Тулин. — Зачем? Зачем ты стараешься?

— Так это ж все несправедливо... и потом — дело. Мне интересно знать...

— Ах, несправедливо, — подхватил Тулин. — Скажи на милость, какой праведник. А я не хочу... Хватит. Мы мучаемся, у нас какие-то нравственные проблемы, а прибыль получает со всего этого кто? Агатовы? Посмотри, как он выиграл на нашей аварии. И Лагунов. У нас высокие цели, творческие мучения, мы жаждем помочь человечеству, а они делают себе карьеру, приезжают сюда выносить нам приговор. Добьемся мы своего или нет, в выигрыше будет Лагунов. Не беспокойся, они проживут в свое удовольствие, ни капельки не терзаясь ни своим эгоизмом, ни беспринципностью или как там еще.

— Ну какое мне дело до них? — Крылов тоскливо вздохнул. — Я ж тебе совсем не про то. Чихать я хотел на них.

— Знаешь ты, юный натуралист, ты мне надоел. Я спать хочу.

Пружины матраца зазвенели. Стало слышно, как за окном трещат цикады.

— Увидим, как ты объяснишь это ребятам, — сказал Крылов.

— Дожили! Ты мне угрожаешь! А я на комиссию сошлюсь. Что с меня взять. Голубушка-комиссия все запретила. Да что там, наши все понимают, смирились.

— А я не смирился.

— Ты? — Тулин присвистнул, но тут же привстал, и Крылов увидел белое пятно его лица. — Кто ты такой? Ах да, ты пророк! Ты ж предсказывал, ты меня уличал, сам Голицын подтвердил твои прорицания. Теперь ты тоже вправе поучать меня. Значит, ты готов без меня продолжать работы? И даже занять мое место? Полагаешь, у тебя есть на это право? Так вот что. Я тебя щадил до сих пор, но я тебе могу открыть глаза. Ты неудачник. На кой черт я связался с тобой? Это же заразительно... Не будь тебя, полет прошел бы отлично. Все это знают. Агатова прислали тоже из-за тебя. Помнишь тогда, в Москве, я говорил тебе. Я так и знал. Не тебе стыдить меня. Он не смирился! Храбрец!.. Тебе нечего терять, вот и вся твоя храбрость. — Тулин неожиданно перешел на шепот: — А кто помешал Ричарда отослать? Ты, ты! Я согласен был отправить его, а ты оставил. Это ты виноват во всем, не я, а ты. Если б ты

не вмешался, он был бы жив.

Заглянула луна. Выбеленные стены стали зелено-белыми, и по полу колыхались зыбкие тени. На шкафу лежал чемодан. Никель замков его блестел. На подоконнике лучился волосатый кактус. Льняная скатерть на столе тоже блестела. Все было очень красиво, как в театре.

Крылов вышел в коридор. В коридоре пахло уборной. Он вышел на крыльцо. Каменные ступени были холодные, и Крылов заметил, что он в одних носках. Он вернулся назад в номер и лег.

Было ли заземление датчика припаяно? Теперь это не играет роли. Может, припаяно, может, его вовсе не было.

Конфета была приторной, и собственный голос казался ему таким же сладким.

— Будет тебе, подумаем насчет возражений Голицына. Я боюсь, что без тебя не осилю, фосфору не хватит. — Он перевел дух, до чего ему было мерзостно от этого заигрывания. — Ну надо же ему ответить. Что ты на меня злишься? Мне хочется как лучше.

Он умасливал его, отбросив всякое самолюбие. Он избегал думать о себе, о словах Тулина, он больше не жалел Тулина, перед ним был человек, которого следовало использовать, взять от него то, что нужно.

Показалось, что он добился своего, они начали обсуждать возможные причины, почему записи не показывали мест, где возникают молнии.

— Нет, не могу, — вдруг сказал Тулин. — Ничего я не могу. Я все представляю себе, как разнесется по Москве...

— Погоди, не мешай, — попросил Крылов, но Тулин не слушал.

— Нет, нет, мне нужно заняться чем-то другим, совсем другим. Если б я мог вообще плюнуть на все. Объясни мне, зачем разрушать грозу? Зачем надо что-то создавать? Зачем указатель?

Вдруг Крылов улыбнулся.

— Ты что? — спросил Тулин, почувствовав в молчании Крылова эту невидимую уличающую улыбку. — А впрочем... И объяснения твои не нужны. Никто ничего не может объяснить. Все бессмысленно. Давай закурим.

— Давай.

Они встали у окна. Тулин зажег спичку, поднес Крылову, пристально рассматривая при свете огня его глаза. Никогда он не видел у Крылова таких глаз, непроницаемо твердых, совсем чужих. Маленькое пламя плясало в черноте зрачков.

— Да, все бессмысленно, — вызывающе повторил Тулин, — и жить надо без всякого смысла. К Голицыну так к Голицыну. Какая разница! Буду жить, как все, ничего выдумывать не желаю. Ну еще один индикатор, ну выясню, что центры возникают случайно. Что от этого изменится?

— Для кого?

— Например, для матери Ричарда. Ничем рисковать и жертвовать больше не хочу. Голицын был прав. Второй раз я жить не буду. Сейчас надо найти что-то быстрое, эффективное. Наверстать. И ты тоже не обольщайся. Уймутся волнения страсти, тогда видно будет.

— Нет, я не могу так оставить, — сказал Крылов. — Я все же попытаюсь разобраться.

— Сам?

— Да.

— Думаешь, что справишься? — с коротким смешком спросил Тулин.

— Не знаю. Но мне хочется попробовать.

— Давай, давай, мне это даже выгодно.

— А как же твоя мечта разрушать грозу, управлять грозой, самолеты в грозу, энергия грозы...

— Ты праведник, вот и благодетельствуй. Только с твоим моральным кодексом ничего не добьешься. Скажи мне, какой смысл быть хорошим, если хорошие люди пропадают? Им всегда хуже. Вот ты следуешь своим высоким правилам, а что в результате? Чего ты добился? Только облегчаешь торжество подонкам.

— Зато я не иду на компромисс.

— Вся-то наша жизнь — компромисс, — сказал Тулин. — Мы никогда не можем быть до конца честными и делать что хотим.

— Я не знаю, какой смысл быть хорошим. А какой смысл быть человеком? Раз уж ты живешь, то живи человеком, а не гусеницей. Не знаю, может быть, для себя надо быть хорошим, может, для других. Я не отказываюсь бороться, только я буду бороться честно, а если я сам буду подлость применять, тогда мне уже не с подлецами бороться, а за свое местечко среди них.

...Невозможно припомнить все, что он делал для Крылова, начиная со студенческих лет, и потом, когда он помог Крылову попасть на завод и в лабораторию и улаживал его размолвки с Леной, заставлял писать диссертацию, выручал деньгами... Развлекал, поддерживал в трудные минуты. Вытащил его сюда, когда он поругался с Голицыным. В их дружбе один все давал, а другой только брал. А теперь, когда первый раз меня тряхнуло, он уличает, обвиняет. Я защищал его на комиссии, а он... До чего ж это страшная штука — неблагодарность, хуже всего переносится! Неужто и после этого я не научусь плевать на всех и думать только о себе?

Здорово быстро все рухнуло. Тр-рах — и не осталось никого и ничего. Только что был ведущим физиком, руководителем большой темы, были друзья, поклонники. Женя, была известность, авторитет. И вот все исчезло. Ни работы, ни друзей, ни будущего. Теперь перед всеми только его ошибки. Поражение оголило ошибки, а была бы победа — и все сомнения и требования Крылова растворились бы в ее сиянии.

Поражение поглощает разом все. Никто не пытается рассмотреть в неудаче когда-то гениально составленную схему датчика, хитроумно добытые приборы, ночи, проведенные за вычислениями, желтые, облезлые от кислоты пальцы.

Он осторожно провел ладонью по щеке, и сразу кожа вспыхнула, словно еще чувствуя ожог от удара. Забавно: впервые за много лет увлекся, и, кажется, по-настоящему, а она с такой легкостью отшатнулась от него. Однако за что его сейчас любить? Сергей был последним убежищем, последней крепостью, последним, что оставалось от прошлого.

Всему виной талант. Талантливым людям всегда плохо. Будь ты побездарней, никто бы тебе не завидовал, никто бы от тебя ничего не требовал, Женя жалела бы, Сергей не был бы разочарован. Видите ли, ты не оправдал их надежд. Но не торопитесь, все еще может перемениться.

...И это тот человек, за которым ты шел без оглядки. Порвал из-за него с Голицыным, лабораторию бросил, работы оставил незаконченными. Прощал его слабости, защищал его перед всеми. Ради него ты мог пожертвовать многим и не пожалел бы. Гордился им — Тулин, твой друг Олег Тулин.

Будь он пустышкой, можно было бы понять его, но ведь он талантлив, зачем же ему так нужен успех, признание, слава, вся эта труха, к которой рвутся агатовы и за которую держатся лагуновы? Зачем такому человеку становиться подонком? Ну-ну, какой же он подонок, он просто устал, обижен, ему надо отдохнуть... Опять ты ищешь ему оправданий. Он сам умеет подыскивать себе оправдания, у него сколько угодно красивых оправданий.

Это всегда странно, и Лагунов был когда-то способным электриком, у него несколько крепких работ. А потом его сделали начальником отдела, председателем какого-то комитета, научился выступать, кого-то громить, и пошло, и пошло. Появились работы аспирантов с его подписью, а потом появлялись только брошюры, интервью «Мои впечатления о конгрессе в Англии», «Ответ мистеру Вайнбергу». Начались хлопоты о выборах в членкоры...

Но то Лагунов, а тут Олег, твой Олег. Старая петроградская квартира на Фонтанке, ночные споры, поход на паруснике по Вуокси, как он плакал после похорон Дана, а как он рвался в Новосибирск. Что же произошло? И когда, когда они разошлись?

Вдруг он почувствовал, что это — прощание. Они ссорились и раньше, они много раз ссорились, но то было совсем иначе. Можно и сейчас рассмеяться и хлопнуть друг друга по плечу: «замнем для ясности», выпить, в шкафу еще стоит бутылка рислинга. А дальше? В том-то и дело, что дальше возникнет то же, они опять вернуться к этой развилке. И тут они распрощаются.

Ты сам виноват, что так получилось. В дружбе нельзя подчиняться, ты хотел сохранить дружбу, уступая, и сам шел на компромисс, чего ж ты его упрекаешь в компромиссах? Ты теряешь единственного друга, лучшее, что у тебя оставалось от молодости, и это непоправимо, теперь уже ничего нельзя изменить, вы расходитесь, и никак нельзя по-другому. «Но ведь это Олег, — сказал он себе. — Ужас, сколько нас связывает. Он-то это переживает, а вот тебе будет без него совсем худо...»

— Серега! — словно из глубины прошлого, донесся этот озорной голос, как будто ничего и не случилось. — Серега, у меня из головы вон, я же видел твою Наташу.

— Где?..

И, выслушав, ответил со спокойствием, радуящим его самого:

— Я знаю. Она мне звонила.

На поворотах свет фар перебрасывало через черную глубь ущелий к зеленым уступам другого берега. Дорога исчезала во тьме и вновь возникала коротким завитком меж светлых откосов песчаника. Крылов стоял в кузове, высматривая набегающий километровой столбы, глаза слезились от ветра. Он ни о чем не думал, ничего не представлял, не строил никаких планов, он весь был погружен в знобкое нетерпение. Легче было перенести годовую разлуку, чем ждать конца этого часового пути. Грузовик мотало из стороны в сторону. Грохотали мосты. Машина ревела, беря подъем. Стоячая лесная теплынь сменялась пронизывающим ветром перевалов. А потом бесшумный спуск, редкие огни долины, за ними слабое мерцание моря, белые корпуса санаториев, дрожащий туман света над городом, и вот уже фонари, лай собак, грохот пустынных мостовых, подъезд гостиницы, долгий стук в дверь, заспанное лицо швейцара, приплюснутое к стеклу. Крылов звонил и стучал, звонил и стучал, пока швейцар не открыл дверь.

— Ну чего безобразничаете? — сказал швейцар. — Нету мест. Ни одной койки.

Нижняя рубаха, свисали подтяжки — маленький, домашний старичок, только голос строгий.

— Мне Романову.

— Нету никаких Романовых.

— Она моя жена.

— Какая может быть жена в три часа? — рассудительно сказал швейцар.

— Я вас умоляю.

Швейцар зевнул.

— А вот за нарушение десять суток.

Крылов вынул из кармана пригласительный билет на Французскую выставку.

— I think you will like me better then.[1]

— Так бы и говорили. Битте. У нас интуристовская. Сейчас администратора разбудим. Битте.

Заспанный администратор, ничего не поняв, передал его дежурной, которая повела его по длинному полутемному коридору, опять было долгое постукивание, шепот, шорох, и все это время Крылов читал на стене правила внутреннего распорядка.

При виде Наташи он даже не смог улыбнуться. Губы его одеревенели, и мускулы лица тоже не слушались.

Наташа испуганно стиснула ворот халатика. Сощуренные от света глаза раскрылись, обдав его блеском, и тотчас погасли.

— Что случилось? Что у тебя с ногой? — спросила она и оглянулась на дежурную.

Он зачем-то кивнул.

— Значит, они вам знакомые, — сказала дежурная. — По-русски они понимают, а разговора у них нет.

— Подожди, я сейчас оденусь, — сказала Наташа.

За низкими оградами, сложенными из плитняка, в садах падали яблоки. Глухой стук раздавался повсюду, как будто невидимые в ночи барабанщики били тревогу. Кривая нагорная улочка вывела к площади.

Крылов рассказывал, как ехал сюда и объяснялся со швейцаром, потом про аварию, про размолвку с Тулиным и снова про ночную поездку, про гостиницу в Ростове, гибель Ричарда. Он никак не мог остановиться. Но лучше бы он говорил, потому что, когда он замолчал, стало совсем плохо.

Эта крепкая, деловитая женщина совсем не походила на ту Наташу, которая жила в его памяти, и говорила она совсем не те слова. Тот же петух на крыше, тот же дом, но там живут другие люди. Незнакомая клетчатая куртка, матерчатые босоножки, знакомое платье, и губы тоже знакомые, большие, темные, только волосы прежние — гладкие, тяжелые. Он с тоской подумал, что мог бы и не узнать ее в толпе.

До сих пор он считал, что главное — встретиться, остальное образуется. Он был уверен, что найдет ее, но ведь она-то об этом не знала и жила так, как будто между ними все кончено.

Он приготовился защищаться, а она и не собиралась его ни в чем упрекать — ну что ж, так получилось, оба они были чужаками, бывает...

На площади стоял маленький памятник каким-то морякам — ростр корабля на бронзовой волне. Они сидели на скамейке лицом к морю. Море было внизу. Зеленая мгла светлела, обозначился черный горб мыса, и за ним шевелились неясные вспыхи, как будто далеко, где-то за горизонтом работал сварщик.

Все было очень просто. Прошел год, старое заросло, и в нынешней ее жизни Крылова не существовало, он стал тем же, что Озерная, Алексей, — грустное, а может, досадное воспоминание.

— Я все делала, чтобы забыть тебя, и забыла, — сказала она.

Не все ли равно, что у нее сейчас, влюблена в кого-то или что-то другое — бессмысленно было об этом расспрашивать. Зачем же она позвонила?

— Что-то шевельнулось. Наверное, я еще тебя как-то люблю, — дружелюбно сказала Наташа. — Вулканическая деятельность.

Она подшучивала без всякой горечи, для нее все было обыденно и просто, как будто они говорили о приятелях. И он не понимал, почему он слушает ее так же спокойно, не кричит, не плачет, и мир не рухнет, и кругом тихо, только падают яблоки.

Совершенно спокойно она рассказала, как ушла от мужа. После отъезда Крылова она поняла, что не любит Алексея, но притворялась, пытаясь сохранить семью. А потом не выдержала и призналась Алексею. И он тоже стал притворяться, чтобы сохранить семью. Ради сына. При посторонних и при Коле они улыбались и разговаривали. Однажды, когда она укладывала Колю, он спросил ее: «Почему ты не любишь папу?» — «С чего ты взял? — сказала она. — Мы очень любим друг друга». Коля отвернулся и сделал вид, что спит. И она вдруг поняла, что ребенок все понимает и не верит. Пройдет год-другой, и он тоже научится притворяться ради семьи. Все они будут сохранять семью, которой нет. Тогда она решила уйти, потому что то, что они делали ради ребенка, было против ребенка. Потому что жизнь во лжи и обмане уродовала хуже всякой безотцовщины.

Может быть, она рассказывала еще скупее, но он представлял себе эти дни и ночи в большой

тихой квартире, заполненные молчанием, а по вечерам, когда приходили гости, громкие разговоры, чай, и как будто все в порядке, счастливая семья. Он вдруг вспомнил, что однажды перед отъездом тоже что-то внушал ей про ее семью, врал себе и ей. А сейчас все оказалось ложью. Одна ложь тянет другую, и целые жизни проходят во лжи.

— И ты уехала на черной «Волге».

— На какой «Волге»?

Она отодвинулась, посмотрела на него сперва удивленно, словно прислушиваясь, глаза ее расширились — два серых клубящихся облака.

— Господи, как ты сейчас похожа на тот портрет!

— Значит, ты приезжал?

Она помолчала, усмехнулась и опять долго молчала.

— А в буфете ты был? — спросила она.

— Был. Кормил Пашку огурцами...

Она вздохнула. Бережно и растроганно они разглядывали свое прошлое.

— Что же будет? — спросил он.

Наташа вынула зеркальце, отвернулась и долго пудрилась.

— Что ж теперь?.. — повторил он.

Она пожала плечами.

Полосатый маяк на краю мыса последний раз мигнул красным огнем и погас. Ветер улегся. Дома стояли тихие, с открытыми окнами.

Крылов согнулся, подпер голову руками.

— Ничего страшного, — сказала Наташа, — ты же прожил год без меня. — Она утешающе погладила его по руке. Лучше бы она этого не делала. От этого прикосновения то натянутое за последние дни до предела натянулось еще сильнее. Все, что он заглушал и прятал от себя — Ричард, Олег, комиссия, Голицын, — все навалилось, придавило. Перед ним разом вспыхнул этот год без нее, улицы городов, куда они попадали и где он упорно искал ее в толпе прохожих, он привык искать ее, почему-то он был уверен, что они встретятся на улице, что он увидит ее издали, подбежит и не надо будет ничего объяснять, она все поймет. А может, он просто привык иметь эту приятную красивую мечту? И сам он после звонка Наташи почувствовал, что все не так, как он представлял. Они стали совсем чужие. Ничего нельзя было исправить, и он не мог ее ни в чем винить. Было только больно и стыдно, что легко принял это. Хорошо, если бы она сейчас ушла.

— Не стоит, Сереженька, не надо, — услышал он ее голос. — Это пройдет. Может, так лучше? Чинить такие вещи нельзя. — Она успокаивала его как ребенка, который не знает еще настоящей боли и настоящей беды.

Вниз по кривой улочке они спустились к гостинице. Палка его скрипела в песке. Они шли и

смотрели на кусок моря между домами. Там что-то гасло и загоралось, словно кто-то недовольно стирал одни краски и наносил другие, подбирая цвета. И вдруг все остановилось, и рядом с мысом, между полоской облачка и горизонтом, протиснулся пунцовый глазок, осмотрелся и, осмелев, стал вылезать, разгребая остатки сумерек широкими алыми лопастями.

— Ладно, — сказал Крылов, — я думал, что ты все поймешь. Где-то ведь должен быть человек, который все поймет.

— Жаль, что это случилось сейчас, когда тебе и без того трудно, — сказала Наташа. Было совсем светло, и он увидел ее лицо, сонное, усталое.

Они подошли к гостинице. Он крепко взял ее за руку.

— Послушай, может, это все глупости? — сказал он. — Я никуда тебя не отпущу. Поехали со мной.

Она медленно покачала головой и улыбнулась так, что ему захотелось ударить ее.

— Надо было это сделать раньше, — сказала она. — Много раньше.

Крылов разжал руку.

— Всю жизнь я совершал ошибки. Олег сказал, что из-за меня погиб Ричард. Они считают, что вообще все из-за меня. И с Даном я тоже виноват. И то, что было между нами, тоже я загубил. И Олег тоже уходит. Почему я всегда делаю ошибки? Чувствую одно, а делаю другое.

«Что это я несу? — подумал он. — До чего ж мне плохо».

Надо быть мужчиной, не мог же он ударить ее или заплакать. Он должен быть мужчиной, единственное, что остается ему, — это быть мужчиной.

— Странно, — сказала Наташа, — теперь мне помнится только хорошее.

Она зевнула, прикрыв рот ладошкой, и после этого они еще некоторое время стояли у подъезда и уже по-другому говорили о всяких разностях, о ее работе, о его работе, и, между прочим, он сказал что убедит Голицына, докажет и рано или поздно полеты возобновят. А Наташа спросила, опасно ли это, он подумал и сказал, что, конечно, какая-то доля риска остается.

На улице было светло и пусто. В такую рань улицы становятся широкими. Пока не появятся люди и машины. Он шел к автобусу. Ему нужно было торопиться. Ему нужно работать. Комиссия скоро уедет. Работать, находить решение, отвечать на вопросы Голицына, а потом опять работать. Его дело — работать, вкалывать, считать, мерить. Ничего другого у него не получается.

3

Всеобщее сочувствие к Тулину усилилось, когда стало известно, что Крылов осуждает Тулина, пошел против него. И это Крылов, главный виновник! На его круглой, обожженной солнцем физиономии не отражалось никаких угрызений совести. «А вы посмотрите на Тулина, — ахала Вера Матвеевна, — как он осунулся!» Шутка ли, потерять все и ни за что.

Тулин меньше всех виноват и больше всех пострадал, он талант. Он держится благородно, мужественно, и в такую минуту Крылов оставляет его, вот цена дружбы...

Жене казалось, что это говорят и о ней, упрекают и ее. Она была виновата перед Ричардом больше всех, и она еще после этого посмела так обойтись с Тулиным. Она не находила себе оправдания. Она должна извиниться перед ним, она готова была на все, лишь бы он простил ее, нет, этого мало, она обязана помочь ему.

Они шли вдоль реки.

На перекате играла рыба. В зеленоватой вспененной толще воды вспыхивала серебристо-длинная тень, быстрая, как взмах ножа.

— Форель? — спросила Женя.

— Наверное.

— Ее на спиннинг берут? Ты ловил когда-нибудь на спиннинг?

— Нет, я не ловил даже удочкой, — сказал Тулин. — У меня никогда не было времени ловить рыбу, ходить на охоту, играть в городки.

Она обескураженно слушала, как он грустно издевался над собой, беззащитный, усталый, потерянный.

— Тебе надо отдохнуть.

— Полезно также собирать марки, спичечные коробки и значки. А может, лучше вышивать, а? Начинать надо по канве болгарским крестом.

Женя почувствовала себя беспомощной дурочкой.

— Чего ты стараешься? — сказал Тулин.

— Смотри, терновник, — сказала Женя, — вкусные ягоды. Попробуй. А терновый венец это из него делали?

— Чего ты стараешься?

— Не могу я тебя видеть вот таким.

Наклонив голову, он оглядел ее.

— Зато тебе все идет на пользу.

Она густо покраснела.

— Ты не можешь меня обидеть. Я сама...

— Ну конечно, на таких, как я, сердиться не стоит.

— Сядем, — сказала Женя. — Я отвыкла ходить на каблуках.

Они присели на мягкий трухлявый ствол когда-то у павшего вяза. Женя скинула туфли.

Тулин смотрел, как ее маленькие босые ступни боязливо опустились в траву. Крепкие, загорелые икры были по-ребячьи исцарапаны.

— Между прочим... — он усмехнулся такому началу. — Так вот, дорогая моя, учти, что на комиссии я заявил, что никаких чувств я к тебе не испытываю, и ты тоже, и ничего у нас не было.

Он не спускал с нее глаз, и она попробовала улыбнуться.

— Ну и что ж из этого?

— Придется нам последовать моей версии. Благоразумие, в том оно и заключается, чтобы вовремя отречься.

— Плевать мне на них! — сказала она. — Я сама себе хозяйка.

— А общественное мнение? А основы и принципы? Что о тебе скажут?

— Э! Что за человек, о котором не говорят.

Тулин нагнулся, сорвал ту травинку, которая касалась ее ноги, и надкусил.

— Хватит прикидываться, — сказал он. — Я вполне заработал, чтобы ты меня назвала подлецом. И вообще сейчас уже тебе нет смысла связываться со мной.

— Как тебе не стыдно! — Голос ее срывался. — Не надо. Не накручивай на себя.

Травинка была горькая, горечь заполняла рот. Он сморщился и сплюнул. Обнял Женю. Губы ее открылись, и яркая белизна зубов осветила лицо.

Он внимательно и долго разглядывал ее.

— А ты славная, — он осторожно поцеловал ее в щеку. — Ну, ладно! — Он поцеловал ее в губы. — Прости меня, пожалуйста.

Коричневая глубина ее глаз светлела и светлела, но смотрела она куда-то далеко, в сторону, с жалостью, неприятно знакомой. И вдруг он вспомнил, что точно такое выражение у нее было на пляже, когда они говорили о Ричарде.

Он отпустил ее.

— Ты о чем сейчас думаешь?

Она посмотрела на него задумчиво, словно возвращаясь.

— Не надо.

— Нет, надо, — ожесточенно сказал он. — Ты думала о нем. Мы оба думаем о нем. Ты смотришь на меня и сразу вспоминаешь его. — Он встал, руки его сжались в кулаки.

Она потянула его за рукав, с силой посадила.

— Послушай, выкинь это из головы. Раз навсегда. Я виновата больше, чем ты. Больше всех. А ты тут ни при чем. И не вмешивайся. Не лезь.

Он с подозрением посмотрел на нее.

— А ты веришь, что я ни при чем?

— Абсолютно, — сказала она. — У тебя просто нервы.

Она поднялась, прошлась по траве, высоко поднимая ноги.

— Если бы можно было всегда ходить босиком...

— Да, — сказал он. — Надо скорее уехать. Как можно скорее. Я тебя встречу в Москве.

— ...и жить в горах, — она встала лицом к солнцу, закрыла глаза, не слушая его. — Скалы тут, как от начала мира. Планета в натуральном виде. Отсюда можно начинать все заново. Разве тебе не жаль отсюда уезжать? — Она подошла, опустилась перед ним на корточки. — Олечка, — она впервые назвала его так, — мы не должны бежать отсюда. Особенно ты. Это же бегство. Если ты все бросишь... — она запнулась и твердо произнесла: — Ты тогда действительно убьешь Ричарда.

— Опять он!

— Ты должен помочь Крылову.

— Идиот он, твой Крылов. Даже Голицын и тот доказал уже. — С каким-то мстительным удовольствием он стал излагать ей расчеты Голицына.

Не сумев ничего возразить, она сказала:

— Неужели ты не можешь чего-то придумать?

— Я ничего и не желаю придумывать. — Он сам не понимал, почему он так разозлился. — Что придумывать? Зачем? Что изменится? Почему я обязан придумывать? — Он схватил ее за руки, больно стиснул их. — Ага, значит, вы на самом-то деле считаете, что я во всем виноват! А хочешь знать? Хочешь? — крикнул он. — Вы сами виноваты. И ты, и Крылов! Да, ты тоже виновата. Это из-за тебя я не полетел!

Она вырвалась, встала, взяла туфли.

— Пусть из-за меня, — сказала она, поправляя платье. — Устраивает? Я не боюсь отвечать.

Трава медленно выпрямлялась за ней. Розовое платье мелькало среди высокой красной колоннады лиственниц.

— Эй! — крикнул он. — Офсайд! Не по правилам!

Он догнал ее.

— Так оно, конечно, удобнее закругляться, — насмешливо сказал он. — Но разрешите все же объясниться. — Он не переставал насмешничать и ломаться, а потом взял ее за локоть.

Найти дорогу к этому солнечному взгорку, зажатому между отвесными стенами скал, она бы, наверное, никогда не смогла, но она запомнила самое место. Светло-зеленые мхи на сером камне, безветренную жаркую тишину, ярко-лиловые колокольчики...

Виляли и скрещивались путаные тропки, был какой-то длинный, бестолковый разговор, и она увидела, как Тулин измучен: когда он усмехался, вокруг рта его появлялись совсем стариковские складки.

Он говорил и говорил, и она никак не могла уследить за его лихорадочной, путаной мыслью.

Высокие колокольчики качались над его головой. Он лежал на траве. Женя положила ему руку на лоб. Тулин закрыл глаза, потом вдруг отстранился и сказал:

— Ричард мертв. Его нет. Я тут уж ничего не могу исправить. Зачем тебе нужно, чтобы он всегда был между нами? Ну зачем?

Тогда она наклонилась над ним.

— Я не знаю, как сделать лучше, ведь я думаю только о тебе, — сказала она честно.

Она презирала себя за эти слова, но ей хотелось как-то помочь ему.

Он взял ее за плечи.

— Нет, нет, это все чепуха... — Он отвернулся в сторону, посмотрел на серый отвес скалы.
— Только не оставляй меня!

Так он обнимал ее, глядя в сторону, и она чувствовала, как плечи ее слабеют, воздух стал горячим, и вдруг она поняла, что ничего ей не нужно было, кроме этих слов.

— Мне все кажется, я его вижу, — бормотал Тулин.

— А теперь? — Она легла и прижалась к нему, заглядывая в глаза со страхом и мучительной решимостью.

Серые острые скалы уходили в небо, как колокольни, и черные ели стояли тоже древние и сказочные. И огромные ярко-лиловые колокола звенели, когда вся эта волшебная страна плыла, покачиваясь сквозь мягкую серую голубизну неба.

Она не хотела возвращаться. Было так жалко и не нужно уходить отсюда.

Все стало крохотным: дома, люди, прошлые переживания. Женя перешагивала через горы, и солнце лежало у нее на плече.

Встречные мужчины пристально оглядывали ее с головы до ног, так, что она чувствовала под платьем свою грудь.

— Походочка у тебя! — подозрительно сказала Катя.

— Какая?

— Как у манекенши.

Женя невинно вздохнула:

— Каблуки.

Сила собственных чувств поражала ее, как открытие. Она была уверена, что Тулин должен испытывать то же самое, и не уставала допытываться у него, за что он ее любит, и как любит, и как у него это все произошло, словно пытаясь через него увидеть собственное сердце.

И вдруг все испортилось.

Начала Катя. Это она утром, наблюдая, как Женя причесывается, не выдержав, спросила:

— Ты уверена, что у него серьезное чувство?

Женя сидела в одной рубашке у раскрытого окна. Холодный чистый воздух щипал кожу, он

напоминал газированную воду, он вздувал рубашку и наполнял все тело, и она казалась себе невесомой, как воздушный шарик, — толкни и полетит.

— Думаешь, он женится на тебе?

Женя тихо смеялась.

— Какое это имеет значение.

— Ты катишься в пропасть!

Женю всегда забавляло в Кате странное сочетание рассудительности и выпренности. В их группе Катя считалась самой целеустремленной. У нее был твердый порядок во всем, в кино она ходила только на девятичасовой, не раньше, не позже. Поведение Тулина настораживало Катю. Несомненно, он и не собирается жениться на Жене, тем более имея дело с такой дурочкой. Куда это годится — бегать за ним потеряв голову, с какой стати так нерасчетливо вести себя.

— Но ты понимаешь, что ему сейчас не до этого?

— А гулять с тобой — это он может? Имей в виду, мужчины не уважают тех, кто вешается им на шею. Тогда они считают себя безответственными. Оставь его в покое, если хочешь чего-нибудь добиться, кроме ребенка.

По-своему Катя была права, и спорить с ней не имело смысла.

— Расчеты, расчеты... — сказала Женя. — Я так не умею. У тебя вся жизнь наперед вычислена. — Она посмотрела в зеркало. — Что такое камея? Он сказал: у меня профиль, как на камее.

— Да, я должна быть расчетливой, — сказала Катя. — У меня нет такой внешности. Я не камея. И отец у меня не инженер. Я всему обязана своей воле. Ты знаешь, при моей язве желудка я должна себя соблюдать, иначе мне ничего не добиться. — Она сердито сглотнула слезы. — У меня во всем диета.

Женя пристыженно расцеловала ее и стала ей укладывать волосы. Само по себе лицо Кати было симпатичным. Просто оно никак не соответствовало ее характеру. Оно подошло бы миленькой, глуповато-беззаботной машинистке, а на Кате оно выглядело как школьное платьице на взрослой женщине.

Сбить Катю было невозможно. Раз начав, она должна была кончить. В лучшем случае Тулин превратит Женю в домашнюю хозяйку, он слишком эгоист, чтобы считаться с другими. В наше время нельзя жить одними чувствами. Надо думать о будущем.

— Искала, искала свое призвание и нашла — быть утешительницей. Ты присмотришь: ему никто не нужен, и ты в том числе...

Почему-то эти слова больней всего задели Женю.

Что бы там ни происходило, а надо было заканчивать и сдавать отчеты и спешить с дипломами. И снова жужжали моторы, весело и ровно потрескивали ртутники. В перерыве посылали кого-то за персиками, бегали купаться, и Лисицкий потихоньку снял парочку ламп с установки, на которой работал Ричард.

С утра Агатов проводил совещание насчет практики. Тут же сидел Тулин, потом зашел Лагунов.

Алеша спросил, почему закрывают тему. Агатов хохотнул:

— Это к нашей теме не относится.

Но Лагунов принялся разъяснять Алеше доверительно, свойским тоном, каким он считал нужным говорить с молодежью. Началась душеспасительная беседа о науке, об образе ученого, всякая тягомотина, которую Женя терпеть не могла. Лагунов повторил, что при Сталине работу продолжали бы, не считаясь ни с какими жертвами.

— Или, наоборот, прикрыли бы так, что всех посадили бы за вредительство, — сказал Лагунов. — Верно? — Он обернулся к Тулину, и тот утвердительно кивнул.

— Преобразования, новое время не цените, — бубнил Лагунов.

— А чего ценить, что не арестовывают? Так ведь это нормально, — сказал Алеша.

— Спасибо, — Катя поклонилась ему, — спасибо за то, что ты добился этого.

Но Алеша распалился. После аварии он чем-то стал напоминать Жене Ричарда, вмешивался, спорил, влезал в такие дела, за которые сам раньше высмеивал Ричарда.

Агатов накинулся на него: молодежь пошла, слишком легко вам все дается, войны не знали, развели тут демократию!

Тулин молчал и рассеянно улыбался. Тогда Женя не вытерпела:

— Может, начать войну для нашего воспитания?

Агатов что-то шепнул Лагунову, они оба усмехнулись, и Лагунов с любопытством стал разглядывать Женю, а Агатов сказал ей:

— На вашем месте я бы держался скромнее.

Тулин слышал это и даже глазом не повел, слово побоялся сказать. Алеша продолжал еще спорить с Лагуновым и спрашивал у него: «Согласен, тридцать седьмой год, но как вы могли допустить это?» — но Жене уже все стало неинтересно.

Как водится, несчастья посыпались одно за другим. В лаборатории споткнулась о ящик, порвала новый капроновый чулок. В сердцах стала разбирать схему и рванула провод так, что полетела колодка. Агатов, конечно, заметил, разорался. Но Женя уже завелась:

— Подумаешь, колодка, вы о человеке не думаете, у меня, может, горе!

Агатов оторопел: какое горе? Женя задрала юбку и помахала перед Агатовым ногой.

— Чулок порвала. Вы никогда не носили капроновых чулок?

Вера Матвеевна прикрикнула на нее:

— Сейчас же извинитесь!

— Хорошо, — сказала Женя и разрыдалась.

Вера Матвеевна заслонила ее, как наседка, и увела к себе, достала штопальный набор в кожаном футлярчике.

— Ваш Тулин — трус! — сказала Женя. — Он эгоист.

Вера Матвеевна показала, как закрепить петлю, а потом сказала:

— Мы, женщины, переоцениваем себя. Мы много можем дать мужчине, но далеко не все.

В ее словах не было ни зависти, ни ревности, а какое-то непонятное Жене чувство, свойственное только женщинам, которым уже за сорок и которые говорят о мужчинах спокойно.

— Однажды я читала сыну сказку про спящую красавицу, — сказала Вера Матвеевна. — Кончила, а он спрашивает, что дальше было. Я говорю: свадьбу сыграли. А дальше? Ну что ему ответить, чтобы было интересно? Наверное, дальше у этого принца ничего хорошего не было. Она оказалась сварливой и отсталой девицей. Шутка ли, проспять столько лет! Все хорошее было, пока он добирался до замка.

Тулин был небрежно-ласков, и было ясно: для него не существует никого, в том числе и Жени с ее любовью. Она поймала себя на том, что любит его руками. Это ужаснуло ее. Значит, кроме всего прочего, она развратная, порочная. Она была низвергнута к тем несчастным, околпаченным девчонкам, которых она всегда жалела и высмеивала. Мужчины на нее больше не глядели. Ноги у нее были толстые и на подбородке прыщ.

Она-то верила, что у нее будет все не так, как у других. До чего ж пошлая получилась история!

А Ричард уверял ее, что Тулин — человек будущего, — вот потеха!..

Они лежали, прижавшись друг к другу, и она ощущала его всего — щекой, животом, ногами, и ей было этого мало, ей хотелось почувствовать его спиной, затылком, чтобы всюду был он, завернуться в него.

— Настоящее только это, — сказал Тулин. — Все остальное — ерунда.

— А я решила, что больше не нужна тебе.

— Ты единственное, что мне нужно.

— А... женщина может много дать мужчине, но не все, — наставительно произнесла она.

— Женщин много, а ты для меня — это... это... Женя, вот ты кто.

Она ему нужна, как все стало просто! Слова тут были ни при чем, она почувствовала это сразу, когда распахнула дверь и успела увидеть его глаза, рванувшиеся навстречу, и сразу ощутила его сухие, вздрагивающие губы на руках, на лице. Она еще пробовала что-то объяснить, но все это уже потеряло смысл. И все же ей зачем-то надо, чтобы он говорил. Когда он говорит про это, она начинает не верить, а когда он не говорит, ей хочется, чтобы он говорил. Почему так?

Она засмеялась, Тулин поцеловал ее в плечо, и она снова засмеялась, чувствуя, как нравится ему ее смех.

Наверное, она все же девчонка, если поцелуй остается для нее событием.

— Выше этого нет ничего, — упрямо повторял он.

— Тебе этого мало, — мягко сказала она.

Он усмехнулся:

— А тебе?

— Мне тоже. Я тщеславна. Мне нужно, чтобы ты стал знаменитостью. Я мещанка и обывательница. Помнишь, ты обещал мне покорить грозу? Помнишь, какой ты был... — Ей хотелось пробудить в нем хотя бы честолюбие. — С тех пор я мечтаю только о таком, который может управлять грозой. Других мне не надо. Я хочу, чтобы твои портреты были во всех газетах и чтобы у тебя был значок лауреата.

— А если я не стану лауреатом?

— Как только ты не станешь лауреатом, я тебя брошу. Я могу жить только с лауреатом. Жена лауреата — это же звучит! Я буду каждый день чистить твой значок, буду перевешивать его с пиджака на пиджак, а вечером на пижаму, а зимой я буду припиливать на пальто, а дома опять на пиджак, я буду все утро и весь вечер занята.

— Подумать только, что я сам когда-то мечтал об этом! — искренне удивился Тулин.

— Почему ты так? Съездим в Москву, можно пойти в ЦК, там разберутся. Они сами тебя позовут, увидишь...

— Не то, это все не то.

При свете луны он казался бледным и похудевшим. Глаза его беспокойно бегали.

— Я хочу тебе все объяснить.

Начав говорить, он успокоился, как-то сосредоточился. Женя любовалась им, ей все хотелось взъерошить ему волосы, потом она спохватилась и стала слушать.

— ...То мне надо было получить диплом, потом степень, потом что-то исследовать. Благодетель человечества! Я всегда был всего лишь приспособлением к своему мозгу. А мозг был механизмом для расчетов. Сегодня иду, смотрю на небо, плывут облака, как старинные каравеллы. Понимаешь, впервые я увидел не диполи, не объемные заряды, а каравеллы. Я хочу быть свободным, чтобы видеть каравеллы. У меня все мозги высохли. Постоянно должен то, должен это, хуже рабства, прикован, как невольник на галерах. Хватит! К черту! Читаю чужие работы — завидую. Не хочу завидовать. Я сам себя как расценивал: сколько сделал, а сколько написал статей? Почему я не имею права просто ходить по земле, любить, сидеть в кино и чтобы не чувствовать при этом, что где-то тебя ждет, ждет работа? Не мучайте вы меня. Я хочу быть как все люди, не желаю я заботиться о человечестве. Я тоже человек. Что такое, по-твоему, человек: цель или средство?

— Средство, — наугад сказала она.

— И Крылов тоже вроде тебя. А ведь человек сам по себе цель. Человек — он высшая ценность, все для него. Ни ты, ни я, мы больше никогда не будем. Мы существуем только однажды. Ради чего я лишал себя простых человеческих радостей? Был бы я гений... А то ведь максимум, что я могу, это обогнать других на полгода. Не я, так другой решит. Сотни людей работают над тем же самым. Ученых нынче хватает... Возьми Алтынова. Какое тебе дело, умеет ли он решать эллиптические функции и сколько у него статей? Тебе что важнее — что у него добрая душа, он честный дядя и любит людей, — вот что важно, человеческое! Это машины оценивают мощностью, производительностью...

Он задумался, и она терпеливо ждала, как всегда ждут женщины мужчин, увлеченных своими

рассуждениями.

«А может, он прав, — думала она. — Разве я могу судить его? Он знает лучше меня. Нет, ничего он не знает. Чего он хочет, он сам не знает. Разве он сможет так жить, просто так? Он пропадет, без меня он совсем пропадет».

— ...Когда человек живет для настоящего, он сделает и для будущего, потому что он больше человек. Понимаешь?

Женя обрадовалась.

— Ну конечно, понимаю, ты за что ни возьмешься, у тебя все пойдет.

Он приподнялся, заглянул ей в лицо.

— Ничего ты не поняла. — Голос его потускнел. — Так элементарно, и никто не понимает.

Волнуясь, она пробовала возражать:

— Мы же все трудимся во имя будущего. Надо иметь перспективу. Наш труд, особенно творческий, служит обществу. Ты имеешь талант, и вдруг так... Если б у меня был талант! Ты ударился в индивидуализм. Конечно, талант в нашем обществе должен быть поставлен в условия... но и мы должны жертвовать, если надо, ради движения...

Ей не хватало слов. Она не умела спорить на такие темы, он легко сбивал ее, а ей подвертывались только унылые, стертые фразы.

Она чувствовала, что сейчас, здесь, на ее глазах совершается непоправимое: он отрывал от себя то, что составляло его душу, весь смысл его жизни, его самого, того Тулина, которого она любила. И она никак не могла переубедить его.

— Ты о чем думаешь? — спросил Тулин.

— О тебе, конечно, о тебе, о ком же еще можно думать? — со злостью сказала Женя. — Ты единственная цель.

Вскоре Тулину позвонили из Москвы, и он появился перед Крыловым вместе с Женей, сияющий, взбудораженный. Кажется, порядок. Его — тьфу, тьфу, тьфу! — берут на работы, связанные со спутником, ребята за него шуруют, обеспечат. Ведущее задание эпохи. Можно реабилитироваться в два счета.

Крылов сидел за столом, заваленным пленками, рулонами осциллограмм, таблицами, старательно рисуя кораблики, десятки корабликов, сотни корабликов...

— Загнал тебя старик в угол? — спросил Тулин.

Крылов принужденно улыбнулся, потер красные веки.

— Ты когда уезжаешь?

— Завтра, — сказал Тулин. — Вызов сегодня придет. Завтра вылетаю.

— Оставь мне материалы по указателю.

Он держался твердо, но Тулин не верил ему.

— Будешь пыхтеть? Надеешься осилить?

— Тут надо искать. Тут надо терпение, — сказал Крылов.

Тулин подмигнул Жене.

— Терпение — достоинство ослов. Нет, я шучу. Я ж тебя все равно люблю, бедолагу. — Он присел на ручку кресла, обнял Крылова за плечи и обнял Женю. — Ничего не поделаешь, таковы правила игры. Либо — либо.

— А если у меня получится? — сказал Крылов.

Тулин присвистнул.

— Тю-тю... Получится на бумаге — не получится с начальством. Комиссия, закрыв тему, будет настаивать на своем. Акт комиссии утвердит еще более высокое начальство, и они тоже не захотят выглядеть дураками. Да и кто тебе разрешит тут чикаться с этим делом? Если ты не вернешься к Голицыну, тебя закатают в какую-нибудь дыру.

— При чем тут это! — с досадой сказал Крылов. — При чем тут начальство!..

— Ах да, конечно, тебя занимает чистая наука. Но таковой не бывает. Но допустим даже, что кругом ангелы, которые жаждут прогресса. Так вот что: тебе придется начинать все сызнова. Оборудовать самолет, сколачивать группу.

— Ты должен помочь Сергею Ильичу, — сказала Женя.

— А я не отказываюсь. Когда все это произойдет, можете рассчитывать на мою помощь. Почему бы нет? Только, я надеюсь, к тому времени я вытащу тебя из очередной лужи.

Крылов хотел встать, но Тулин плотно сидел, мешая сдвинуть кресло.

— Ты тоже учти... — сдавленно начал Крылов, но Тулин, улыбаясь, вспомнил:

— А как твое свидание с Наташей?

И Крылов осекся. Выходит, и Наташей он обязан Тулину, он был обязан ему множеством услуг, всегда он был чем-то обязан Тулину.

Все же он поднялся и сказал:

— Я тебя предупреждаю... То есть хочу, чтобы ты знал. Если ты уедешь, то я не возьму тебя назад...

В первую минуту Тулин ничего не понял.

— То есть как это? Куда не возьмешь?

Крылов покосился на Женю.

— Ну, если у меня все получится и ты захочешь вернуться.

Только сейчас Тулин уразумел и расхохотался. Настолько это было смешно, нелепо, фантастично, что Тулин смеялся, всхлипывая от удовольствия, и Женя тоже смеялась, и даже Крылов пристыженно улыбнулся.

Тулин ткнул его кулаком в живот.

— Ах ты, чудило! Ну ладно, не расстраивайся.

На улице Тулин оглянулся. Сквозь раскрытое окно было видно, как Крылов сел к столу, стиснул голову руками, и Тулину вдруг померещилось, что и впрямь Крылов его куда-то не принимает. Женя что-то сказала, и звук ее голоса напомнил ему тот разговор в машине под дождем, когда они возвращались, еще ничего не зная о катастрофе, а ему казалось, что он знает все, что будет, и распоряжался этим будущим.

4

Самолет уходил в семнадцать часов. Южин и Голицын прогуливались по скверу. Лагунов и остальные члены комиссии отбыли для доклада в Москву еще третьего дня, Южин задержался, инспектируя аэродромную службу, Голицын консультировал аэрологов.

Они шли по дорожкам, усыпанным хрустким ракушечником, мимо кустов отцветающих роз и мечтали о сырых, холодеющих лесах Подмосковья, где сейчас самое грибное время. Голицыну не верилось, что через несколько часов он будет у себя на даче. Глядя на расписание, он понимал, что так оно и будет, но свыкнуться с этим так, как Южин, не мог. Подобно большинству людей, Голицын жил в двух разных географиях. Одна школьная, усвоенная еще в гимназии по контурным картам и рассказам великих путешественников, — меридианы, тропик Козерога, континенты, где человек — песчинка, затерянная в пространствах джунглей, пустынь, бескрайних земель. Вторая география — это география аэродромов, авиалиний, реактивных самолетов, где тысячекилометровые расстояния сжимаются в часы и человек перелистывает страны, как листы атласа. Когда в прошлом году Голицын прилетел в Берлин, шляпа его еще была влажной от московского дождя.

Несовместимые скорости с удивительным спокойствием соседствовали в повседневной жизни. Доехать от дачи до института занимало столько же времени, сколько потребовалось бы, чтобы добраться отсюда до Москвы.

Беседуя об этом, они направились к зданию вокзала, когда к ним подбежал Крылов. Он растолкал провожающих. Пальцы его сжимали вечное перо. Он наставил его на Голицына.

— Статистика, — блаженным голосом сказал он. — Статистически выходит, что импульсы маловероятны. Все очень просто. Один к десяти миллионам. Конечно, мы их упустили. Вот смотрите, как получается.

Он взял у Южина газету и начал писать на полях. Чернила расплывались, и Южин ничего не мог разобрать, но Голицын брал у Крылова ручку и что-то подчеркивал и исправлял, и Крылов опять отбирал у него перо, и они говорили, перебивая друг друга, и каждый тянул газету к себе.

— Позвольте, что же вы показали? Что именно? Что расчетных отклонений вообще нет?

— Да, да! — с восторгом подхватил Крылов. — Они настолько редки, что у нас они и не попадали на прибор.

— Но согласитесь, это более чем странно, — сказал Голицын. — Вы доказываете, что они есть, тем, что их у вас нет.

— В том-то и дело!.. Статистически это получается. У нас их и не могло быть.

Голицын посмотрел на его растерянно-счастливое лицо и присел на скамейку, у него закололо в груди. В правом кармашке у него был валидол, надо было бы принять, но ему не хотелось показывать свою слабость при всех.

На Крылова смотрели укоризненно.

— Что происходит? — сердито шепнул Южин Крылову. — Подумаешь, сенсация, могли в письменном виде.

По радио объявили посадку. Южин взял Голицына под руку и повел на летное поле. Крылов шел рядом, не переставая говорить. У трапа они остановились. Южин распрощался со всеми и поднялся на ступеньку.

— Аркадий Борисович, нам пора.

Голицын и Крылов посмотрели на него почти бессмысленно.

— Ах, да, — опомнился Голицын. — Минуточку.

И снова зашагал с Крыловым мимо самолета по солнечным бетонным плитам.

— Безобразие! — сказал Агатов. — Он же псих, только напрасно волнует старика. Я его сейчас попрошу.

— Я сам, — сказал Южин.

Он спустился с трапа и подошел к ним.

— Простите, Сергей Ильич, нам надо садиться.

Некоторое время они задумчиво смотрели на него. Голицын взял Южина за пуговицу.

— Допустим, что так, — сказал он. — Допускаю. А что значит, что зон мало? А?

— По-моему, — сказал Крылов, — это усиливает возможность воздействия.

— Но их труднее обнаружить.

— Аркадий Борисович!

— Подождите, — сердито сказал Голицын и вдруг, увидев Южина, и аэродром, и самолет, сконфузился, не успев даже «напустить чудика». — Знаете, генерал, я задержусь, тут крайне важно.

— Что, получилось у него что-то? — спросил Южин.

Голицын нетерпеливо поморщился:

— Проверить надо, проверить.

— Но как же, вас будут встречать, Аркадий Борисович.

— Я следующим рейсом, следующим.

Южин внимательно смотрел на Крылова. Его поразило, что в голосе Крылова не чувствовалось торжества.

— Вас можно поздравить?

— Нет, что вы. — Крылов засмеялся, чуть нервно, легко, беспричинно. — Еще далеко. Это страшное дело — иметь такого противника, как Аркадий Борисович.

— Будет вам! — прикрикнул Голицын. — У меня времени нет.

Южин еще попытался спросить про билет и багаж, но Голицын посмотрел на него так, как будто ему предлагали «козла» забить. Они нетерпеливо попрощались с Южиным, и тотчас же их лица стали одинаково отрешенными. Какое-то удивительное сходство роднило их, у Голицына то же жадное любопытство, что и у Крылова, словно они были единомышленниками, а не противниками. Поднимаясь по трапу, Южин оглядывался. «Что заставляет их заниматься этими вещами, забывая обо всем на свете?» — спрашивал он себя.

И, опустившись в мягкое кресло, он продолжал думать о таинственной силе, владеющей их помыслами и чувствами. Он испытывал к ней скрытое почтение. Это была та особая высота, с которой, вероятно, и Лагунов, и Южин со всей их властью, и судьба Крылова — все представлялось малозначительным. Там царили свои ценности, свое понимание счастья. Не от мира сего, но для мира сего. Древняя неутолимая жажда познания, творения, которая лежала в основе жизни. Тот же Крылов — зачем ему это, что мешало ему свернуть на мирную дорогу прощения и даже признания и всяких благ?

5

От Тулина пришла телеграмма из Москвы, и Женя собралась ехать. Практика заканчивалась. Катя заедет к родителям, Алеша решил махнуть к морю, а она поедет в Москву.

Вечером она зашла попрощаться к Крылову.

— Ну как? Эврика? — Женя кивнула на стол, заваленный бумагами.

Крылов потянулся.

— Пока не светит. — И, радуясь передышке, стал приседать и размахивать руками.

После того как он проговорил несколько часов с Голицыным, выяснилось, что идея-то неплоха, трудно просчитать и доказать, что возможно измерить отклонения.

— Я бы задержалась помочь вам, — сказала Женя, — но я получила телеграмму.

— Ну, как он там?

Она заметила, что на него не произвело никакого впечатления новое назначение Тулина и тот внимательный прием, который оказали Тулину в Москве.

— Вы, пожалуйста, не думайте, что я с ним полностью согласна, — сказала Женя.

— У меня к вам просьба, — сказал Крылов. — Зайдите в институт к Песецкому, передайте письмецо, может, он осилит это уравнение.

Женя смотрела, как он писал, вздыхая и высунув кончик языка. На краю стола стояли пустые бутылки из-под кефира, на полу у измятой кровати пепельница, на подоконнике старенький кофейник, оставшийся от Тулина, и электроплитка.

— Давайте я вам сварю кофе, — вдруг сказала Женя.

Крылов что-то буркнул.

Она умела хорошо варить кофе. Единственное, что она умела по хозяйству. Крылов пил, закрывая от удовольствия глаза. Женя улыбалась. Ей было грустно.

Как славно могло быть, если бы она полюбила Крылова! Строго говоря, он даже чем-то милее Тулина. Девочки из метеослужбы вздыхали по нем, и Зюечка из ресторана... Только его почему-то стесняются. Они жаловались, что с ним нельзя так просто болтать, как с Тулиным. В этой стране любви, куда она попала, существовали необъяснимые законы — вот рядом славный человек, а полюбить его невозможно ни при каких обстоятельствах. Катя, та, например, может влюбиться в Крылова, а в Тулина нет, а она, Женя, наоборот. Почему?

— Все уезжают, — сказала она. — Лисицкий говорит, что вас тоже куда-нибудь пошлют. Вам надо действовать самому, а не дожидаться. Хотите, мы в Москве пойдем к начальству насчет вас?

— Да, конечно, — рассеянно соглашался Крылов, и Женя понимала, что это его несколько не занимает. Лисицкий окрестил его снисходительно — «мученик науки», Алеша защищал его, но последнее время о Крылове все чаще говорили покровительственно, как о чуде, обреченном, несчастливом.

Когда она шла сюда, ей было стыдно: вот она уезжает в Москву, а он остается вместе с Ричардом и с той работой, которой занимались и Ричард, и Тулин, все они.

А оказалось, что все это для Крылова попросту не существует. Ни ее стыд, ни эти разговорчики, ни успех Тулина в Москве. И от этого она почувствовала невнятную тревогу...

— Но так, как вы думаете про Тулина, тоже неправильно, — сказала она.

Крылов молча смотрел на нее. Его круглое лицо сейчас было очень добрым и усталым.

— Я бы его попробовала уговорить.

Он развел руками, заходил по комнате.

— Зачем?

Видно было, как тягостно ему говорить об этом.

— У нас снова будут неудачи и всякие ошибки...

Она не подозревала, что он может быть таким жестоким.

Он стукнул кулаком по столу, ему легче было объясниться жестами, чем произнести эти слова.

— Олег для этого не годится.

— Вы обижены на него?

— Нет, хуже. Он мне просто не нужен. — Крылов угрюмо опустил голову. — Он мне мешал бы. — Он посмотрел на нее исподлобья. — Наверное, это некрасиво с моей стороны...

— Я понимаю. Я вас понимаю, — сказала Женя. — Вы знаете, мне совестно, что я вот так уезжаю...

— Ну, а это чепуха, — сказал Крылов. — Не думайте об этом.

А о чем же ей думать? Она шла по улице, потом вдоль реки, мимо всякого моста. И так она слишком мало думает.

Она не заметила, как пришла на кладбище.

Белые кресты, пирамидки из крашеной фанеры с никелированной звездой наверху. Выжженная солнцем трава. Маргаритки в зеленой боржомной бутылке. Осевшая могила Ричарда. Кольца засохших венков. Фотография под стеклом уже пожелтела. Синие горы, леса, а наверху воздушная дорога в реве взлетающих самолетов, а еще выше багровая звезда, кажется Марс. Так и будут отныне проходить годы над этой могилой.

Человек умирает, песок остывает согретый,

И вчерашнее солнце на черных носилках несут.

Кто-то читал ей эти стихи в Москве, на катке, тогда это были просто красивые стихи.

Снова будет Москва, Тверской бульвар, какие-то встречи с Тулиным, защита диплома, может быть, они куда-нибудь поедут или переедут, что-то будет происходить в ее жизни, а здесь все останется таким же — и горы, и близкое небо, и запах травы. Что бы ни случилось, здесь уже никогда ничего не изменится. Мертвые более вечны, чем эти лиственницы, и горы, и вся земля, и звезды. Маленькие здешние звезды, резкие, как укол.

Что ж остается, когда человек умирает? Наверное, и она когда-нибудь умрет. Это просто невозможно представить, что у нее тоже где-то будет такая могила с пожухлыми пучками цветов. Это так же трудно, как представить себя старухой вроде Веры Матвеевны или еще старше.

Хотите увидеть свою смерть? Это она спросила ребят. Ричард что-то ответил, никак не вспомнить что.

Хорошо бы остаться, вкалывать тут вместе с Крыловым в этой неустроенной гостиничной комнате, пока не исчезнет всякая надежда.

Она не верила в его удачу, она не думала о результате, само стремление, желание искать манило ее какой-то неведомой наградой. Нельзя уезжать, она презирала себя за то, что уезжает, за то, что не в силах справиться с собой, за то, что не может быть такой, какой хочется.

6

Рулоны осциллограмм, графики, заметки Голицына. Кривые, черновики расчетов, таблицы, заметки Голицына.

Покачиваясь взад-вперед, Крылов сидел, сдавив голову, бессмысленно уставясь на этот бумажный хлам.

Кривые вставали, как зубцы крепостной стены. Откуда бы Крылов ни пробовал заходить, в конце концов он упирался в эту стену.

Давным-давно, в незапамятные времена это было, он мчался на аэродром к Голицыну, осененный догадкой, он ликовал, на земле не было человека счастливее его, все горести отступали, казалось, отныне ничто не помешает его счастью. Неужели так всегда: счастье — ничтожный миг, а все остальное — заботы, тревоги и ожидание?

Пожалуй, ни разу в жизни он не был удручен, как сейчас. Любое горе, беда проходят, тут же наступало ясное и спокойное сознание своего бессилия. Нет большего мучения, чем понять бессилие своего мозга.

Со стороны казалось, что он возился в лаборатории, ходил в столовую, шутил с Зоечкой, слушал.

— Зоечка, вы опять принесли Крылову самую большую котлету.

— Сергей Ильич, вам надо закрыть бюллетень.

— Братцы, сегодня по радио Гагарин выступает.

Со стороны казалось, что у него есть аппетит, что он щеголяет польскими сандалетами, усердно занимается лечебной гимнастикой.

На самом же деле он неотрывно сидел, сжимая голову, и у него ничего не было, кроме этой распухшей бесполезной головы. Проклятый серый студень, из которого нельзя уже ничего выжать! Что определяют центры грозы? Почему пики разрядов не подчиняются такому-то уравнению? Почему невозможно рассчитать нормальную схему, какую же тогда схему применить? Почему другие таланты, а он нет? Будь на его месте Дан, все решилось бы в два счета. Дан нашел бы выход. Дан умел видеть вещи иначе, чем видят их остальные люди. Это свойство гения. В последнее время он часто вспоминал Дана, его легкую, рассеянную улыбочку: «Сейчас Сергей Ильич сообщит нам про бесконечно длинную молнию, действующую в бесконечно однородной среде на бесконечно неверующих коллег». Дан был лишен слабостей, он не стал бы терзаться и мучиться, порвав с близким другом. Вряд ли одиночество мешало ему, с ним рядом оставался его талант.

Человек может добиться чего угодно — йоги останавливают сердце, Аникеев на пари, не умея играть, выучил сонату Бетховена, а вот сделаться талантливым человек не может. Упорство? Он готов был ждать Наташу год, два. Он готов просиживать за этим столом, за этими бумагами месяцы, не вставая, да что толку, тут задницей не возьмешь. Нужен талант. Кроме таланта, ему ничего не нужно. Положение, успех, даже любовь — как следует захотев, человек может всего достигнуть, а вот таланта черта с два. Хоть разбейся, хоть удавись.

Что же следует из того, что зоны, где возникают молнии, редки? Неужели так и будет всю жизнь — откровение, догадка и тотчас новые мучения? В чем же тут радость, где удовлетворение? Ах, радость творческого труда! Ах, счастье созидания! Выдумки романистов. Лаборантам лафа: подсчитывают, принесут — и до свидания. Голова не болит. Гуляй себе до утра. Техник — давай ему схему, он проверит, испытает. Вот Алеша явился — построил по точкам кривую. А то, что шесть точек ни туда ни сюда, — это его не касается. Впрочем, он славный парень, изо всех сил старается как-то помочь. Теперь, когда Лисицкий уехал и остальные уже сидят на чемоданах, когда все демонтировано, когда сдают дела, без Алеши было бы совсем туго.

— Может, еще чем надо помочь? — спросил Алеша. Выложил на стол сливы. — Давайте на велосипедах сгоняем? Полезно! Спорт содействует. Все великие люди уважали спорт. А то на танцы? Тоже усиливает кровообращение. Настоящий рок — это спортивно. — С

каменно-надменным лицом изобразил несколько па.

— Кто вам мешает, Сергей Ильич? Есть конкретные консерваторы? — Он смотрел преданно, с готовностью и убежденностью, что все можно решить вот этими кулаками.

— Эх, консерваторы, — мечтательно сказал Крылов. — Консерваторы — это бы чудесно! Было бы с кем бороться. Хуже, когда закавыка здесь, — он постучал себя пальцем по лбу.

Алеша повертел кулаками. Да, и сила, и ловкость, и самбо тут ни к чему. На танцах девушки будут косить глазами на Алешину спортивную фигуру. Любая будет рада завязать с таким парнем: высший класс танца, умеет выдавать всякие байки, и всем кажется, какой шикарный. А на самом деле, что он рядом с Крыловым? Долдон! Ему вдруг захотелось вот так же сидеть, мучиться. Пусть там танцуют, веселятся, а он сидит всю ночь напролет, он ходит небритый, шатается от усталости, одет как попало, ему не до танцев. От того, что он придумает, зависит многое. Захотелось бороться одному, когда вокруг не верят, смеются, чем-то жертвовать, от чего-то отказываться. То, над чем он когда-то посмеивался, казалось ему, глядя на Крылова, самым нужным и главным в жизни. Но для того, чтобы мучиться, надо иметь способности.

Из соседней комнаты доносилось гудение выпрямителя. Там работала Вера Матвеевна. Она единственная, кто в этой обстановке как ни в чем не бывало заканчивал свои измерения. Крылов завидовал ей. Он завидовал Алеше. Он завидовал каждому, потому что каждый знал свое дело и делал свое дело, а он один ни на что не способен.

Кривые окружали его, графики, точки, он блуждал там, изнемогая от отчаяния. В кривых воплотились десятки полетов, и каждая точка была облаком, ветром, высотой, ревом моторов, он брел по небу снова и снова, перепыхивая месиво облаков. Где-то внизу лежала земля с миллиардами людей, со всеми их страстями и событиями, которые никак не могли повлиять на законы, по которым жили облака. Он бился над этими законами, и никто не мог помочь ему.

Окончательно одурев, и он побрел к метеорологам уточнить кое-какие данные полетов.

Главный синоптик помог разыскать старые карты — ничего утешительного там не обнаружилось.

Они вышли вместе на площадь, в сутолоку только что прибывших с ленинградского самолета.

Кругом раздавались возбужденные возгласы, кричали шоферы, пассажиры восторгались теплыню, воздухом, горами.

— Двенадцать раз в день одно и то же, — сказал синоптик. — Одними и теми же словами. С ума можно сойти от этой человеческой скудости.

Он был сутулый, узкоплечий. Желчное, сморщенное, прокопченное солнцем лицо его с умными, насмешливыми глазами напоминало Крылову Мефистофеля.

— Не выпить ли нам? — сказал синоптик.

В ларьке выпили по стакану кислого вина, потом по стакану сладкого.

— Всегда пьют за что-то, — сказал синоптик, — заботятся о будущем. А жить надо для... Например, я пью для того, чтобы отшибить память. — Он подмигнул Крылову. — Чудесно, когда нечего вспоминать. Память — наказание, придуманное дьяволом. — Он допил, причмокнул длинными губами. — Без памяти все были бы счастливы. «Счастлив без памяти». А? Недаром такое выражение. Мы ведь вместе с Голицыным начинали. Он членкор,

а я в этой дыре — синоптик. А встретились — и никакой разницы: оба старики.

Перед Крыловым появился наполненный стакан. Синоптик распрямылся, вытянул шею. Он оказался длинным и тощим. Он махал руками, словно собираясь взлететь.

— Я вам советую, бросьте сражаться. Я прорицатель. Судьбу легче предсказывать, чем погоду. Хотите, открою вам тайну? — Один глаз его стал круглым и начал быстро подмигивать. — Тот, кто знает то, чего не знают другие, опасен! Вы знаете истину? Вы опасны! Вот я уже не опасен. Голицын все хотел мне напомнить. Жалел меня. А я себя не жалею. Я вполне доволен. Хватит с меня. Тулин тоже перестал сражаться, и молодец. А с кем сражаться? Противники-то не сражаются. Вот в чем фокус. Я вашего Лагунова знаю. Что бы вы ни сделали, вы будете работать на Лагунова, прибыль получает Лагунов.

— И черт с ними! — Крылов погрозил синоптику пальцем. — А Лагунов пусть будет академиком, мне не жалко. Результат? Результат ничего не исчерпывает. За ним будет другой результат. Снова уточнят скорость генерации зарядов. И наши результаты — тю-тю. Важно, чтобы ты шел, карабкался, полз — но вперед.

— Движение — все, цель — ничто. Слыхали. Но ради чего? Объясните мне. Я в юности сражался, сражался, думал, добиваю последнюю несправедливость. И вот уже старость, а несправедливостей столько же.

...В ресторане играла радиоло, то и дело прерывая ее, дежурная объявляла посадку: Ташкент, Алма-Ата... Крылова поражало количество мест, куда можно улететь. Сыктывкар! Подумать только! И все эти люди имели билеты и знали, куда им лететь.

— Мы с тобой кто? Жертвы науки! — провозглашал синоптик.

— Именно жертвы! — умилялся Крылов, и они нежно целовались.

Грибы, скользя, разбегались по тарелке.

— Вам нельзя больше, Сергей Ильич, — сказала Зочка.

Он погрозил ей пальцем. Они хотят, чтобы он вернулся к этому проклятому письменному столу. Ни за что. Он улетит в Сыктывкар. Он женится на Зочке. И приедет с ней к Наташе. Познакомься с моей женой. Может быть, Зочка сделает его талантливым. Он с интересом наблюдал, как он разделился: один Крылов еще сидел, стиснув голову руками, пытаясь обдумать все наново. Второй, бесшабашный малый, уже был свободен, хотел бежать на танцы, лечь спать и, наконец, обнаружил, что умеет растягивать столы, сгибать тарелки и вытворять такое, отчего мебель извивалась и пела на разные голоса, заглушая радиолу. Затем появился третий, который стал осаживать каких-то иностранцев, пристававших к Зочке, задирался, и все это кончилось великолепной мужской дракой на кулаках.

Откуда-то появился Алеша, Крылов был в восторге от своих прямых в челюсть, сам он получил хороший удар под глаз, немного протрезвел, и Алеше и синоптику удалось уволочь его до появления милиции.

Ночь была тихая, звездная. Он не хотел домой, его тошнило от цифр и таблиц. А синоптик и Алеша вели его неумолимо, как конвоиры ведут беглеца. Он и сам мог бы идти прямо, но ему было лень утруждать себя.

Почти три миллиарда людей на земле, а помочь никто не может. Вот что горько! Помешать всякий может, а помочь и хотели бы, да не могут! Звездочки, звездочки, такое красивое небо, а приходится с ним воевать. Он должен воевать с небом один на один, за всех этих людей. Эх ты, небо мое, небо!..

Дежурная, укоризненно покачивая головой, передала ему телеграмму. Его срочно вызывали в Москву, в отдел кадров.

Вид у него был страшный: лиловый синячище под глазом, физиономия исцарапана. Девушки в отделе кадров переглядывались. Ему предложили ехать на Памир, там строится линия электропередачи, надо изучить грозозащитные условия для грозозащиты. Он пытался втолковать им, что не может ехать, пока не докажет... Градиент напряженности... дельта Е... Девушки разочарованно усмехались. Дельта Е! Кое-кто собирался сунуть его бог знает куда, но начальник отдела кадров, демобилизованный полковник, сказал: «Не люблю, когда кругом победители, а побежденный один». Девушки гордились, что защищают его, подыскали самостоятельную интересную работу, и вот пожалуйста — перед ними никакой не герой, несправедливо гонимый, а самый обычный ловчила из тех, кто по-всякому изворачивается, лишь бы не ехать на периферию. Родители больны, жена пианистка, а у этого — дельта Е.

Начальник терпеливо выдавал про госзначение объекта, и госинтересы, и госдисциплину.

— Почему вы знаете государственные интересы, а я не знаю? — искренне поразился Крылов.
— Ежели я решу эту проблему, государство больше получит.

Оба недоуменно посмотрели друг на друга, и начальник отдела кадров отправился докладывать по инстанции.

Ничего не скажешь, Агатов умел становиться нужным человеком. Он был главным свидетелем, ведь это он предвидел все заранее и предупредил Южина. Он помог Лагунову формулировать и уговаривать, он показал себя как верный ученик и соратник Голицына, на него временно возложили руководство группой, ликвидацию дел.

В присутствии Лагунова он всячески восхвалял Голицына. Лагунов относился к этому с видимым безразличием, однако Агатов чувствовал, что к нему приглядываются. Агатов ждал. Терпеливо ждал, искусно. Наконец однажды, когда они остались вдвоем, Лагунов осведомился о здоровье Голицына — дело в том, что институты сливаются, создан один отдел атмосферного электричества, — не будет ли старику слишком труден организационный период?

Создание подобного центра было давнишней мечтой Голицына, несколько лет он хлопотал и доказывал необходимость такой организации. Агатов понял, что Лагунов не прочь отстранить старика. «Какая скотина!» — подумал он.

— Вероятно, вы правы, — сказал он со вздохом. — Подобные нагрузки в его возрасте вредны.

— Тут, конечно, будут сложности, но мы рассчитываем на вас, — сказал Лагунов.

Агатов на мгновение пожалел своего старика, но что поделаешь, меланхолично ответил он сам себе, такова жизнь. Не я, так найдется кто-нибудь другой.

По возвращении в Москву Лагунов рекомендовал его в управление — врио начальника отдела и секретарем оргкомитета международного симпозиума. Агатов не отказывался.

Черты его бледного лица, когда-то еле видимые, словно стертые резинкой, со дня аварии проступали все резче и наконец теперь обозначились законченно, в мраморной твердости.

Подбородок налился тяжестью и выдвинулся вперед, появились губы, даже волосы пышно

поднялись над маленьким бледным лбом, прочерченным озабоченными морщинками.

Происходило удивительное — за эти недели он прибавил в росте. Пиджак стал ему короток. «Мы рассчитываем на вас», — напевал он фразу Лагунова. В этой фразе была мелодия, целая симфония, барабаны и трубы слышались в ней.

Он чувствовал себя на невидимом пьедестале, с высоты которого открывался:

простор кабинетов, деловых и строгих, с отдельным столиком для телефонов, среди которых есть прямой, туда... и просторы длинных столов заседаний, крытых синим сукном, там был стук каблучков секретарши и стук карандаша по графину, и похлопывание по плечу, очередь в приемной и приемы с тостами, знакомствами и рукопожатиями;

мир планов, одобренных, новаторских, планов грандиозных, эффектных и эффективных, и перевыполненных, и встречных, планов, которые всем нравятся, нравятся президенту, и выше, и совсем высоко, мир академиков, далеких от жизни, нуждающихся в энергичных организаторах, которые умеют подобрать кадры, расставить кадры, прислушиваться к мнению, поддерживать инициативу, крепить связь с производством, поддерживать почин;

он будет участвовать в решении проблем, требующих коренной ломки, широты взглядов, борьбы с консерваторами, слияния институтов, перебазирования институтов, открытия новых институтов, улучшения руководства;

он будет устранять параллелизм в научной работе, распыление сил, ненужные препоны и рогатки;

он готов: посылать на периферию, составлять беспристрастные отзывы, отрицать чистую науку, защищать чистую науку, растить кадры, проводить симпозиумы, конгрессы, подписывать некрологи, находиться на высоте;

увы, как ученый он несколько отстанет, ничего не поделаешь, заедает текучка, кто-то должен жертвовать собой, он был согласен жертвовать собой и не только собой, согласен возложить на себя ответственность, сглаживать трения...

Нет, он не был ни честолюбцем, ни карьеристом, он не гнался за высоким окладом, ему хотелось лишь скорее уйти от этих гальванометров, формул, экстремальных зон, от этого рискованного мира опасных маньяков, которые кичатся какими-то кривыми и оценивают человека по тому, как он разбирается в их графиках. Он всего-навсего стремился туда, где нет неудачных опытов, и контрольных опытов, и загадочных результатов, где он будет недостижим для выступающих на семинарах.

Недоступен для Крылова и подобных ему типов.

Они придут к нему на прием. Их можно не принять.

Или выслушать с приветливой улыбкой и пообещать что-то неопределенное.

Или переслать дальше и тут же позвонить: «К тебе явится один тип, так учти, он немного того, тяжелый случай».

А если не придут, можно вызвать. Пусть посидят в приемной. Тридцать минут, сорок минут...

Он вышел навстречу Крылову из-за стола — новенький современный полированный стол, без ящичков — простите, что задержал, дела, не продохнуть — усадил в кресло — пенопласт, обитый красной тканью, весь кабинет модерн — легкая мебель, солнечно, просторно — новый стиль руководства. Кто вас разукрасил? Никак опять в аварию попали? Итак, Сергей Ильич, вас не устраивает новое назначение. Мне тоже приятней было бы сидеть в

лаборатории, но что поделаешь, мы солдаты. А как ваши успехи? Ничего не выходит? Какая жалость. Тогда придется ехать. Рад бы помочь вам, но сие от меня не зависит. Боюсь, что докладывать академику Лихову о вашей просьбе бесполезно, только хуже будет.

Ах, как обходителен был Агатов, как скорбел он, как он сочувствовал! Увы, увы, придется сообщить в партком, пусть общественность скажет свое слово.

Крылов должен был сидеть и слушать, и просить, и молчать. Сколько может выдержать человек? Гораздо больше, чем ему кажется. Человек может много, может все и еще столько же.

Вечером пришли Бочкарев и Песецкий, и они обсудили создавшееся положение. Они не были ни администраторами, ни политиками, ни психологами. Они ни фига не смыслили в законах, но Песецкий доказал, что любая хитрость — это в конце концов наиболее целесообразный отбор из возможных комбинаций. Неужто они, современные физики и математики, не могут обшпокать какого-то Агатова! В результате тщательного и высоконучного анализа была выбрана следующая цепочка связи: Крылов — Аникеев — Лихов. Крылов тут же позвонил в Ленинград Аникееву. Прокряхтев и прозапинавшись на солидную сумму, он установил, что Аникеев, подобно Бочкареву и Песецкому, не видит в его просьбе ничего безнравственного. Не то чтоб он не был уверен в его удаче, но он считал, что Крылов сам знает, что ему надо делать.

Цепочка сработала: его вызвал Лихов.

Снова в присутствии Агатова и начальника отдела кадров он повторял то же самое, уже не заботясь о впечатлении, без особой надежды на то, что Лихов поймет. От этого внутри была морозная ясность, и он не испытывал никакого волнения, перед ним был не Лихов, а бритый большеголовый старик, у которого из ушей росли волосы.

Лихов задал несколько вопросов по существу, говорить с ним было легко, и Крылов оживился, с удовольствием выкладывал подробности, заспорил, и когда Лихов попробовал сослаться на Лангмюра, Крылов нетерпеливо фыркнул:

— А, бросьте! Лангмюр, Лангмюр, как будто Лангмюр не может ошибаться. У вашего Лангмюра тут чушь.

— Однако... — Лихов властно постучал пальцами по столу, и уши его побагровели. Агатов знал, что Лихов вспыльчив и крут, и предвкушал предстоящую расправу, тем более что Крылов, ничего не замечая, пер на рожон, он забрался коленями на кресло, перегнулся через стол, и рисовал в блокноте Лихова кривую Лангмюра и свою кривую, и требовательно кричал:

— Видите, фактически какая разница! На два порядка. Понятно вам?

И вместо того чтобы выгнать его, Лихов досадливо поскреб затылок. Потом сказал, подмигнув:

— Но ведь и Аркадий Борисович свое дело знает.

— Да, — сказал Крылов.

— Мне про вас рассказывал Аникеев. — Лихов помолчал и добавил: — Агатов тоже докладывал. — И опять по его тону нельзя было понять, на чьей стороне он.

— Вы уверены, что вам удастся найти решение?

Крылов со вздохом уселся обратно в кресло.

— Нет. Не ручаюсь.

— Это правильно. А если мы вас все же отправим в Киргизию?

— Я не поеду.

— А что будете делать?

— Буду решать эту штуку.

— А у вас не будет получаться.

— А я буду ее решать.

Лихов обернулся к Агатову и сказал:

— Я вчера был на опытном заводе. Там зарплату получали. Лежит на столе пачка денег, каждый подходит и отсчитывает себе. Крылов, вы считаете, что есть возможность доказать?

— Да, — сказал Крылов.

Агатов предостерегающе покачал головой.

— А вы знаете, Яков Иванович, я установил, почему указатель не работал, — увлеченно сказал Крылов, роясь в своей папке.

Агатов отвернулся. Губы его стали бледнеть, почти исчезая на белом лице.

— Почему... — послушно выдохнул он. Крылов поднял голову, и Лихов вскинулся прищурясь, и оттого, что они молча разглядывали его, он почти закричал, теряя осторожность: — При чем тут я! Почему вы ко мне... — Южин, Крылов, и вот уже и Лихов, и начальник отдела кадров — их становилось все больше, людей, которые могли его в чем-то подозревать.

— Однако, — произнес Лихов так, что Агатов вскочил, — я вас не задерживаю.

Они смотрели ему вслед, как он шел по краю ковровой дорожки.

Зазвонил телефон. Лихов послушал и сказал:

— Да нет еще, подожди. — Он положил трубку. — Внук не может никак решить задачу, и я тоже.

Задача была для восьмого класса о движении катушки, которую тянут за нитку. Они попробовали решить ее, но так и не решили. Лихов рассердился.

— Позор! — сказал он Крылову. — Позор! А еще беретесь Голицына опровергать.

— Ну ладно, попробуем, — сказал он начальнику отдела кадров. — Попробуем. Беру его на поруки. Говорят про риск. А больше риска не тогда, когда пробуют, а когда не пытаются пробовать...

В приемной Агатов ждал Крылова.

— Что же вы нашли? — спросил он.

— Питание было нарушено, — начал объяснять Крылов.

Агатов тоскливо кивал.

— Возможно, возможно... Лихов-то злится, что я хлопотал за вас. Но я рад, что мне удалось как-то помочь вам, — сказал он. — Видите, я к вам со всей душой.

На улице Крылов сообразил, какая скорость будет у катушки, и позвонил из автомата Лихову.

— Молодец, — пробасил Лихов, — но внук уже сам добил. Раз уж позвонили... — он подышал в трубку, — желаю вам удачи...

Крылов понял недоговоренное: несмотря на всякие нажимы, Лихов поручился за Крылова, и будет скверно, если Крылов подведет. Но оттого, что он этого не сказал, Крылову стало еще тяжелее.

7

В рассветных сумерках, в один и тот же час, старый, полузасохший клен под окном начинал петь. Клен будил его. Между редкими пожелтелыми листьями покачивались, распевали десятки птах. В безветренном воздухе листья мелко дрожали. Птицы пели. Их голоса разбегались залихватными трелями, но получался слитный хор, где каждый вел свою партию. Птицы раскачивались на ветках в такт ритму, как это делают музыканты. Клен стоял во дворе у кирпичной глухой стены. Пушистые серо-бурые комочки с желто-зеленой грудкой походили на весенние листья, и казалось, что клен расцвел. Потом птицы улетали, и клен умолкал, голый, неподвижный.

Наспех позавтракав, Крылов садился работать. Месяц отпуска, данный Лиховым, кончался, но, кажется, что-то стронулось. Крылов старался не спугнуть ухваченной мысли. На этот раз его не проведешь. Никаких восторгов он себе не разрешал. Всякие озарения, вдохновения — беллетристика.

И все же он потихоньку от себя наслаждался этими днями. Было легко, что-то прорвало, он считал и писал так быстро, словно кто-то диктовал ему. Песецкий, забросив свои дела, помогал с расчетами. Все стало настолько просто и очевидно, что непонятно, над чем было так долго мучиться. Именно потому, что зоны, где возникают молнии, чрезвычайно редки, воздействие на них облегчается и возможность воздействия усиливается. Нужно продолжать полеты, нацеливая аппаратуру туда, где только что ударила молния. Одно следовало из другого и плотно укладывалось, как черепица на крыше. Внутри дом был пуст, но над головой был кров, а остальное не страшно.

Окончательно одурев, они ставили какую-нибудь пластинку Баха и, положив ноги на стол, дымили, блаженствуя. В торжественной суровости этой музыки не было ничего лишнего, никаких красот. Скупая и ясная тема повторялась снова и снова и всякий раз иначе; казалось, извлечено все, но нет, вот еще поворот, еще один пласт, глубина простейших вещей оказывалась неистощимой, как неистощима красота. Все равно что в физике, рассуждали они, любая элементарная частица бесконечно сложна. Совершенство этой музыки успокаивало. Им нужна была сейчас завершенность.

Вечером за Песецким заходила Зина. Она была влюблена и счастлива, и Песецкий, закоренелый холостяк, смущенно поговаривал о женитьбе. Стоя у окна, Крылов видел, как они, обнявшись, пересекали двор.

До настоящей теории было далеко, вырисовывались лишь подступы, какие-то принципы, основы, это уже что-то значило. Только сейчас перед ним открывалась вся грандиозность предстоящих усилий. То, что было до сих пор, было попытками слепых попасть в яблочко. Поразительно, как мог Тулин на том этапе нащупать цель. Он обладал исключительной интуицией, каким-то особым внутренним зрением. Было чудом, что в результате всех блужданий, ничего толком не зная, они тем не менее болтались где-то в окрестностях истины.

По-иному видел он и аварию. Факт, что питание указателя было нарушено. Помог бы им исправный указатель? Как узнаешь, помог ли бы погибшему в бурю кораблю компас? Конечно, если бы Ричард выпрыгнул с кассетами, многое можно было бы установить.

Теперь Крылов представлял, что им надо и что они не понимали. Наконец-то можно сформулировать некоторые вопросы, связанные с природой молнии. Правильно поставить вопрос — не это ли важнее всего в исследованиях?

Самые мощные установки искусственных молний пробивали промежутки десять-пятнадцать метров. Природа же создавала молнии, достигающие длины в десятки, даже сотни километров. Какие же гигантские, невиданные напряжения миллионы лет с расточительной легкостью генерировали облака! Он чувствовал, что подбирается к таким источникам энергии, о которых людям еще не мечталось.

Он знал, знал, как это и еще многое другое можно будет исследовать!

В диссертации Ричарда, которую ему передал Голицын, было несколько любопытных вариантов схем указателя. Крылов их использовал. Он использовал и некоторые идеи Тулина, и возражения Голицына, и работы француза Дюра, но из всего этого получалось нечто совсем новое, о котором еще никто не догадывался. Он, Крылов, единственный во всем мире знал, что надо делать! И как надо делать!

Он первый!

Взлетает самолет — и лиловые, набрякшие молниями и громами тучи бледнеют, серебрятся, поднимаются ввысь и тают, тают в солнечной голубизне. Слушая Тулина, он всегда испытывал какую-то неловкость, а сейчас он с удовольствием вспоминал эти фантастические картины. Вообще в нем сейчас, наверное, есть что-то схожее с Тулиным. Он подошел к зеркалу. Странно, вроде тот же самый Крылов. Те же невыразительные, маленькие глаза. Весьма странно. А между тем этот человек обладает важнейшей властью хранителя истины. Некоторое сияние в глазах, пожалуй, различается... Почти невидимое, инфракрасное излучение.

На улице люди шли под зонтиками, как будто ничего не произошло, так же как они ходили год назад и десять лет назад. Соседка, жена моряка, кокетничала с ним, ни о чем не подозревая, звала его на чай. Зина читала Лескова, по радио передавали Мусоргского. Как будто он попал в далекое прошлое. Эх, люди, люди, если б вы только догадывались, какая радость вас ожидает!

Наконец наступил день, когда он отнес папку Голицыну. Старик был занят с какой-то

делегацией и принял его на ходу, преподав урок выдержки, свойственной старой школе. Проверим, подумаем, посмотрим...

Слабых мест было много, но, находя их, он почему-то досадовал не на Крылова, а на себя.

Находить чужие ошибки — вот на что ты еще способен. Ты можешь следить за всеми журналами, возглавлять очередную конференцию, принимать делегации, читать книги. Что толку из того, что ты следишь за журналами, много читаешь, делаешь выписки! Посмотри на Крылова, он и десятой доли твоего не знает, зато у него рождаются идеи, не бог весть что, но ты был бы рад и таким. Никак ты не хочешь понять, что ты просто стар и способен только помогать другим. Или уничтожить Крылова еще раз, на это ты еще годишься, на это у тебя хватит учености и энергии. Сколько раз ты отодвигал от себя срок старости! О, ты еще водишь машину, блистаешь эрудицией, но нового тебе уже ничего не создать. Никто еще не знает, что ты бесплодная смоковница. А что, если давно знают? Старая песочница! И вдруг он вспомнил, что когда-то так называли Волкова. И сразу ему вспомнился до малейших подробностей Петроград, Лесной, Волков в хорьковой шубе колоколом, весеннее кудрявое небо, колченогий стол на талом снегу, первые испытания радиозонда. Несмотря на все предсказания Волкова, зонд выполнил программу. И он вспомнил себя, сияющего, чубатого, в жилетке, прыгающего козленком у рации. Как злорадно размахивал он радиограммой перед Волковым! А у Волкова под красным носом висела мутная капелька.

Каким же ты был безжалостным в ту минуту! Молодость всегда безжалостна. Теперь ты это понял на своей шкуре, теперь, когда уже ничего нельзя исправить.

Никто теперь не помнит Волкова, он жив только в твоей памяти. Молодым ничего не говорят имена твоих корифеев. Что им Смуров или Молчанов — далекая история! Покажи тот зонд Крылову — он рассмеется, если узнает, что за такую музейную рухлядь тебя сделали профессором. Метод измерения подвижности ионов, над которым ты когда-то бился, для него теперь: «А как же иначе, само собой разумеется!»

Когда-то ты владел лучшим математическим аппаратом, сегодня такие уравнения решают студенты.

Неужто ты всерьез рассчитывал на бессмертие? Его нет ни для кого. Помнишь в гимназии — Платон, Овидий... Кто их сегодня читает? Через сотню-другую лет никто не поймет, почему мы любили Блока и Врубеля.

Немного позже, немного раньше, вот и вся разница. Чем отличается мраморная скульптура от снежной бабы? Долголетием? А все же Ньютон бессмертен. И Менделеев бессмертен. Но ты не принадлежишь к их числу. Смирись с этим, пора.

Конференц-зал Академии наук и доклад на пленарном заседании «Природа молнии». Казалось, вот наконец все прояснилось, вот она, истина, а она ускользала и ускользала. Что же осталось? А ничего. Сперва на твою работу ссылались, потом ссылались на тех, кто ссылался, потом осталась таблица, потом осталась одна цифра, которая вошла в новую сводную таблицу. Ноль целых семьдесят три сотых, и никто уже не знает автора этой цифры, она стоит среди других, два числа после запятой в длинной таблице. И то хорошо. Нет, нет, кое-что сделано, вся хитрость в том, что как бы человек ни был счастлив, оглядываясь назад, он вздыхает.

И все же нынешняя молодежь какая-то непонятная.

Он позвонил Крылову, пригласил к себе домой. Он собирался поговорить не только про работу, но и о времени, когда жизнь оправдывается тем, что отдаешь своим ученикам, остается опыт и надо распорядиться им как можно лучше...

— Ну как? — с порога спросил Крылов и, выслушав отзыв, засмеялся, прикрыв глаза, подошел к окну, помахал кому-то рукой. И больше ничего не слышал. Голицын посмотрел в окно. На противоположной стороне улицы стояли Песецкий, лаборантка Зина и какая-то красивая девица. Они выразительно жестикулировали. Крылов нетерпеливо переминался с ноги на ногу. «Может, так и положено», — подумал Голицын, усмехаясь над своей чувствительностью. Он вернул Крылову папку и договорился завтра с утра поехать к Южину.

Следовало отдать должное Лагунову — заключение и доклад министру были составлены неукоснительно.

Выслушав Лагунова, министр еще долго листал бумаги, потом сказал:

— Запретить — это легче легкого. А проблема-то осталась. Проблему не закроешь.

— Но сам руководитель, Тулин, отказался, — сказал Лагунов.

Министр выжидающе перевел взгляд на Южина. Южин промолчал.

— Да, тогда, конечно, ничего не попишешь, — сказал министр.

Разочарование его было совершенно неожиданно и в то же время настолько естественно, что Южин удивился, как он сам раньше не подумал о том же, и тут вспомнил, что ведь и он тоже думал об этом, только гнал от себя эти мысли.

Лагунов был доволен, что все обошлось и министр согласился с выводами комиссии.

«И очень хорошо, — думал Южин, с неприязнью глядя на него, — очень хорошо, что я наконец развязался со всей этой историей. С какой стати из-за Крылова ссориться с Лагуновым, да еще взваливать на себя всякие неприятности, обвинят меня же, что делал все не так, нет, слава богу, что все, кончается...»

На лестнице его догнал Лагунов.

— С вас причитается.

Южин кисло улыбнулся. По-своему Лагунов был прав: акт комиссии снимал всякие претензии к Управлению и к Южину — все списывалось на метод Тулина, а поскольку метод Тулина признан несостоятельным, то и концы в воду.

— ...и концы в воду, — услышал он голос Лагунова.

Южин вздрогнул, остановился, щелкнув каблуками.

— Всего хорошего, — резко сказал он и, козырнув, зашагал, не оглядываясь, к машине.

Появление в его кабинете Голицына и Крылова снова поднимало осевшую уже душевную муть. Все считалось законченным, и вот опять, пожалуйста. Особенно раздражал этот новый союз: Голицын — Крылов.

— Однако лихо вы изменили свою точку зрения, Аркадий Борисович! — Южин решил уязвить

его.

— Простите, — заволновался Голицын, — сперва договоримся, что понимать под точкой зрения. По-вашему, это нечто неподвижное, некая константа. Подобное присуще памятникам, а не живому человеку. Существует процесс познания, мысль движется. Я не меняю взглядов, я их развиваю. Концепция Крылова смелая, рискованная и... — он поднял палец, — законная! Ее следует проверить.

— Выходит, вы ошибались?

Голицын с достоинством вскинул голову.

— В науке признание ошибки не позор. — Он хмыкнул с непонятым Южину торжеством. — В данном же случае мы имеем дело с работами на качественно ином уровне, нам надо исследовать коренные процессы...

Он объяснял доходчиво и образно. Южин давно заметил, что чем крупнее специалист, тем проще у него получается.

— Но что ж вы раньше смотрели! — досадливо воскликнул Южин. — Сами виноваты.

— Господи, да как же можно раньше, Сергей Ильич только сейчас обосновал...

Лицо Южина сделалось непроницаемым, почти туповатым.

Мундир слишком стягивал грудь и живот. Южин подумал, что придется перешить мундир, слои жира откладывались, как годовые кольца у дерева, и тому молодому, сухощавому Южину, который был там, внутри, становилось труднее дышать и двигаться.

— У вас, конечно, процесс, научная мысль кипит и развивается, — язвительно сказал он. — Но мы не можем так вот — сегодня одно, завтра другое.

А вот то, что Голицын может сегодня одно, а завтра другое и считает это естественным, как будто гордится этим, задевало Южина. Здесь было что-то несправедливое, он сам толком не мог разобраться. И было непонятно, почему сейчас не Голицыну, а ему, Южину, трудно и неловко так же, как было у министра.

— Остановиться теперь невозможно, — весело говорил Крылов. Исхудалый, заросший, он производил впечатление плутовавшего где-то и наконец вышедшего к людям путника. — Вы ж понимаете, надо как можно скорее испытать, — он смотрел на Южина так, как будто тот входил в их сообщество и поэтому возражения Южина не следовало принимать всерьез.

У этих легкомысленных чудаков получалось куда как просто. Пора было их отрезвить. Южин взялся за это без всякой жалости. Как дважды два, он доказал, что ничего у них не выйдет. Поздно. И бесполезно, приказ есть приказ. И как возвращаться к министру...

Голицын погрузнел, сник, Крылов тоже словно очнулся; завинтив ручку, спрятал ее в карман. Больше он не смотрел в лицо Южину, а смотрел куда-то ниже, на его мундир, и это раздражало. Южину вдруг представилось, каким он кажется Крылову, мундир стал еще теснее, и Южин почувствовал, что говорит не то, что ему хочется, и от этого еще больше разозлился. Но теперь он уже был пленником своих слов и должен был дойти до конца, он знал заранее все, что скажет. Он подумал, что началось это даже не у министра, когда он промолчал, а еще раньше. И сколько он ни оглядывался назад, он все не мог понять, когда это началось. Вдруг он вспомнил, как в этом же кресле сидел Тулин и обольщал его, и это воспоминание придало ему силы.

Опять лететь в грозу? Снова идти на риск?

Голицын растерянно молчал. Видимо, ни он, ни Крылов не думали об этой стороне дела. Но Южин напомнил им. Он не забыл речи Голицына на комиссии.

— Мы будем последовательно, этап за этапом... — начал было Крылов.

— Слыхали. Нет. На сей раз я вам не помощник, — сказал он. — Прикажут мне, тогда будем разговаривать.

— Но куда обратиться, куда ж обратиться? — спросил Голицын.

Крылов медленно поднялся. Страшная усталость проступила на его лице, ребячьи припухлости у губ опали морщинами.

— Никуда я обращаться не буду. — Он хлопнул папку на стол, голос сорвался криком. — Довольно с меня! Я свое сделал! Теперь как хотите!

— Сергей Ильич! — воскликнул Голицын.

Крылов вышел на середину комнаты, потянулся, точно сбросил тяжесть, и Южин понял, что Крылов не хитрит, это не поза, не маневр, он может взять и уйти, у него своя мерка происходящего. Этот парень действовал открыто, начистоту, не заботясь о впечатлении, какое он производит, так же, как старые летчики — друзья Южина, так же, как и он сам когда-то, на фронте.

— Самый легкий выход, — сказал Южин, — с рук сбить. Только я вместо вас воевать не буду, Сергей Ильич.

Крылов посмотрел на мундир Южина. Потом он вернулся к столу. Длинные руки его висели из коротких рукавов слишком просторного пиджака.

Крылов взял папку и, не поднимая глаз, сказал:

— Много у вас орденов. Все боевые. На войне вы, видно, держались храбро. А сейчас ведь не стреляют.

Он направился к двери, и Южин смотрел, как болтается на его плечах дешевенький пиджак из светло-зеленого твида.

Голицын начал извиняться за Крылова. Южину надо было что-то сказать. Он сказал, что следовало бы сообщить в институт, чтобы там научили Крылова вести себя.

Домой Южин возвращался пешком. Он ушел раньше обычного, сославшись на головную боль. Было солнечно и холодно. От осеннего воздуха, от блеска промытых окон улица стеклянно звенела, виделось далеко, лица людей были чистыми, с ясным блеском глаз.

Давно Южин не ходил днем по улицам, вот так, без всякого дела. Шли парни, сунув руки в карманы коротких пальто, яркие шарфы их были небрежно замотаны. Южин чувствовал, как шинель тяжело оттягивает плечи.

Он начал было вспоминать, когда и за что он получил ордена, но вспоминались почему-то всякие пустяки — полковая столовая, бортмеханик Федот, который любил говорить: «Дальше фронта не пошлют, больше пули не дадут». Потом он вспомнил свой первый бой под Лугой и возвращение на аэродром — там были уже немцы. Он посадил машину на проселочной

дороге, раздобыл бензин и снова полетел, разыскивая своих.

В полку его всегда считали храбрым. Но он-то знал, что храбрость — это не то, что, например, умение. Храбрым всякий раз приходится быть заново. И военная храбрость совсем не то, что гражданская. Он мысленно изругал Крылова, надеясь, что станет легче, но легче не становилось. Ни у Крылова, ни у Голицына ни хрена не получится: они не умеют разговаривать с начальством. Это не ходоки. Крылов, конечно, отчаянный... Южин вдруг подумал, что он уже на комиссии втайне симпатизировал Крылову, именно втайне. И хвалил себя за то втайне, что подавляет личные симпатии. На самом же деле просто так было удобнее. Сперва всегда кажется: то, что удобно, и есть правда. Поверил бы с самого начала своим чувствам — и, глядишь, оправдалось бы. Требуем, чтобы нам доверяли, а мы сами себе не верим.

«Запустил я себя как личность», — подумал Южин и вдруг сообразил, что думает о самом себе. Это его даже удивило. Никогда он этим не занимался. Думал о службе. Думал о детях, еще о чем? Ну о друзьях, о жене, а вот о себе самом как-то не приходилось. Все было недосуг, вроде и ни к чему. Вот так и живем, живем и вдруг однажды обнаруживаем, что ни разу и не задумались, как же мы живем. С кем угодно сидим, болтаем, а для себя всю жизнь, бывает, не найдется времени. Времени, или охоты, или мужества...

8

Папка лежала на столе, завернутая в газету. Крылов не прикасался к ней.

Ему казалось, что когда он кончит, то эту папку будут вырывать друг у друга, поднимется кутерьма, столпотворение, его будут качать чуть ли не на Красной площади или по крайней мере премируют двухнедельным окладом.

Его выслушивали, поздравляли, и на этом все кончалось. Ему даже были готовы помочь, но он не знал, о чем просить, он напоминал бегуна, который с честью прошел свою дистанцию и на этапе обнаружил, что некому передать эстафету. Признаться, он никогда всерьез и не помышлял брать на себя руководство группой, становиться заводилой. Он хотел решить задачу, и он решил ее, теперь пусть другие беспокоятся.

В Москве остановилась Ада. У нее был отпуск — она ехала в Крым. Ада привезла письмо от Аникеева, он приглашал Крылова вернуться в институт, обещал договориться обо всем с Лиховым.

Ада показалась Крылову еще более красивой, в ней что-то смягчилось, глаза ее поглубели талой синью, она не пыталась поучать и наставлять, и Крылов очень обрадовался ей. Ада приглашала ехать вместе в Крым. Он медлил, не зная, что ей ответить. Он сам не понимал, чего он ждет. Иногда ему казалось, что кто-то с минуты на минуту постучится в дверь, возьмет у него проклятую папку, и тогда он наконец освободится.

На симпозиум съезжались участники. Голицын был занят с утра до вечера, и Крылов слонялся без толку. Ада осторожно посоветовала сходить к Лихову.

— С какой стати? — вспыхнул Крылов. — Чего я буду набиваться? Им неинтересно, так мне тем паче.

— Кому это «им»?

Он тупо уставился на нее и, наконец поняв, рассмеялся.

Было воскресенье. С утра шел дождь. Ада прибрала комнату, выкинула старые журналы, газеты, стало просторно, уютно. Вытирая стол, она аккуратно вытерла и фотографию Наташи, ни о чем не спрашивая. Соорудив себе из полотенца передник, она легко и бесшумно работала, подшучивала над неряхами-мужчинами, а Крылов развивал ей теорию о том, как женщины задерживают развитие человечества. Они загружают промышленность производством брошек, бус, сумочек. А шляпы? Каждый год новый фасон. А косметика? Трельяжи, грильяжи...

Ада смеялась, из-под растрепанных волос блестели глаза, она была трогательно домашней, ничего похожего на ту строгую, прекрасную статую, перед которой он всегда чувствовал себя посетителем музея. И вдруг он подумал, что Ада ждала его еще преданней и беззаветней, чем он Наташу. И ей так же тяжело, как ему. В сущности, он обошелся с Адой, как Наташа с ним, только с Наташей он сам был виноват, а Ада ни в чем не виновата, она виновата лишь в том, что любит его.

— Почему ты не уезжаешь? — спросил он и, как всегда, неуклюже начал поправляться: — То есть я-то рад, но у тебя дни уходят.

— А ты тоже хотел проветриться?

— Я... Мне надо побывать на симпозиуме... У Песецкого свадьба.

— У меня тетка здесь больна, — сказала Ада. — Пойдем в Третьяковку, я давно не была.

«Господи, как все сложно, какая трудная штука жизнь, если заниматься ею всерьез! — думал он по дороге. — Почему раньше было куда проще?»

— Помнишь, — сказал он Аде, — я всегда мог порвать, уйти, когда хотел. Я ошибался, но делал то, что хотел.

— Но если ты опять уйдешь, кто же займется твоим делом? Без тебя оно захиреет. Я тоже когда-то... Теперь я знаю, что человек не может освободиться от всего.

Взявшись за руки, они бродили по залам музея, совсем как когда-то в Ленинграде, когда Ада «образовывала» Крылова. Только теперь она ничего не объясняла и не учила, они просто смотрели и радовались, если обоим нравилось одно и то же.

Они остановились перед картиной Серова «Девочка с персиками». Там было позднее лето, солнце... Девочка сидела за столом, безыскусно позируя. Отсветы просторной розовой кофты скользили по ее лицу, бархатисто-теплому, прогретому солнцем, как персики, что лежали перед ней на скатерти. Задумчиво смотрела она на Крылова, как смотрела до него на миллионы людей, прошедших перед ней, щедро наделяя каждого чистотой и силой своей доброты. Солнце переходило в сочную сладость плодов. Он ощущал вкус солнца, таинственную работу света, его превращение. Тепло, излучаемое этой круглощекой девочкой, напоминало то юное, светлое, что прошло мимо него. Он думал о том, какой неодолимой силой может обладать доброта.

Ада украдкой смотрела на него, Крылов очнулся.

— Да, — сказал он, — ничего не поделаешь...

Ада не поняла, что означали эти слова, но не стала спрашивать.

Билет на симпозиум ему не прислали. Он подумал, что это ошибка, и зашел в оргкомитет. Его направили к Агатову.

— Мы думали, что вы уехали, — сказал Агатов.

— Но я не уехал.

Агатов улыбнулся.

— Вижу. Но знаете, Сергей Ильич, есть такое мнение, вам не стоит... — и он утешающе махнул рукой. — Считают, что вы станете жаловаться, а будет много иностранцев.

— Думаете, я стану просить? Есть такое мнение — послать вас туда-то и туда-то. — Он выскочил, в бешенстве хлопнув дверью.

В коридоре он столкнулся с Возницыным. Тот отвел его в сторону, зашептал:

— Что-то происходит. Я слышал, что Южин был у министра. Вы виделись с Богдановским?

— Какой еще Богдановский!

— Так вы ничего не знаете? Он вас разыскивает. Только между нами: есть письмо, подписанное Лиховым, Голицыным и Аникеевым, они требуют возобновления работы. Будете говорить с Богдановским, имейте в виду — мы не возражаем.

— А что изменилось? Вы и раньше знали, что я доказал...

— Ситуация изменилась, ситуация, — весело сказал Возницын. — Все будет хорошо. Я же вам говорил, что все будет хорошо.

Он потащил Крылова к телефону, потом на своей машине повез в Управление. Последующие три дня слились мелькающими кадрами совещаний за длинными столами с бутылками нарзана и в кабинетах без длинных столов, составлений бумаг, смет, объяснительных записок, стрекотом пишущих машинок, телефонных звонков, бюро пропусков...

Возницын за голову хватался, слушая его неосторожные ответы. Южин одобрительно подмигивал. Появился Богдановский, придиричиво спрашивал Крылова, прощупывал и так и этак, как цыган, торгующий лошадь. Выступил довольно резко Лагунов, но тут Крылов поднялся и спросил: «А что вы можете предложить?» В том-то и дело, что никто из критикующих не мог предложить ничего другого. И Богдановский, ухватившись за этот тезис, ловко фехтовал им против Лагунова и всех, кто еще сопротивлялся.

— Гроза для тебя как мамкин подол, — добивал Южина Богдановский, — ухватишься обеими руками, любой грех прикроет. Вали на Илью-пророка.

Южин, отфыркиваясь, спокойно подставлял свои бока, умно помогая Богдановскому и Лихову.

Крылов лишь моргал глазами, постигая высокое искусство сражающихся. К исходу третьего дня он вылез из последнего чистилища, измочаленный, согласованный, подписанный, утвержденный, заверенный.

— Поздравляю, — сказал ему Богдановский, когда они остались одни в прокуренном огромном, неудобном кабинете. — Но я наблюдал за вами — руководитель из вас никакой.

— Вот именно, — сказал Крылов. — Я и не хочу, ничего из меня не получится. Только опорочу дело.

— Что ж вы собираетесь? Уча-а-ствовать? — иронически протянул Богдановский.

— Почему вы не приехали сразу после аварии помочь Тулину? — спросил Крылов.

Богдановский сидел на столе, бритый, скуластый, с твердо неподвижным лицом Будды.

— Почему?.. Помогать надо сильным. Слабым нет смысла помогать. Невыгодно. И времени нет. — Он сделал паузу. — Как организатор вы уступаете Тулину, ну да ничего, нужда научит. А что вас смущает?

— Группу-то распустили. Там были ценные работники. Я не знаю, согласятся ли они снова...

— Ничего, предложим. Мало ли что было. Всюду бывают потери. Мы работаем на людей, и личное тут надо отставить.

— А хотят ли они, эти люди, отставить свое личное?

Богдановский нахмурился.

— Если бы всякий раз спрашивали у людей, мы бы жили в пещерах.

— Мне такой прогресс не нужен. Я буду спрашивать!.. — сказал Крылов. — Но я вообще еще не решил...

Богдановский не привык уговаривать, но еще меньше он привык, чтобы с ним так спорили.

— Решите, — сказал он. — Вам деваться некуда. От себя не уйдешь. Оклад вам, между прочим, дадим персональный.

— Зачем?

— Ну, милый, не повредит. Бескорыстие — это красиво, но ненадежно.

Крылов прищурился.

— Не нравятся мне ваши рассуждения.

Вряд ли когда-либо в этом кабинете произносилось подобное. Надо отдать должное Богдановскому: он понимающе улыбнулся.

— Это вы притомились с непривычки. — Потом улыбка его застыла. — Нам придется работать вместе. Я не знаю слов — нравится, не нравится. Вы мне нужны, и я нужен вам. Ясно?

— Ясно.

И Богдановский подумал, что ясно им каждому свое и что таких, как Крылов, нельзя заставлять, они подчиняются каким-то своим правилам.

В дверях Крылов обернулся.

— Я все хотел спросить вас... Откуда вы узнали про меня, и вообще?..

— Понятно, — перебил Богдановский его заикания. — Ко мне приходила наша сотрудница Романова Наталья Алексеевна. — Богдановский посмотрел на лицо Крылова. — Агитировала за вас. Я ведь было похоронил свои планы после аварии. А потом перелистал стенограмму.

— Где она сейчас?

— Романова? В экспедиции. Вам скажут в секретариате.

Дома его ждала Ада. Она сидела в полутьме на кушетке, и он рассказывал ей. Рассказал все. И про Наташу.

— Значит, все в порядке, — ровным голосом сказала Ада. — Звонил Аникеев, он приехал и хотел повидать тебя.

Крылов позвонил Аникееву, договорились встретиться в «Москве».

— Я не смогу, я уезжаю, мне надо собраться в дорогу, — сказала Ада.

— С чего это ты вдруг?

— Тетя выздоровела. Мне пора ехать.

— Тогда я не пойду.

Она принужденно улыбнулась.

— Хорошо, пойдем вместе.

По дороге Крылов уговорил ее зайти на Гнездииковский к Вере Матвеевне.

Два длинных звонка и один короткий. Открыл муж Веры Матвеевны, провел их в комнату, где за обеденным столом занимались два мальчика. Вера Матвеевна вышла из-за перегородки. Рука ее еще была на перевязи.

Крылов рассказал ей про то, как повернулось дело.

Он ничего не предлагал, но в комнате сразу воцарилась тишина. Мальчики разом подняли головы, и Крылов увидел тревогу в их глазах, а муж Веры Матвеевны уткнулся в газету.

— Да, да, очень интересно, — сказала Вера Матвеевна, — если бы мне обстоятельства позволили, я бы приняла участие.

Она проводила их в переднюю и там, оглядываясь, зашептала:

— Вы не обижайтесь на меня, Сергей Ильич! Я боюсь. Я как вспомню... Нет, нет, невозможно... Прошу вас, Сергей Ильич.

— Ну что вы, я понимаю, — сказал Крылов.

На улице Ада взяла его под руку, преувеличенно весело начала рассказывать про завод, как перед отъездом она заходила в ОТК, там теперь Долинин заправляет. Помнишь? Он ей показал прибор Крылова. Так все и называют «прибор Крылова». Она спросила у практиканта — смешной такой парнишечка, — что еще за Крылов? Он плечами пожал: какой-то изобретатель, ученый. Долинин напустился на него, а тот оправдывается: мы такого не проходили...

Крылов вздохнул. Милое время!

И Аникеев тоже был из того милого времени. Он расцеловал Крылова, потом назвал его идиотом за то, что Крылов не хочет вернуться к нему; поедая судак, уничтожил Лагунова и,

выпив кофе, обругал Богдановского.

— Вы злой, — сказала Ада.

Аникеев воинственно выставил челюсть.

— Я слишком умен, чтобы быть добрым. А злые — это полезно. Злые двигают прогресс. Злые ниспровергают авторитеты. Сережа, тебе не хватает злости.

— Исправлюсь, — сказал Крылов.

Аникеев не переставал удивляться: как этому тихоне, простаку удалось сокрушить такую стену? Он допытывался у Крылова, но тот ничего не мог объяснить, он считал, что все произошло само собой.

— Да, человек может много, — сказал Аникеев, — если у него есть правда, он может черт знает что...

— Мсье Крылов?

Перед их столиком стоял профессор Дюра, с которым Крылов познакомился во Франции. Как он изменился! Вместо темпераментного, молодящегося толстяка перед Крыловым стоял печальный, обрюзгший, чем-то неизлечимо больной человек. Дюра рассказал, что недавно умер от лучевой болезни его сын.

— Меня пригласили на симпозиум, — сказал Дюра. — Но я не знаю, зачем я приехал...

Симпозиум открывался завтра, и сейчас в ресторане было много участников. Их можно было узнать по значкам и белым карточкам в петлицах, где было написано имя и страна. Здесь знали друг друга по многу лет, переписывались, спорили и никогда не виделись. Здесь царил особый счет, независимый от знаний, должности, наград. Здесь узнавали друг друга по тому, что сделано этим человеком, по его ошибкам, поискам, находкам. Только имя и работы, которые вставали за этим именем.

— С тобой хочет познакомиться доктор Регнер, — сказал Аникеев.

За работами доктора Регнера Крылов следил давно и отлично представлял себе этого немца с буйной фантазией и, очевидно, буйной шевелюрой, мощного, шумного. Аникеев с удовольствием любовался физиономией Крылова, пожимающего руку кокетливой длинноногой блондинке, которая немедленно принялась фотографировать Крылова.

Когда Крылов вернулся к своему столику, там остался один Дюра, Аникеев и Ада танцевали.

Крылов расспрашивал Дюра о его последних работах. Дюра вдруг вскинул руки, потряс над головой:

— Все бессмыслица. Как вы не видите! Мир сломался. В любую минуту нажмут кнопку — и за несколько минут все кончится. Вся наша наука вместе со всеми академиями и колледжами. Земной шар будет протерт дочиста. Леопарды, детские сады, картинные галереи, миссионеры...

— Шут с ними, с миссионерами... — сказал Крылов. — Охота вам...

— ...симпозиумы, и мы вместе с нашими внуками и правнуками, все мы станем нейтронами и

электронами и будем носиться по законам Гейзенберга, и сам Гейзенберг будет тоже носиться по своим законам. — Глаза его загорелись угрюмым весельем, он протянул руку, как бы касаясь пальцем кнопки. — Мир полон сумасшедших, подберется какой-нибудь сумасшедший — и мудрецы политики, которые строят прогнозы, — в пыль! Церковь святой Мадлен — в пыль!.. Вся история человечества кончается на этой кнопке, последняя точка истории.

— Неужели вы всерьез думаете, что эту кнопку нельзя уничтожить?

— Поздно. Она существует. Попробуйте уничтожить закон Ома, уравнение Максвелла. Они уже открыты. До них додумались, и сколько бы их ни уничтожали, они появятся.

— В том-то и дело, что ваша кнопка не закон! — воскликнул Крылов.

— О, она больше закона! Она бог! Современная религия. Все мы ходим под кнопкой. Молиться ей надо. В соборах вместо распятия — кнопку. Нет бога, кроме кнопки. Что вы противопоставите ей? Перед кнопкой все глупо — и ложь, и подвиг, и мужество, и даже цинизм. Как вы все можете спокойно жить? Я смотрю и не понимаю — вы что, слепые? глухие? Неужели вы не видите, что все сломалось? Вы думаете, это я из-за сына? Нет, сын — это моя личная трагедия. Рано или поздно каждый уходит, но есть будущее, есть ради чего работать, страдать. Так было всегда. И вдруг кончилось. Впервые. Будущее украдено...

Вся эта сбивчивая, лихорадочная речь начала раздражать Крылова. Дюра нравился ему, он был отличный ученый, и было больно видеть, как страх разъедает этот острый ум. Наворачивать ужасы можно какие угодно. В начале века пугали энтропией, тепловой смертью. Всегда находились устрашители, кликуши. Особенно религия любила рисовать кошмары, конец мира.

— Но бога нет, — подхватил Дюра. — Мы уничтожили свою веру. А что взамен?! Ничего. В чем нравственная опора? Так хоть была вера в бессмертие души...

— С вашей кнопкой богу не справиться, — сказал Крылов. — Лучше верить в человека. Главное — это жизнь, а не угроза жизни. — Они говорили по-английски, и Крылов подбирал слова с некоторым трудом. Ему очень хотелось, чтобы Дюра его понял. — Трагедия в том, что наука открыла атомную энергию слишком рано, когда мир еще не освободился от капитализма. История общества не поспевает за историей науки. Наверное, лет через двести наши страхи покажутся смешными.

— Вы думаете, будет кому смеяться?

— Да, да! — с силой сказал Крылов. — Отрицать всегда легче, чем утверждать. Дорогой Дюра, я не был на войне. Я представляю себе, что даже когда дело плохо и ты окружен, все равно надо драться до последней минуты. А ведь мы с вами не окружены, у нас сил больше, нас больше...

— Я бы мог возражать вам, — сказал Дюра, — но я не хочу выигрывать спор, я не хочу вас переубедить. Мне надо понять, почему вы спорите... Откуда ваш оптимизм? На чем он...

Он замолчал, глядя на Аду, которая возвращалась с Аникеевым.

Она шла, высоко подняв голову, одинаково красивая для старых и молодых, и они, позабыв о своих спорах, улыбаясь, смотрели на нее.

— Вы все спорите, — сказал Аникеев. — Вам не хватает легкомыслия. Бурное развитие науки нуждается в легкомыслии...

Откуда-то из глубины зала появился Голицын вместе с Лиховым.

Аникеев окликнул их.

— Как ваши дела? — спросил у Крылова Голицын.

— Чудно, — сказал Крылов, — отличная группа подбирается.

— Кто же? — спросил Голицын.

— Я, один я. Зато крепкий, спаянный коллектив.

«И еще Ричард», — подумал он.

Лихов что-то рассказывал Дюра по-французски, и Дюра удивленно и задумчиво смотрел на Крылова.

— Чуть не забыл, — сказал Голицын. — Ко мне обращался Микулин, помните, дипломат Микулин.

— Алеша?

— Ну, я не обязан знать, Алеша он или не Алеша, — проворчал Голицын. — Так вот, он просил ходатайствовать. Может, вы уважите мою просьбу, примете его?

— Так и быть, — сказал Крылов.

На улице накрапывал дождь, редкие листья лежали на асфальте. Было холодно и пустынно. Они шли мимо Манежа.

— Тебе ничего не напомнил этот вечер? — спросила Ада.

— Нет, — сказал Крылов. Понял бы что-нибудь Дюра, узнав, что после их разговора Крылов идет и думает, как убедить Алтынова и Лисицкого вернуться в группу.

И вдруг он припомнил тот вечер с Тулиным и Адой. Только они входили на эту площадь с другой стороны. И встретили тут Женю и Ричарда. Играл карманный приемник. Он даже вспомнил мотив. «И вот снова», — подумал он и посмотрел в ночное небо, закрытое облаками. Придется браться за все сызнова, иначе, совсем по-другому. Или продолжать, но тоже иначе.

1

Я думаю, что тогда буду тебе больше нравиться.

(англ.)